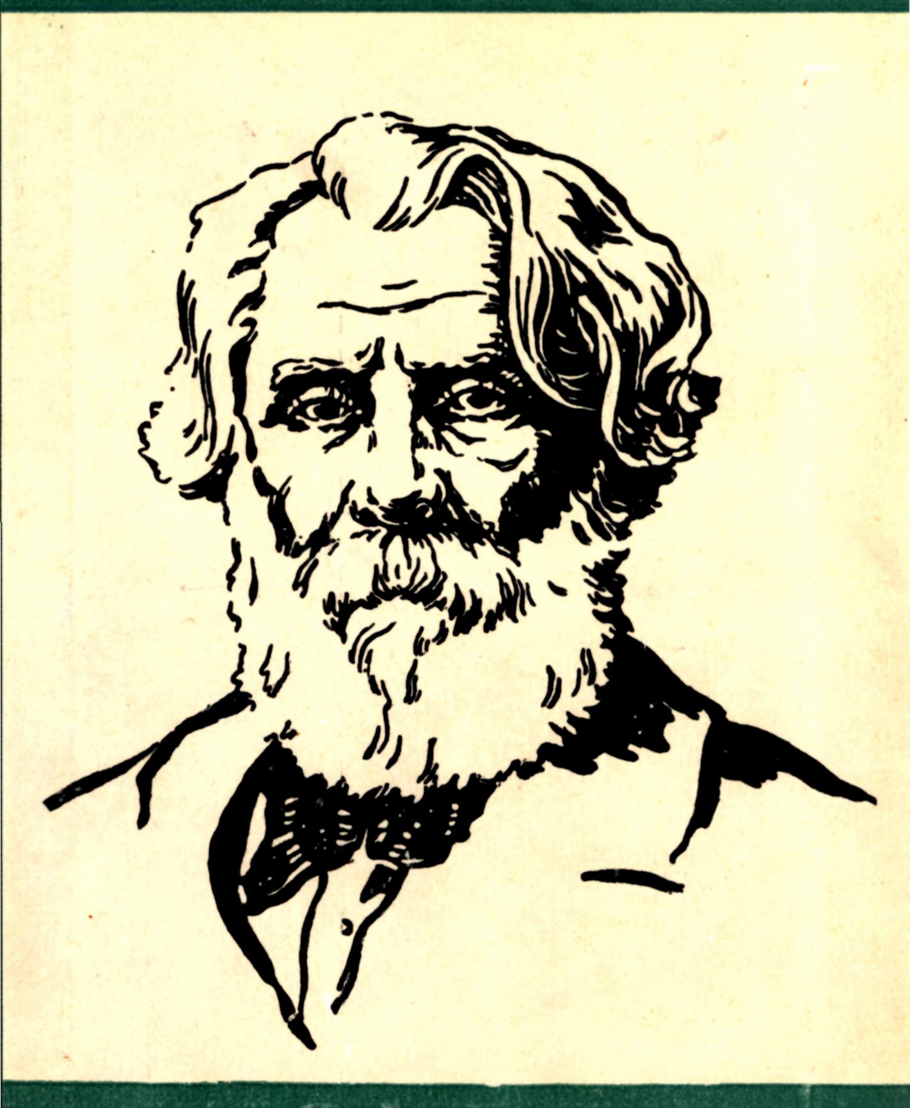
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Н. Богословский

ТУРГЕНЕВ


ЖЗЛ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

Основана в 1933 году М. ГОРЬКИМ

МОСКВА. 1961

Н. БОГОСЛОВСКИЙ

ТУРГЕНЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

*Первое издание вышло
в серии „ЖЗЛ“
в 1959 году
[№ 3 (269)]*

ГЛАВА I

В РОДНОМ ГНЕЗДЕ



Иван Сергеевич Тургенев по отцу принадлежал к старинному дворянскому роду — имена его предков встречались в описаниях исторических событий со времен Ивана Грозного.

В Смутное время один из Тургеневых — Петр Никитич — был казнен на Лобном месте за то, что безбоязненно обличал Лжедмитрия.

«Ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из монастыря; я знаю тебя», — сказал он самозванцу.

Из семейных преданий писателю известно было, что в 1670 году дальний предок его, Тимофей Васильевич, сидевший воеводою в Царицыне, был захвачен казаками Степана Разина при вступлении их в город. Воеводу привели на веревке к реке, закололи копьем и утопили. Долго жили в памяти писателя впечатления от этого рассказа. Ими на-

веян отрывок в повести «Призраки», в котором дана картина гульбища разинцев.

Постепенно древний род Тургеневых беднел и мельчал, теряя одно за другим родовые поместья. Дед писателя, Николай Алексеевич, служил в гвардии при Екатерине II и после четырнадцатилетней службы ушел в отставку в чине прапорщика.

Военным был и отец писателя — Сергей Николаевич, родившийся в 1793 году. Семнадцатилетним юношей начал он службу в кавалергардском полку и ко времени встречи со своей будущей женой был в чине поручика.

Неподалеку от его родового имения — села Тургенево Орловской губернии Мценского уезда — находилась усадьба Спасское, принадлежавшая богатой помещице Варваре Петровне Лутовиновой.

Трудно сложилась ее судьба. В тяжелых испытаниях прошло детство, безотрадно протекли молодые годы. Она рано лишилась отца, а отчим, невзлюбивший ее, обращался с нею так деспотически, что в конце концов она вынуждена была бежать из родительского дома, где чувствовала себя бесправной и отверженной.

Немногим легче жилось Варваре Петровне и у дяди ее, Ивана Ивановича Лутовинова, приютившего шестнадцатилетнюю беглянку в Спасском. У него были свои причуды и капризы, которым ей волей-неволей пришлось покориться. В Спасском Варвара Петровна, по милости самовластного старика, жила почти взаперти. Так и прошли ее молодые годы в совершенном одиночестве.

Варваре Петровне было около тридцати лет, когда внезапная кончина Лутовинова сделала ее одной из самых богатых помещиц в округе: она получила в наследство несколько имений, многие тысячи десятин земли, тысячи душ крепостных крестьян.

Неизвестно в точности, при каких обстоятельствах произошло знакомство Сергея Николаевича Тургенева с Лутовиновой. По рассказам соседей, может быть и не вполне достоверным, Сергей Николаевич, бывший в своем полку ремонтером, при-

ехал однажды в Спасское к Варваре Петровне, чтобы купить лошадей из ее завода для полка. Знакомство, начатое с делового визита, кончилось сватовством. Но и сватовство, по-видимому, вызвано было деловыми соображениями.

Варвара Петровна была на шесть лет старше жениха и в отличие от него красотой не блистала.

Молодой офицер произвел неотразимое впечатление на Лутовинову. Отец Сергея Николаевича настойчиво советовал ему добиваться руки Варвары Петровны: «Женись, ради бога, на Лутовиновой, а то мы скоро пойдем с сумой».

На предложение Сергея Николаевича Варвара Петровна ответила согласием, и, обвенчавшись в феврале 1816 года в Орле, они поселились в собственном городском доме на Борисоглебской улице.

Здесь и родился 28 октября 1818 года будущий писатель. Двумя годами старше его был первенец Тургеневых — Николай. Третий сын, Сергей, родившийся в 1821 году, был болезненным ребенком и умер, не достигнув шестнадцати лет.

Вскоре после рождения второго сына Сергей Николаевич вышел в отставку в чине полковника и переселился с семьей из Орла в Спасское-Лутовиново.

В 1822 году Тургеневы решили отправиться всей семьей в длительное заграничное путешествие. Выехали они на собственных лошадях и с фургоном, в сопровождении крепостной прислуги. Впереди в большой фамильной карете, запряженной четверкой караковых лошадей, с главным «лейб-кучером» на козлах, ехали господа.

Путь лежал через Москву, Петербург, Ригу. Передвигаясь из города в город, из страны в страну, Тургеневы побывали во многих местах Германии, Швейцарии, Франции.

Берлин, Дрезден, Карлсбад, Цюрих, Берн, Базель, Шомон, Париж... В столице Франции Тургеневы прожили почти полгода и вернулись в свое Спасское уже не через Петербург и Москву, а с юга, через Киев.

Впоследствии Иван Сергеевич упомянул в автобиографии о происшествии, приключившемся тогда с ним в Берне и едва не стоившем ему жизни. Он чуть было не погиб, сорвавшись с перил, окружавших яму, в которой содержались медведи городского зверинца; к счастью, отец успел подхватить его.

По возвращении из этого путешествия Тургеневы зажили «той дворянской, медленной, просторной и мелкой жизнью, самая память о которой уже почти изгладилась в нынешнем поколении — с обычной обстановкой гувернеров и учителей швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных нянек». Так почти полвека спустя представлялось писателю это усадебное существование.

Все управление усадьбой Варвара Петровна взяла на себя. Спасское выросло и расширилось на ее глазах. Оно возникло в начале столетия, когда Иван Иванович Лутовинов затеял коренное переустройство своих местных владений (у него были имения еще и в других губерниях). Лутовинов выбрал для новой усадьбы изумительно живописное место на большом пологом холме в березовой роще, невдалеке от старого родового имения Лутовиновых — Петровского.

Долго помнили тамошние старожилы, как пересаживали в новый парк сосны, ели, пихты и лиственницы. Пришлось соорудить особые перевозочные снасти, чтобы выкопанные деревья с глыбами земли на огромных корневищах можно было перевозить в вертикальном положении.

Вокруг просторного двухэтажного господского дома, построенного в форме подковы, были разбиты фруктовые сады, устроены оранжереи, парники, теплицы...

Аллеи в центре нового парка взаимно пересеклись, образовав римскую цифру «XIX», обозначавшую век, в который возникло Спасское.

Сам основатель его уже давно покоился в мавзолее, который был воздвигнут им для себя на старом кладбище незадолго до смерти, а в усадьбе текла своим чередом иная жизнь, со своими радостями

и огорчениями, страстями и тревогами, бурями и затишьями.

В гостиной по-прежнему изо дня в день тикали бронзовые часы. Шли недели, месяцы, проходили зимы и весны...

И с каждым годом все шире становился парк — немой свидетель смены поколений. Едва заметные прежде кустики сирени, акации и жимолости разрослись в огромные кусты. Длинный спуск к пруду окаймился с двух сторон орешником, рябиной, терновником, из-под которых выглядывал вереск и папоротник.

На всем громадном пространстве парка поразительное разнообразие создавало неуловимые переходы: то словно бы дремучий бор, то тенистые аллеи с песчаными дорожками, то заросли кустарника, то веселые березовые рощицы с овражками и глубокими рвами.

Казалось, не было таких пород деревьев, которых не нашлось бы здесь. Могучие дубы, купы столетних елей, лиственницы, сосны, ясени, стройные тополя, каштаны осины, клены, липы. В укромных уголках — крупные ландыши, земляника, темные головки грибов, голубые цветы цикория...

Это был какой-то обособленный мир. И, вспоминая впоследствии, на закате жизни, о ранних годах своего детства, о том, как один из дворовых, восторженный поэт в душе, уводил его в потаенные уголки парка читать стихи, Тургенев писал: «Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы — а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею...»

Мальчик рано стал замечать, что все вокруг подчинено почему-то дикому произволу, капризам и прихотям необузданно властных родителей. Сознание этого омрачало любовь к родному Спасскому, к его природе.

Отец не вникал в хозяйственные дела, был вечно занят выездами на охоту игрою в карты, кутежами, ухаживанием за девицами из соседних имений.

Тургенев не раз подчеркивал автобиографический характер своей повести «Первая любовь». В беседе с Н. А. Островской он прямо указал, что в повести этой изобразил своего отца. А на вопрос ее, кто явился прототипом молодого героя «Первой любви», ответил:

— Этот мальчик — ваш покорнейший слуга.

Размышляя в зрелые годы о характере отца, Иван Сергеевич пришел к заключению, что ему было «не до семейной жизни, он любил другое и насладился этим другим вполне».

— Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни, — сказал однажды сыну Сергей Николаевич.

Быть может, предчувствие скорой смерти (Сергей Николаевич умер сорока двух лет) заставляло его бездумно предаваться наслаждениям.

С окружающими он был строг, холоден, почти всегда замкнут вежлив и сдержан. С какою жадностью ловили дети те редкие минуты, когда отец проявлял к ним хотя бы мимолетную нежность или участие!

Вот как рисовал писатель в повести «Первая любовь» свои взаимоотношения с отцом: «Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! ...Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему... он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке — и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею».

Сергей Николаевич редко терял самообладание,

но если уж им овладевали порывы бешенства, он становился страшен. Дети запомнили, как расправился однажды отец с гувернером-немцем, осмелившимся дернуть за вихор Николая, когда тот вывел его из терпения шалостями и непослушанием. В эту-то минуту и появился наверху в дверях классной комнаты Сергей Николаевич. Он схватил несчастного гувернера за шиворот, подтащил к лестнице, приподнял на воздух и сбросил в лестничный пролет, крикнув слугам, чтобы они тотчас собрали все вещи немца и вывезли его из имения.

Будущность детей не слишком волновала Сергея Николаевича. Более всего он был занят собою, заботами о своих удовольствиях, о своем покое.

Иван Сергеевич мог сказать подобно герою своего рассказа «Гамлет Щигровского уезда», что воспитанием его «занималась матушка со всем рвением степной помещицы».

Варвара Петровна была человеком очень сложным и трудным.

Испытания, выпавшие на ее долю в детстве и юности, затаенные терзания ревности в замужестве изломали ее характер, сделали раздражительной, нетерпимой, капризной и даже жестокой. Она вся была словно соткана из противоречий. По отношению к детям Варвара Петровна бывала порою беспокойно заботливой и даже сентиментально-нежной, но это не мешало ей тиранить их, наказывать по всякому поводу, за любую мелочь. «Мне нечем помянуть моего детства, — говорил позднее Тургенев. — Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк — одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отваживался спросить, за что меня наказывали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся».

Если к своим детям так сурова была Варвара Петровна, то жестокость ее по отношению к крепостным не знала границ. Одно имя барыни наводило ужас на дворовых людей. Их постоянно секли розгами на конюшне, подвергали всевозможным из-

девательствам, ссылали в дальние деревни, отрывая от семьи, от близких.

Болезненно гордая, вспыльчивая и крутая, Варвара Петровна в гневе была неистова и безжалостна. Сознание неограниченной власти над крестьянами сделало ее деспотически требовательной и своевольной. «В своих подданных я властна и никому за них не отвечаю», «Хочу казню, хочу милую» — изречения такого рода были в ходу у Варвары Петровны.

Следуя старинному обычаю, она держала в доме многочисленную прислугу, человек до сорока.

Холостые и незамужние обедали в застольной, а семейные получали месячину — муку, крупу, масло, сало, мясо, отвесной чай.

Время от времени Варвара Петровна совершала поездки в свои орловские, тульские и курские деревни, чтобы проверить старост, навести порядки. Выезжал целый обоз: карета барыни, кибитка с доктором, кибитка с прачкой и горничной, кибитка с поваром и кухней. А. А. Фет рассказывает в своих воспоминаниях со слов Н. Н. Тургенева, дяди писателя, который одно время управлял Спасским: «При поездках в другие свои имения и в Москву она, кроме экипажей, высылала целый гардеробный фургон, часть которого была занята дворецким со столовыми принадлежностями. Изба, предназначавшаяся для ее обеденного стола или ночлега, предварительно завешивалась вся свежими простынями, расстилались ковры, раскладывался и накрывался походный стол, и сопровождавшие ее девушки обязательно должны были являться к обеду в вырезных платьях с короткими рукавами».

Почту отвозил и привозил два раза в неделю форейтор Гаврюшка. Становые, приезжавшие по делам в контору к Варваре Петровне, снимали колокольчик за версту — за полторы, чтобы не обеспокоить барыню. Только мценский исправник имел право подъезжать с колокольчиком к самому дому.

Каждодневно по утрам строгая барыня в определенный час выслушивала в «собственной господ-

ской конторе» доклады домашнего секретаря, сообщения главного приказчика и бурмистра. Иногда вызывали дворецкого, а то и управляющего. Если Варвара Петровна была недовольна и замечала какие-нибудь непорядки в имении, она изливала на подчиненных свой гнев и возмущение. Когда она входила в контору, дожидавшиеся ее там секретарь, бурмистр и главный приказчик поспешно выпрямлялись и низко кланялись ей, а она усаживалась за ореховое бюро в кресло, стоявшее на возвышении, и повелительным движением руки делала знак секретарю, чтобы он начинал доклад.

На стене против ее бюро висел портрет Ивана Ивановича Лутовинова, которого она поставила себе в образец. На портрете он был изображен в лиловом французском кафтане со стразовыми пуговицами.

Подчиненные безошибочно угадывали, в каком расположении духа барыня: если что-либо начинало досадовать ее, она тотчас принималась быстро и нервно перебирать янтарные четки, и тогда все понимали: быть грозе...

Детские и юношеские воспоминания о жизни в Спасском глубоко запали в душу Тургенева и нашли потом отражение во многих его рассказах, повестях и романах. «Моя биография, — сказал он однажды, — в моих произведениях».

Отдельные черты характера Варвары Петровны угадываются в образах некоторых героинь Тургенева.

Вот старая помещица, рассерженная на дерзкую собачонку Муму: «До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу все белье перенюхать — словом, волновалась и «горячилась» очень».

Вот надменная Глафира Петровна, тетушка Лаврецкого, забравшая в свои руки управление имением брата. Вот властная бабушка в повести «Пунин и

Бабурин», тоже не расстававшаяся с янтарными четками, как и барыня в «Собственной господской конторе».

Странно уживалось в Варваре Петровне бессердечие к подвластным ей крестьянам с любовью к театру, живописи, книгам и даже цветам. Цветы Варвара Петровна любила страстно. Она ревностно следила за своим садом, где были самые лучшие, самые редкие породы роз, гиацинтов, тюльпанов. На столике у нее постоянно лежала книга по цветоводству на французском языке, подаренная сыновьями Иваном и Николаем в день ее именин в 1825 году. Позднее Иван Сергеевич вспоминал, что нигде не встречал таких красивых цветов, как в Спасском. Но он помнил также, как жестоко обращалась мать с садовниками. «Их секли за все и про все. Конюшня была близко — и я все слышал. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан. После этого всех садовников пересекли».

Трагически сложилась судьба одного из крепостных мальчиков, родившегося в Спасском, который обратил на себя внимание барыни незаурядными способностями к рисованию. Он был послан в Москву учиться живописи и так искусно овладел мастерством художника, что ему поручили расписывать потолок в Большом театре. А потом Варвара Петровна вытребовала его назад в деревню, чтобы он рисовал для нее цветы с натуры.

«Он их писал тысячами, — рассказывал Тургенев, — и садовые, и лесные, писал с ненавистью, со слезами... Они опротивели и мне. Бедняга рвался, зубами скрежетал, спился и умер».

Атмосфера самовластия, царившая в Спасском, рано пробудила в душе юноши непримиримую ненависть к крепостному праву. «Почти все, что я видел вокруг, возбуждало во мне чувство смущения, негодования, отвращения, наконец».

Варвара Петровна любила во всем строгий порядок и требовала, чтобы все делалось по часам. «Аккуратность — это мой девиз, — говорила она, — как нынче, так и завтра». Эта страсть к расписа-

ниям, к регламентации, удивительно сочетавшаяся у Варвары Петровны с нетерпеливостью и порывистостью, ярко запечатлена Тургеневым в отрывке «Собственная господская контора».

Вставали в доме рано. Совершив утреннюю молитву, Варвара Петровна не преминет между первой и второй чашкой чаю погадать в спальне на картах; и, боже упаси, ежели выйдет дама пик — расстройство на весь день.

Верная установленному ею самой распорядку, Варвара Петровна не забывала делать в журнале запись о том, как прошел предыдущий день, затем писала на отдельных листках, кому из детей и домашних что делать: «От десяти до двенадцати утра — рыбная ловля», «От двенадцати до двух — игра или чтение»...

Потом приказывала мальчику на посылках призвать дворецкого, чтобы распорядиться по хозяйству, проверить расходы. Деревенские расходы известны: говядина, рыба, свечи, мыло, краски и «прочие вздоры», как любила она говорить.

Ровно в полдень раздавался на террасе звон колокольчика и голуби по звонку слетались клевать приготовленный им корм.

До обеда играла в карты со свекровью — та во время игры обычно волновалась, кряхтела: «Ох! ах! их!..» — и так до трех часов, когда появлялся старый буфетчик Антон и возвещал всегда одинаковым голосом и с одним и тем же выражением лица: «Кушанье поставили».

После обеда расходились кто куда. А Варвара Петровна запиралась в отдаленной комнате и читала до свеч. Она любила книги, особенно французских авторов, и была довольно начитанна.

По вечерам в зале главного дома, где были устроены сцена и хоры, ставились домашние спектакли, участниками которых были крепостные актеры, музыканты, танцоры и певчие. Иногда представления давались в саду. Смутно вспоминались впоследствии Тургеневу театральные подмостки в парке под деревьями, где в дни его детства разыгрывались пьесы

для гостей при свете плошек и разноцветных фонариков.

Еще в девические годы Варвары Петровны поэт Жуковский приезжал несколько раз в Спасское из Белевского уезда Тульской губернии и в одном из домашних спектаклей играл роль волшебника. В кладовой родительского дома мальчиком Тургенев видел колпак волшебника с золотыми звездами, в котором выступал знаменитый поэт.

Дом был большой, просторный; и казалось, что в бесконечном лабиринте комнат можно легко заблудиться. В одной из них, рядом с детской, стояли черные шкафы домашней работы с застекленными дверцами. Там в беспорядке свалены были груды запыленных, изъеденных мышами старинных книг в темно-бурых переплетах — часть домашней библиотеки.

Тургеневу было лет восемь, когда пришла ему в голову мысль добраться до содержимого этих шкафов. Он сговорился с одним из дворовых людей, Серебряковым, страстным любителем стихов, и как-то ночью они взломали в шкафу замок. Взобравшись на плечи Серебрякову, мальчик с трудом извлек из шкафа две громадные книги. Одну он отдал своему соучастнику, который поспешно унес ее к себе, а другую спрятал под лестницей. Долго не мог уснуть в ту ночь маленький похититель, с нетерпением дожидаясь утра: так хотелось ему узнать, какие диковинные книги извлек он из заветного шкафа.

Спрятанный под лестницей огромный фолиант оказался «Книгой символов и эмблем», а другой, унесенный Серебряковым, — «Россиадой» Хераскова.

Описывая в «Дворянском гнезде» раннее детство Лаврецкого, Тургенев вспомнил о «Книге символов и эмблем».

Не забыл он и того дворового, который первый заинтересовал его произведениями российской словесности. Писатель рассказал о нем в повести, где изобразил его под фамилией Пунин.

«Невозможно передать чувство, — писал Тургенев в повести, — которое я испытывал, когда, улучив

удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными... вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья!..»

В домашней библиотеке Лутовиновых было много книг на русском, английском, немецком языках. Но подавляющее большинство — две трети библиотеки — составляли французские издания. Даже такие произведения, как «Страдания молодого Вертера» Гёте или прославленная тогда повесть английского писателя Ричардсона «Кларисса Гарлоу», были представлены здесь не в оригинале, а во французских переводах.

Пестрым был состав библиотеки. Древние классики, модные повести, фолианты энциклопедистов (Вольтер, Руссо, Монтескье), комедии Мольера, романы де Сталь, Шатобриана, Вальтера Скотта, книги отечественных авторов — Кантемира, Сумарокова, Карамзина, Дмитриева, Богдановича, Жуковского, Загоскина, Измайлова. Сочинения по истории и мифологии, бесчисленные описания путешествий по всем странам света, множество книг по ботанике и естествознанию, руководства по устройству садов и цветников, старинные альманахи, сонники, календари...

С гувернерами и домашними учителями постоянно происходили какие-нибудь недоразумения. Их часто меняли: один окажется слишком нерадивым, другой — невежлой. Вот хотя бы немец, который взялся познакомить мальчиков с германской литературой. Он был так чувствителен, что не мог удержаться от слез, приступая к чтению Шиллера. А потом выяснилось, что он вовсе и не педагог, а просто седельник.

Пробовала Варвара Петровна заниматься с сыновьями и сама. В памятной книжке ее сохранилась запись — «Порядок Колина обучения». На первых порах он должен был заучивать наизусть басни «Лжец», «Ворона и Лисица», «Стрекоза и Муравей», отвечать на вопросы о временах года. Вероятно, таким же образом шли занятия и с Иваном.

Игрушки не занимали воображение мальчика, его влекла к себе природа. Он любил бродить по огромному парку, забираться в самые отдаленные уголки его, уходить на пруд, которым оканчивался спасский сад. В пруду водилось много рыбы — караси, пескари и даже гольцы, которые уже тогда стали мало-помалу везде исчезать. Он забавлялся здесь кормлением рыб, бросал им хлебный мякиш, распаренные зерна ржи и пшеницы. В ненастные дни он скучал, жалея всегда, что не удастся побывать на пруду.

Уже лет с семи он научился ловить птиц западней, сеткой. Птицы в изобилии водились в спасском саду. В одной из комнат господского дома, окрашенной в зеленый цвет, помещался «садок» — там были канарейки, чижи, щеглы, попугаи. Сторож, прозванный за чрезмерную худобу и высокий рост Борзым, заготовлял корм и ухаживал за птицами.

Лесники и охотники Спасского, приметив интерес мальчика к охоте, рассказывали ему о жизни пернатых, о перелете птиц, о повадках и привычках бекасов, куропаток, перепелок, диких уток. В погожие дни они брали его с собой в лес и на болото, научили стрелять из ружья. Так зародилась в нем страсть к охоте, рано сблизившая его с людьми из народа и помогавшая ему воочию наблюдать крестьянскую жизнь во всей ее неприкрашенной наготе.



ГЛАВА II

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ. ПАНСИОН. ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ



Но вот пришла пора расстаться со Спасским на долгое время. Тургеневы решили переселиться в Москву, чтобы подготовить детей к поступлению в учебные заведения. По приезде в Москву купили дом на Самотеке. Вскоре Сергей Николаевич заболел — доктора нашли у него каменную болезнь и посоветовали отправиться за границу, чтобы сделать там операцию. Он уехал с женой в Париж, поместив детей в пансион Вейденгаммера.

О пребывании Тургенева в пансионе почти ничего не известно. И только по рассказу «Яков Пасынков», где Тургенев описал частный пансион немца Винтеркеллера, можно представить себе хотя бы отчасти обстановку, в которой жил он эти годы.

В повести рассказывается о том, как самолюбивый, избалованный мальчик, выросший в богатом помещичьем доме и искавший сначала сближения

только с маленькими аристократами, неожиданно подружился с бедняком-сиротой на которого все глядели свысока. Безобразная куртка и коротенькие панталоны, из-под которых виднелись толстые нитяные чулки, делали Якова Пасынкова похожим на казачка из дворовых или на мещанского сына. Этого было достаточно для привилегированных обитателей пансиона, чтобы обращаться с Пасынковым высокомерно и небрежно. Можно не сомневаться, что этот рассказ об отроческой восторженной дружбе барчука с плебеем, оказавшимся романтиком и поэтом в душе, имел какую-то реальную основу, был отголоском пережитого Тургеневым в пансионе Вейденгаммера.

Прошло около двух лет, и в августе 1829 года родители поместили Николая и Ивана в другой московский пансион — пансион Краузе, получивший впоследствии название Лазаревского института восточных языков. Здесь братья пробыли лишь несколько месяцев. Самым сильным из вынесенных оттуда впечатлений, оставшимся в памяти Тургенева, было первое знакомство с содержанием только что вышедшего тогда из печати романа Загоскина «Юрий Милославский».

Надзиратель пансиона решил пересказать воспитанникам на память от доски до доски весь роман. Это заняло несколько вечеров. Затаив дыхание слушали они повествование о похождениях Кирши, Алексея, разбойника Омляша...

Много лет спустя Тургенев писал С. Т. Аксакову: «Невозможно изобразить Вам то поглощающее и поглощенное внимание, с которым мы все слушали («Юрия Милославского». — *Н. Б.*); я однажды вскочил и бросился бить одного мальчика, который заговорил было посреди рассказа. Кирша земский ярыжка, Омляш — боярин Шалонский — все эти лица были чуть не родными всему нашему поколению — и я до сих пор помню все малейшие подробности романа».

Вскоре мальчик близко узнал и самого автора «Юрия Милославского» — он оказался коротким приятелем его отца и в тридцатых годах, когда

Тургеневы жили в Москве, почти ежедневно посещал их дом.

Но в авторе «Юрия Милославского» — романа, казавшегося мальчику чудом совершенства, — он не нашел ничего необыкновенного, ничего величественного, «ничего такого, что действует на юное воображение». Напротив, он скорее казался даже комичным. Приплюснутая голова, квадратное лицо, выпученные глаза под очками, смешная манера размахивать руками, восклицать, поражаться — все производило какое-то забавное впечатление. От детского взгляда не укрылись человеческие слабости знаменитого романиста, считавшего себя без достаточных оснований необычайным силачом и покорителем женских сердец. За пристрастие к французскому языку, никак не дававшемуся Загоскину, путавшему и коверкавшему числа и роды, он получил в доме Тургеневых прозвище Мсье Лартикль.

После выхода из пансиона Краузе Тургенев усердно занимался с домашними учителями. Один из них, И. П. Клюшников, был поэтом и печатал свои стихотворения в журналах, подписывая их буквой „Ѳ" (фита). Позднее он вошел в кружок Станкевича. Клюшников преподавал Тургеневу русскую историю, а русским языком занимался с ним Д. Н. Дубенский, автор печатного исследования о «Слове о полку Игореве». Об этих своих наставниках, которые помогали ему готовиться к поступлению в университет, Тургенев навсегда сохранил благодарную память. Будучи уже известным писателем, он обращался из Парижа к поэту Я. П. Полонскому: «Я удивился и обрадовался, узнавши, что Клюшников еще жив. Пожалуйста, напишите мне его адрес — не забудьте. Я его знавал хорошо...»

День проходил дома, как в школе, — урок следовал за уроком: география, история, алгебра, русская словесность, языки — немецкий, французский, английский, урок рисования. Уровень развития ученика был настолько высок, что преподаватель французского языка Дубле мог предлагать ему сделать разбор какой-либо речи Мирабо или написать на французском

языке сочинение о тщеславии. И двенадцатилетний мальчик отлично справлялся с подобными заданиями.

Родители, видимо, были довольны успехами сыновей, но огорчало их одно: почему дети писали им обычно не на родном языке.

«Вы все мне пишете по-французски или по-немецки, — обращался к ним в письме отец, — а за что пренебрегаете наш природный — если вы в оном очень слабы, — это меня очень удивляет. Пора! Пора! Уметь хорошо не только на словах, но на письме объясняться по-русски — это необходимо...»

И, может быть желая поощрить детей усерднее заниматься родным языком, Сергей Николаевич обращается к ним за разъяснениями.

«Прошу вас более писать по-русски, а то я, живя здесь (за границей. — *Н. Б.*), совсем забуду русскую грамоту. Товарищ мой тоже по-русски мало говорит, хотя часто спорит о правилах языка, но мне мало верит, а потому положились на ваш суд, так как вы правила грамматики должны лучше моего знать. Например, он уверяет, что надо говорить «я был в обедни. пошел в обедню» — я уверяю, что должно говорить, следовательно писать, «я был у обедни», «ходил к обедни». Пожалуйста, Ваня, напиши мне об этом, а если сам не знаешь, то спроси у своего русского учителя. А тебе, Коленька, препоручаю спросить у Дубле, как надобно сказать: «я играл на дворе», то есть «je jouais à la cour», или «sur la cour». Не найдется ли иное значение сих слов; вперед все наши здесь недоумения буду спрашивать вашего решения; вы, верно, уже безошибочно знаете, как должно правильно сказать, — а мне приятно будет, что вы вместо лексикона, которого со мною нету, будете мне служить.

Да, вот забыл еще, Ваня, спроси у русского учителя, правильно ли сказано, «а вечером мы ехали верхом», говорю о прошедшем времени; мне кажется, что должно бы сказать «мы ездили верхами».

Тургеневу не исполнилось еще и пятнадцати лет, когда он подал прошение в Московский университет о принятии его, по выдержании надлежащего испы-

тания, в число своекоштных * студентов по словесному отделению. Это было 4 августа 1833 года. Как раз незадолго до того в университете введены были новые правила, касающиеся вступительных экзаменов и значительно затруднявшие поступление в него. Одной из таких мер было предписание министра народного просвещения Уварова требовать от поступающих на словесное отделение знания греческого языка, который хотя и преподавался в университете для филологов, но ранее не был при вступлении обязательным. Кроме того, предложено было обращать особое внимание на сведения экзаменуемых по закону божьему, русской словесности, латинскому языку и одному из иностранных — французскому или немецкому; не выдержавших экзамен по какому-либо из этих предметов не допускали к дальнейшим. Лиц, обучавшихся дома или в частных пансионах, предлагалось подвергать строгому испытанию по всем предметам гимназического курса. Весною 1833 года Уваров в особом циркуляре снова выразил пожелание, «чтобы при приеме в университет была соблюдаема та же самая строгость, которая в прошлом году принесла столь много пользы Московскому университету».

Тургенев благополучно миновал эти рифы: на вступительных экзаменах он не получил ни одной неудовлетворительной отметки и определением Совета был принят в студенты Московского университета.

И. А. Гончаров, поступивший в Московский университет двумя годами ранее Тургенева, вспоминал впоследствии об этой поре: «Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом. Я говорю о Московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток... Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вы-

---

* В противоположность казеннокоштным, которые содержались и обучались на средства казны.

несенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила своих студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества».

Начало тридцатых годов для Московского университета действительно было ознаменовано пребыванием в его стенах почти одновременно таких замечательных людей, как Герцен, Огарев, Белинский, Станкевич, Лермонтов, Гончаров Тургенев.

Отмечая огромную роль Московского университета в истории русского образования, особенно после 1812 года когда для Москвы и для университета началась новая эпоха, Герцен говорит в «Былом и думах», что Московский университет все больше становился средоточием русского образования. «В него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».

В памяти юного поколения еще свежи были отголоски восстания декабристов, а сознательная жизнь его началась в ту пору, когда правительство Николая I все более усиливало гнет, стремясь подавить всякое проявление свободной мысли в стране. Власти были напуганы крестьянскими волнениями, народными бунтами, вызванными распространением холеры в 1830 году, польским восстанием 1830—1831 годов, отзвуками июльской революции во Франции...

На университеты Николай I смотрел как на рассадники вольнодумства а Московский университет давно уже обращал на себя его особое внимание. Ему памятны были полежаевская история (1826 г.), и изгнание студентами из аудитории профессора-реакционера Малова, и революционный сунгуровский кружок и «дело» студентов-поляков, обвиненных в связях с мятежниками... За год с лишним (с августа 1832 года по ноябрь 1833) из университета было исключено более пятидесяти студентов (в том числе

и Белинский). Кроме того, иным студентам просто «советовали» подать прошение об увольнении, что являлось, в сущности, тем же насильственным удалением, только мало-мальски благовидно обставленным. Так произошло с Лермонтовым. В «Списке студентов словесного отделения Московского университета на 1832 год» против фамилии поэта значится: «Уволен. — Консилиум абеунди» (то есть предложено уйти).

Университетское начальство всячески стремилось освободиться от неблагонадежных лиц.

1 ноября 1833 года лейб-гвардии отставной штабс-капитан Николай Алексеевич Теплов дал поручительство, что студент Иван Тургенев во время своего нахождения в университете будет являться в предписанной от начальства форменной одежде и своим поведением не нанесет начальству никакого беспокойства.

А через месяц и самому студенту пришлось дать подписку в том, что он «ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежит и никаких сношений с ними не имеет».

В Московском университете Тургенев пробыл недолго — всего лишь год. Не все профессора, которых довелось ему здесь слушать, могли почесться украшением университета. Среди них были и защитники старины, и буквоеды, и реакционно настроенные ученые.

Однако вся атмосфера университета способствовала пробуждению в передовом студенчестве духа свободомыслия. На это и указывал по прошествии двух десятилетий Герцен, говоря в «Былом и думах» что хотя преподавание в университете в его время было скуднее, чем в сороковых годах, однако университет и тогда возбуждал в умах юношей вопросы, научал *спрашивать*, потому что «больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермон-

това, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей», — заключал автор «Былого и дум».

Русская словесность, всеобщая история, физика, латинский и французский языки — вот предметы общеобразовательного курса, которые Тургенев прослушал за год.

Его глубокий интерес к философии, вскоре ясно обозначившийся, зародился, должно быть, в стенах Московского университета. Особое внимание юноши к этой науке первоначально возбудили, вероятно, лекции одного из выдающихся профессоров того времени — М. Г. Павлова. По расписанию он читал физику и сельское хозяйство, а по сути дела был распространителем и пропагандистом философского учения Шеллинга и его последователей.

Несмотря на то, что Павлов стоял на идеалистических позициях, положительная роль его заключалась, по свидетельству современников, в том, что он своим талантливым изложением учения Шеллинга будил в воспитанниках университета и самостоятельный интерес к философии. Философская наука в николаевской России была в загоне, кафедру философии в Московском университете упразднили еще в 1826 году. Поэтому большой смелостью со стороны Павлова было уже одно то, что он строил свой курс на философской основе. «Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым, — говорит Герцен. — Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» Это чрезвычайно важно; наша молодежь вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления; одни семинаристы имеют понятие о философии, зато совершенно превратное».

Лекции Павлова открывали возможность дальнейшего самостоятельного изучения философских систем. Такие слушатели его, как Герцен, Огарев, Белинский, не останавливались, разумеется, на усвоении идеали-

стической философии Шеллинга, а шли дальше, самостоятельно преодолевая ее, преодолевая философию Гегеля, чтобы в конце концов поднять на огромную высоту русскую философскую мысль в ее движении к идеям социализма.

Рассматривая в «Очерках гоголевского периода русской литературы» итоги этого сложного пути духовных исканий русских деятелей тридцатых-сороковых годов, Чернышевский писал: «Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде... С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике Гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету».

Там же отметил он и важную подготовительную роль, которую сыграли на этом пути лекции Павлова, оказавшего, по его словам, «значительное влияние на молодое поколение, воспитавшееся в Московском университете...» *.

Курс русской словесности читал Давыдов. Красивые фразы, за которыми ничего не крылось, шаблонные оценки художественных произведений, отсутствие убежденности и искреннего воодушевления — все это заставляло студентов только зевать на его лекциях. «Ничто о ничем, или теория красноречия»,— так называли они его курс.

Профессор Погодин читал всеобщую историю монотонно, бесцветно и скучно.

Преподаватель риторики Победоносцев, по выражению Тургенева, держал студентов на ломоносовских похвальных речах и задавал им «хрию» **.

---

* Чернышевский указывает, что именно Павлову принадлежит «слава распространения любви к философии между молодыми литераторами». Говоря так, он имел в виду членов кружка Станкевича, из которого вышли «почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей словесности от Кольцова до г. Тургенева».

** Хрия *(греч.)* — речь, рассуждение, составленное по предписанным правилам.

На переходных экзаменах Тургенев получил общую сумму баллов тридцать шесть, и в числе шести студентов из тринадцати был переведен на второй курс.

Но продолжать учение в Московском университете ему уже не пришлось: родители Тургенева решили переехать в Петербург. Старший их сын поступил там в гвардейскую артиллерию, и отец хотел, чтобы братья жили вместе.



ГЛАВА III

ПЕТЕРБУРГ. ДРУЖБА С ГРАНОВСКИМ. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ. ГОГОЛЬ. ВСТРЕЧИ С ЖУКОВСКИМ, ПУШКИНЫМ, КОЛЬЦОВЫМ



Летом 1834 года, по приезде в северную столицу, Тургенев подал прошение о переводе на филологическое отделение философского факультета Петербургского университета.

Едва успели Тургеневы обосноваться в Петербурге, как семью постигло несчастье: Сергей Николаевич тяжело заболел и 30 октября умер от удара, в отсутствие жены, находившейся в это время в Италии.

Безвременная смерть его была большим потрясением для близких. Даже по прошествии нескольких лет Варвара Петровна говорила о смерти Сергея Николаевича с такою болью, как будто это случилось только вчера. Чаще стала она надолго уезжать в Спасское и жила там в мире своих воспоминаний, то отрадных — о совместных путешествиях в далекие

страны, то горьких, окрашенных чувством острой ревности и страха за будущее.

«Отцов кабинет тих и уединен, никто в него не войдет без ведома, — писала она Ивану. — Это моя могила, тут я молюсь за отца и с ним беседую мысленно. Тут занимаюсь делами, тут живу прошедшим... воспоминаниями... Только на Смоленском кладбище * бываю я счастливой. Ох!.. я забыла твою просьбу... Ne pas blesser votre sensibilité» **.

Она бережно хранила каждую вещь мужа, его портреты, книги... И когда однажды Иван Сергеевич обратился к матери с просьбой навести какую-то справку в путеводителе, она ответила: «Кажется, новый ты взял, а старый, с которым мы вояжировали с отцом, у меня. Мне очень тягостно, дорогой друг, взглянуть еще раз... то карандашом черточка, то ногтем, то уголок загнут, — все это, как стрелы в сердце. Я хотела тебе и о портрете тоже сказать. Например, у меня есть похожий портрет отца и непохожий. На непохожий я взгляну, скажу — c'est ne pas lui ***... Но! — на похожий я не могу взглянуть, вся кровь прильет к сердцу. Он в отсутствии навсегда...»

Незадолго до смерти отца Тургенев начал работать над драматической поэмой «Стено». Это был один из первых его поэтических опытов. Небольшие стихотворения, написанные, по-видимому, еще годом раньше в Москве, как и эта фантастическая драма, отмечены печатью романтизма, навеянного чтением Байрона. Сюжет драмы взят из итальянской жизни. Она полна мелодраматических эффектов во вкусе Кукольника — тут и убийства, и безумие, и самоубийство. Монологи героя о тщете человеческих усилий перед лицом смерти проникнуты безысходным пессимизмом.

Позднее Тургенев не мог без иронической улыбки

* Отец Тургенева был похоронен в Петербурге на Смоленском кладбище.

** Не ранить твою чувствительность.

*** Это не он.

вспоминать о первых пробах своего пера. «Стено» он назвал «нелепым произведением, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». Так оно и было, конечно. Но в пору написания драмы, да и некоторое время спустя юному Тургеневу ранний плод его музы был дорог и, вероятно, казался чем-то значительным. Во всяком случае, через два года он решился представить свою поэму на суд профессору Плетневу, лекции которого слушал в университете.

К первому году жизни Тургенева в Петербурге относится его встреча с поэтом Жуковским, надолго оставшаяся ему памятной.

Произошло это при следующих обстоятельствах. Варваре Петровне захотелось напомнить о себе Василию Андреевичу. Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку, на которой была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече, и послала сына с нею к Жуковскому в Зимний дворец, наказав ему назвать себя, объяснить, чей он сын, и поднести подарок.

Пора восторженного преклонения Тургенева перед прославленным автором «Ундины» и «Громобоя» уже миновала, но все-таки он очень волновался, готовясь исполнить поручение матери. «Когда я очутился в огромном, до тех пор мне незнакомом дворце, — писал впоследствии Тургенев, — когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, — мной овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, — я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука... и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери, и только протягивал

и поддерживал обеими руками — как младенца при крещении — несчастную подушку... Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему, наконец, в чем было дело, — и, как только мог, бросился бежать».

Несмотря на такой неожиданный исход свидания с поэтом, Тургенев, придя домой, «с особенным чувством припоминал его улыбку, ласковый звук его голоса, его медленные и приятные движения».

«Певец таинственных видений», рисовавшийся прежде воображению мальчика болезненно худым и бледным, предстал перед ним совсем иным: он заметно постарел, в фигуре было уже что-то от осанки придворного, полное лицо дышало умиротворением и спокойствием. Для Тургенева было достаточно этой минутной встречи, чтобы впоследствии несколькими штрихами набросать мастерский портрет стареющего поэта, так знакомый всем по изображению Брюллова «Он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благодать светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета...»

За два учебных года, проведенных в Петербургском университете, Тургенев успел более всего сблизиться с профессором П. А. Плетневым. Характеризуя его, Тургенев говорит: «Как профессор русской литературы, он не отличался большими сведениями: ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил «свой предмет», обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен, — умел заинтересовать их... Притом его — как



С. Н. Тургенев.



В. П. Тургенева.



И. С. Тургенев в детские годы.

Усадебный дом И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове.

Картина Я. П. Полонского, 1881 г.

человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего «Онегина», — окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали эти стихи: «Не мысля гордый свет забавить» и т. д.» *.

Другим словесником, которого Тургенев слушал уже на последнем курсе, был А. В. Никитенко, известный литератор и журналист. Обязанности профессора он совмещал с обязанностями цензора и приобрел на этом поприще репутацию в некотором роде либерала. По заведенному тогда порядку случалось ему за промахи в этом деле отсиживать под арестом на гауптвахте. Через его руки проходили иногда произведения Пушкина, Гоголя и других крупнейших писателей, в том числе (в дальнейшем) и Тургенева. А в студенческие годы Иван Сергеевич давал профессору Никитенко на просмотр свои ранние стихотворения. Таким образом, первые литературные связи завязались у Тургенева с его университетскими наставниками.

Кафедру философии занимал А. А. Фишер, уроженец Австрии. Он слабо знал русский язык и настолько неудовлетворительно знакомил слушателей с общими основами философии, что Грановский, изучая потом Гегеля в Берлине, писал оттуда: «Я не знал, что такое философия, пока не приехал сюда. Фишер читал нам какую-то другую науку, пользу которой я теперь решительно не понимаю».

«Метафизика с критическим разбором главнейших философских систем» и «Нравоучительная философия» — так именовались его курсы, читавшиеся в сугубо реакционном духе.

Классическую филологию читал Ф. Б. Грефе, типичный немецкий профессор старой закваски, объяснявшийся со студентами на латинском языке. Слушатели переводили с ним избранные места из «Одиссеи» и главы из «Истории греко-персидских войн»

---

* Первая строка Посвящения романа «Евгений Онегин» Плетневу. — *Н. Б.*

Геродота, а он сопровождал текст своими историческими и филологическими пояснениями, неизменно перемежая их восторженными отзывами о благозвучии эллинской речи и о бесподобной красоте жизни в древней Греции.

Римских авторов изучали у немца Ф. К. Фрейтага, человека самоуверенного и высокомерного, обращавшегося со студентами как-то гувернерски строго и пренебрежительно. Он злорадно ловил учеников на ошибках и пускал в этих случаях в ход неуместные шутки на латинском языке либо на ломаном русском.

Не довольствуясь университетскими лекциями, Тургенев занимался на дому с латинистом, доктором Вальтером, который разбирал с ним творения Горация, Тацита, Гомера, Софокла и других классиков.

Историю древнего мира и средних веков читал в 1834/35 учебном году Н. В. Гоголь. Имя автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» было известно Тургеневу и его товарищам по факультету, но они были убеждены, что их профессор, господин Гоголь-Яновский (как указывалось в расписаниях лекций) не имеет ничего общего с писателем Гоголем. Только позднее эта ошибка открылась Тургеневу.

О профессорстве Гоголя он, как и его однокурсники, отзывался отрицательно. В памяти Тургенева запечатлелась худая фигура Гоголя на кафедре; он «не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран».

Запомнился ему и годичный экзамен, на который Гоголь явился подвязанный черным шелковым платком, будто бы от зубной боли. Он сидел с совершенно убитой физиономией, не открывал рта, предоставив спрашивать студентов профессору Шульгину. «Нет сомнения, — вспоминал Тургенев, — что Гоголь сам хорошо понимал... всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: «Непризнанный взошел я на кафедру — и непризнанный схожу с нее!» Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников, но только не с кафедры».

В следующем году Гоголя сменил молодой профессор М. С. Куторга, отличавшийся большой эрудицией в области всеобщей истории.

Но успеваемость Тургенева по этому предмету оставляла желать лучшего. Именно неудовлетворительные отметки по всеобщей истории и явились причиной того, что в 1836 году он окончил философский факультет в числе одиннадцати человек лишь со званием «действительного студента», тогда как пятеро их товарищей были признаны достойными степени кандидата.

Тургенев не примирился с этим, так как намеревался продолжать и дальше свое образование. Получив разрешение ректора, он повторно прослушал в течение зимы лекции последнего курса и выдержал испытания на кандидатскую степень, которой и был удостоен в 1837 году постановлением факультета.

Когда Тургенев был еще на втором курсе, он познакомился и вскоре довольно близко сошелся с Тимофеем Николаевичем Грановским, который заканчивал юридический факультет Петербургского университета. Они были земляками. Грановский родился в Орле, и детство его прошло в двадцати пяти верстах от города, в имении Погорелец, принадлежавшем его отцу.

Бывая у Грановского, Тургенев не мог не заметить, что друг его живет очень бедно. Скудно меблированная комната, которую он занимал, казалась пустынной. Грановский усаживал обычно своего гостя за шаткий столик, на котором вместо всякого угощения стоял графин с водой и банка варенья. Он питался большею частью чаем и картофелем и шутливо говорил иногда, что подвизается в истреблении чая не хуже орловских купцов. Мать Грановского давно умерла, а отец беспечно относился к судьбе детей, да и свои дела по имению запустил до такой степени, что поставил семью под угрозу разорения.

Безбедно мог бы жить в Петербурге Тургенев, но Варвара Петровна считала за лучшее строго огра-

ничивать бюджет своего любимца. Иван Сергеевич, обладавший удивительным искусством воспроизводить мимику и жесты знакомых, их повадки и речь, иной раз передавал приятелям, как квартирная хозяйка-немка, слушая его сетования на судьбу, говорила ему:

«Эх, Иван Сергеевич, не надо быть грустный, mann soll nicht traurig sein; жисть, это как мух, пренеприятный насеком! Что делайт! Тэрпэйт надо!»

Разница в возрасте — Грановский был на пять лет старше Тургенева — не помешала сближению молодых людей. Оба любили искусство, литературу, науку и находились в той романтической поре избытка душевных сил и безотчетных порывов, которые так свойственны юности. Оба писали стихи и переводили английских поэтов.

Будущее туманно рисовалось им. «Каждый человек, — говорил Тургенев, — в молодости своей пережил эпоху «гениальности», восторженной самонадеянности, дружеских сходок и кружков».

Один, прославившийся впоследствии как ученый-историк, мечтал на заре юности о поэтическом поприще. Литературные способности Грановского уже обратили на себя внимание Плетнева, и однажды профессор представил его Пушкину, очень лестно отозвавшись о его дарованиях. Только несколько позднее стремление к углубленному изучению истории решительно возьмет верх над всеми другими интересами Грановского и перед ним откроется его настоящий путь.

А другого, призванного стать в ряду великих романистов, долгое время будет манить мысль о научной деятельности: в 1842 году, то есть спустя семь лет после описываемого момента, он явится держать испытания перед синклитом петербургских профессоров, желая получить ученую степень магистра философии.

В тот год, когда Тургенев и Грановский узнали друг друга, они более всего увлекались поэзией. Потому-то и запомнились Тургеневу особенно те их встречи, которые сопровождались чтением стихов,

будь то собственные стихи или стихи любимых поэтов.

Кумиром друзей был Пушкин, но поклонение ему странным образом уживалось в их сердцах с восхищением риторической поэзией Бенедиктова. Его «Утес», «Матильду», «Горы» они без конца повторяли наизусть, ослепленные фальшивым блеском звонких фраз и вычурными сравнениями.

Увлечение Тургенева поэзией Бенедиктова, повестями Марлинского, драмами Кукольника было недолговременным. Статья Белинского о Бенедиктове раскрыла ему глаза на подлинную сущность его творчества. «В одно утро, — рассказывает Тургенев, — зашел ко мне студент-товарищ (это был, по-видимому, Грановский. — *Н. Б.)* и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился № «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспылал негодованием. Но — странное дело! И во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что *он был прав*... Прошло несколько времени — и я уже не читал Бенедиктова».

Имя Белинского с той поры запало в сознание юноши, не предполагавшего тогда, конечно, какую большую роль сыграет в его жизни впоследствии личная близость с великим критиком.

Тургеневу не исполнилось еще и восемнадцати лет, когда в «Журнале министерства народного просвещения» появилось его первое печатное произведение — небольшая критическая статья, написанная

«в виде пробы пера» о книге А. Н. Муравьева «Путешествие к святым местам».

После этой статьи он очень долго не возвращался к критическому жанру, писал главным образом стихотворения, поэмы, работал над переводом «Отелло», «Короля Лира» и «Манфреда»; переводами этими он сам остался очень недоволен и потом уничтожил их.

Плетнев, которому Тургенев не без робости вручил однажды драму «Стено», подверг ее разбору, по заведенному на факультете обыкновению, не называя при этом, разумеется, фамилии автора. Он сказал, что все в этой драме преувеличено, неверно, незрело. Метрика стиха соблюдена далеко не везде. И если в ней и есть что-нибудь порядочное, то разве некоторые частности, очень немногочисленные.

Выходя после лекции из университета, профессор увидел на улице Тургенева. Благодушно пожурив его, он прибавил, однако, что в нем «что-то есть».

Ободренный этими словами, Тургенев принес вскоре Плетневу несколько стихотворений, из которых тот отметил два — «Вечер» и «К Венере Медицейской» — как наиболее удачные. Профессор подал начинающему поэту надежду, что стихотворения его, может быть, удастся напечатать*, и пригласил его прийти к нему на литературный вечер.

Тургенев долго потом не мог простить себе, что, замешкавшись дома, явился к Плетневу с некоторым опозданием. В передней профессорской квартиры он столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул:

— Да! Да! Хороши наши министры! Нечего сказать! — засмеялся и вышел.

Тургенев успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Это был тот, кого Иван Сергеевич привык считать чем-то вроде полубога... Это был Пушкин.

---

* Плетнев действительно напечатал эти стихотворения в 1838 году в «Современнике», издание которого перешло к нему после смерти Пушкина.

Тургенев никогда прежде не видел Пушкина и не сразу понял, кто только что был перед ним. Горькое чувство охватило Ивана Сергеевича, когда все разъяснилось.

Правда, вскоре судьба отчасти вознаградила его — ему довелось опять увидеть Пушкина, на этот раз — на утреннем концерте в зале Энгельгардта, совсем незадолго до роковой дуэли. То была самая мучительная и трудная полоса в жизни поэта.

«Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню, — говорит Тургенев, — его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные, желчные глаза под высоким лбом почти без бровей — и кудрявые волосы... Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом — вообще он казался не в духе — и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу и невольно повторял про себя:

Недвижим он лежал... И странен
Был томный мир его чела...»

Не в связи ли с гибелью Пушкина зародился у Тургенева в феврале 1837 года замысел так и оставшегося нам неизвестным произведения, озаглавленного «Наш век»?

Смерть поэта, подготовленная светской чернью, двором и приспешниками царя, вызвала глубокое возмущение передовой части русского общества. Не созвучно ли было упомянутое произведение Тургенева лермонтовскому стихотворению на смерть поэта? Тургенев сам говорит, что «Наш век» был написан им «в половине февраля, в припадке злобной досады на деспотизм и монополию некоторых людей в нашей словесности».

Может быть, слух о наказании, понесенном Лермонтовым за его «непозволительные стихи», — а Тур-

генев не мог об этом не знать — заставил автора «Нашего века» уничтожить свое сатирически-обличительное произведение вскоре же после того, как оно было написано.

Разговоры, которые велись в тот вечер в гостиной Плетнева малоизвестными литераторами, показались Тургеневу совершенно бесцветными, лишенными глубины и живости. Касались они слегка литературы, а более всего светских и служебных новостей.

Один из гостей Плетнева привлек к себе особенное внимание Тургенева. Одетый в старомодный сюртук, он скромно сидел в стороне, не вмешиваясь в общий разговор, хотя внимательно прислушивался к нему. Это был поэт Кольцов. Глубокий ум, светившийся в его глазах, придавал неуловимую прелесть его простому лицу, похожему на сотни русских лиц.

Хозяин дома обратился было к Кольцову с просьбой прочитать свои стихи, но поэт так растерянно и смущенно посмотрел на него, что Плетнев не решился повторить свою просьбу.

Ближе к полночи, когда почти все гости уже удалились, Тургенев вышел в переднюю вместе с Кольцовым и предложил довезти поэта до дому.

Дорогой они разговорились, и Тургенев спросил его, отчего он отказался читать свои стихи.

— Что же это я стал бы читать-с, — с досадой ответил Кольцов, — тут Александр Сергеевич только что вышел, а я бы читать стал! Помилуйте-с!

Слова эти были проникнуты таким благоговением перед Пушкиным, что Тургенев и сам почувствовал неуместность своего вопроса.

Когда сани остановились на углу улицы, где жил Кольцов, тот вышел из саней, застегнул поспешно полость и, кутаясь в худую шубенку, исчез в ночной морозной мгле.



ГЛАВА IV

ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ



Варвара Петровна не сразу согласилась отпустить сына в чужие края, куда он давно уже мечтал отправиться для завершения образования.

— Пойми же, — говорила она ему, — я буду несчастной без тебя.

На младшего сына, Сергея, Варвара Петровна смотрела, как на крест, ниспосланный свыше, — он был от рождения калекой, паралитиком, и когда на шестнадцатом году жизни умер, она пожалела его, поплакала, но и вздохнула с облегчением. В первенце, Николае, которым Варвара Петровна гордилась, как и Иваном, она не чувствовала мягкости и доброты, свойственных ее любимцу. Ими он умел покорять даже и ее непреклонную волю. Воспитанница Варвары Петровны, Житова, выросшая в доме Тургеневых, нередко бывала свидетельницей того, как ее покровительница, не переносившая возражений с чьей

бы то ни было стороны, уступала иногда лишь Ивану Сергеевичу. «При нем она была совсем иная; и потому в его присутствии все отдыхало, все жило. Его редких посещений ждали как блага. При нем мать не только не измышляла какой-нибудь вины за кем-либо, но даже и к настоящей вине относилась снисходительнее; она добродушествовала как бы ради того, чтобы заметить выражение удовольствия на лице сына».

«Все заключается у меня в вас двух, — писала Варвара Петровна Ивану Сергеевичу. — Я не имею ни сестер, ни братьев, ни матери, ни тетки, никого, ни друзей... Вы... вы... и вы, с братом. Я вас обоих люблю страстно, но — различно. Ты мне особенно болен... Ежели я могу объяснить примером. Ежели бы мне сжали руку — больно; а ежели бы мне наступили на мозоль, — нестерпимо».

В шутку, ласкательно она называла своего Ванечку доченькой. «Ma fille, — говорила она. — Ma Jeanette!»

И чем старше становился сын, тем больше она привязывалась к нему, тем сильнее проявлялось ее постоянное беспокойство за него. Особенно обострилось это чувство у Варвары Петровны после того, как летом 1837 года Иван Сергеевич, приехав в Спасское на каникулы, упал однажды с беговых дрожек и сломал себе руку. Случилось это в поле; крестьяне, косившие поблизости, подоспели на помощь, сделали перевязь из пояса и повели пострадавшего домой. Варвара Петровна, нетерпеливо поджидавшая возвращения сына с прогулки, в ужасе отпрянула от окна, увидев, что на дрожках въехал во двор не Иван Сергеевич, а какой-то крестьянин и что сын с трудом бредет следом в сопровождении поселян.

С тех пор безотчетный страх охватывал ее всякий раз, если она долго не получала писем от сына. Воображению ее рисовались разные ужасы: опять упал и сломал себе ногу или руку, а может быть, опасно болен или уже нет его на свете... И никто не мог урезонить Варвару Петровну, рассеять ее опасения. Так и тянулось тоскливо и мучительно время — дни

без пищи, ночи без сна, пока не подадут ей долгожданное письмо.

Но разговоры о поездке неизменно возобновлялись, и постепенно Варвара Петровна стала сдаваться. Доводы сына о необходимости продолжать образование в Берлинском университете нельзя было не признать разумными. Правда, она полагала, что по-русски Иван учен довольно Но ведь он готовился стать магистром философии. Даже само министерство просвещения посылает на свой счет молодых людей, будущих профессоров, оказавших успехи, в немецкие университеты. Мысль о том, что она может отнять у сына «карьеру», заставила ее, наконец, примириться с необходимостью долговременной разлуки. Может быть, там наберется он и светскости, которой ему, «степняку», так не хватало, по мнению матери.

«Вы с братом — умные, добрые, почтительные ко мне... вышли, не прогневайтесь, чудаками. Я не в осуждение говорю! Нет, вы мне милы, как вы есть. Но... свет требует светскости. Брат — военный, это его не так страннит, но ты, Иван, ты! Ах, я полагала бы видеть в тебе все совершенство!»

Соображения самого Тургенева были иными, но о главном он умалчивал, настаивая лишь на том, что ограничиться Петербургским университетом он не может, что «в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей».

Было бы неосторожностью с его стороны объявить тогда матери, убежденной крепостнице, что именно ненависть к общественному укладу самодержавно-помещичьей России толкала его на этот шаг. Только по прошествии тридцати лет он открыто сказал о главных мотивах, которыми руководствовался, отправляясь за границу.

«Лично я, — писал Тургенев, — весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос, но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно

так выразиться, к которой я принадлежал — полоса помещичья, крепостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... я другого пути перед собой не видел...»

Впервые отпуская сына в дальнее путешествие, матушка взяла с него обещание благоразумно вести себя и в пути и на чужбине. Напутствиям, назиданиям и советам не было конца. Она предостерегала его от карт, от рулетки, от необдуманных издержек на всякие прихоти. «Веди всему счет, — говорила Варвара Петровна, — берегись долгов. Помни золотые слова нянюшки Васильевны: «Долги — короста, стоит сесть одному прыщу, — все тело покроет». Не затейся там знакомства сводить с актрисами, при первом же долге твоем публикую в газетах, что я долгов за тебя платить не стану, что имение у вас не отцово».

В качестве дядьки решено было отправить за границу одного из дворовых, бывшего в Спасском фельдшером, Порфирия Тимофеевича Кудряшева, о котором шла молва, как о сводном брате Ивана Сергеевича.

Утром 15 мая 1838 года, в день отъезда Ивана Сергеевича из Петербурга, Тургеневы, взяв с собой и маленькую воспитанницу Варвары Петровны, Биби, поехали в Казанский собор, где отслужили напутственный молебен. Багаж тем временем был отвезен в контору пароходства на Морскую. Сидя в складном кресле, Варвара Петровна во все время молебна горько плакала.

Линейный корабль «Николай I», с которым Иван Сергеевич отправлялся за границу, брал пассажиров

в Кронштадте, а туда их должен был доставить из Петербурга небольшой пароход «Ижора».

На набережной петербургской пристани Варвара Петровна простилась с сыном, не выходя из кареты, — незадолго до того она перенесла тяжелую операцию и не могла свободно передвигаться.

Какой-то неизвестный художник, может быть, один из крепостных Варвары Петровны, запечатлел потом, по ее желанию, драматический момент прощания с сыном. Уже из Спасского она писала Ивану Сергеевичу: «Прямо передо мной, на маленьком пюпитре, вид петербургской набережной и отъезжающий пароход «Ижора». Провожающие машут платками, шляпами... Стоят экипажи... На балконах смотрят в лорнетки. Дымится уже, зазвонил третий звонок — и мать вскрикнула, упала на колени в карете перед окошком... Пароход повернул и полетел как птица... Кучер на набережной погнал лошадей, но... недолго был виден пловец... Улетел, и все осиротело...»

Даже при попутном ветре плыть предстояло несколько дней. В Любек «Николай I» должен был прибыть на четвертые сутки. Более двухсот пятидесяти пассажиров ехали этим рейсом. Иные из них, те, что посостоятельнее, везли с собою собственные экипажи, чтобы продолжать в них путешествие по Германии, Франции и другим странам. Двадцать восемь таких господских экипажей насчитал Тургенев на корабле.

Желая скоротать время, он предложил одному помещику-богачу поиграть в шахматы. Тот согласился, и началась затяжная баталия. Тургенев еще с детских лет пристрастился к этой игре и выказывал в ней все более заметные успехи, особенно с тех пор, как изучил теорию и познакомился с дебютами по книгам Петрова и Аллгайера. Противник Тургенева оказался также сильным игроком. Они с таким упорством старались сломить сопротивление друг друга, что поэт Вяземский, следивший за ходом их борьбы, сказал наконец:

— Можно подумать, что дело у вас идет о жизни и смерти.

Когда пароход проходил мимо острова Борнхоль-

ма, многие поспешили на палубу, чтобы полюбоваться дикими гранитными скалами. Древний, полуразрушенный замок, видневшийся на самой высокой из них, придавал величие строгой красоте северного пейзажа. Чайки носились над унылым берегом, а вдали манили взгляд цветущие луга и сельские домики с красными крышами, купающиеся в садах.

Теперь уже не так далеко было до Травемюнде, а там рукою подать и до Любека. Время тянулось медленно, и таким же медленным казалось незаметное движение парохода в необъятном морском просторе. Все были утомлены стуком машин, качкой, плеском волн.

К вечеру четвертого дня Тургенев, которому уже успел изрядно наскучить его партнер по шахматам, перешел в общую каюту, где за большим столом шла в это время азартная игра в карты. Тут, между прочим, находилось, как заметил Иван Сергеевич, несколько карточных игроков, хорошо известных в Петербурге. «Один из этих господ, — писал Тургенев, — видя, что я держусь в стороне, и не зная причины этого, неожиданно предложил мне принять участие в его игре; когда я, с наивностью своих девятнадцати лет, объяснил ему причину своего воздержания, — он расхохотался и, обращаясь к своим товарищам, воскликнул, что нашел сокровище: молодого человека, никогда не дотрагивавшегося до карт и, вследствие этого сáмого, предназначенного иметь огромное, неслыханное счастье, настоящее счастье простаков!..

Не знаю, как это случилось, но через десять минут я уже сидел за игорным столом, с руками, полными карт, имея обеспеченную долю в игре — и играл, играл отчаянно. .»

В самый острый момент, когда Тургенев уже готов был поверить, что небывалая удача действительно сопутствует ему в игре, что именно сейчас, вот тут, ему суждено сразу же неслыханно разбогатеть («деньги текли ко мне ручьями; две кучки золота возвышались на столе по обеим сторонам моих дрожащих и покрытых каплями пота рук»), в тот момент двери каюты широко распахнулись и вбежавшая да-

ма, успев только крикнуть: «Пожар!» — без чувств упала на диван.

Побросав карты, забыв о золоте и банкнотах, которые рассыпались во все стороны, игроки мгновенно повскакали с мест и устремились к выходу.

«Темно-красное зарево, как от горящего каменного угля, вспыхивало там и сям. Во мгновение ока все были на палубе. Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый; чувствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа, и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за серьезное, высвободился от меня; да я и сам не настаивал, понимая, что в том, что́ я говорю, нет здравого смысла...»

Некоторые пассажиры, в частности язвительный князь Вяземский, заметили, что растерянность девятнадцатилетнего юноши перед лицом грозной опасности была слишком уж очевидной. С легкой руки князя пошла потом по салонам и гостиным столицы молва о том, что во время пожара на «Николае I» Иван Сергеевич бегал по палубе, повторяя: «Умереть таким молодым, не успев ничего создать...» Приписывали ему и другое восклицание: «Спасите меня, я — единственный сын у матери!»

Светские дамы с затаенным злорадством поспешили рассказать Варваре Петровне об этих толках. Каково-то было слушать их гордой женщине!

«Почему могли заметить на пароходе одни твои ламентации.. Слухи всюду доходят! — и мне уже многие говорили к большому моему неудовольствию: «Ce gros monsieur Tourgeneff qui se lamentait tant qui disait: «Mourir si jeune...» *. Какая-то Толстая...

* «Этот великан Тургенев так жаловался — он все говорил: «Умереть таким молодым...»

Какая-то Голицына... И еще... и еще. Там дамы были, матери семейств. Почему же о тебе рассказывают? Что ты gros monsieur не твоя вина, но! — что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить... Это оставило на тебе пятно, ежели не бесчестное, то ридикюльное», — так откликнулась мать на неприятные для ее самолюбия слухи.

Трудно, конечно, сказать, действительно ли вырвалась у Тургенева в минуту крайнего смятения приписанная ему фраза о себе, как о «единственном сыне». Сам он решительно опровергал (однажды даже печатно) утверждение «остроумного князя». «Близость смерти могла смутить девятнадцатилетнего мальчика — и я не намерен уверять читателя, что я глядел на нее равнодушно, но означенных слов... я не произносил».

Незадолго до смерти писатель еще раз вернулся к этому событию, рассказав о нем в очерке «Пожар на море». Там встречается и фраза о гибели в девятнадцать лет, но, по ходу описания, говорится она автором лишь самому себе.

В ту минуту, когда Тургеневу казалось, что его ждет неминуемая гибель, он услышал голос капитана:

— Что вы там делаете? Вы погибнете, идите за мной.

Юноша бросился сквозь дым за одним из матросов и, перелезая по веревочным лестницам, очутился на носу парохода, где собрались почти все пассажиры. Матросы спустили с правого борта большую шлюпку, в нее поспешно сходили по трапу женщины с детьми и старики. Затем с левого борта была спущена вторая шлюпка, поменьше.

Курсируя в них между горящим пароходом и берегом, матросы перевезли постепенно почти всех. Погибло лишь несколько человек, в том числе партнер Тургенева по шахматам, сражавшийся с ним не на живот, а на смерть...

Шел мелкий, холодный дождь... Промокшие до нитки спасенные пассажиры смотрели с берега на догорающий в море корабль...

ГЛАВА V

В БЕРЛИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ЗНАКОМСТВО С Н. В. СТАНКЕВИЧЕМ



До начала зимнего семестра оставалось еще много времени, и Тургенев решил совершить поездку в Прирейнскую область, побывать на водах, отдохнуть после нервного потрясения, пережитого у мекленбургских берегов.

Спустя месяц после пожара на пароходе мы застаем его в Эмсе. Станкевич, находившийся тогда там, писал своим родным: «Проездом был здесь Тургенев, которого я узнал в Москве в университете и который кончил потом курс в Петербурге. Они с Розеном прибыли на сгоревшем пароходе, были свидетелями этого ужасного и неслыханного происшествия».

В конце сентября 1838 года Тургенев поселился в Берлине и стал посещать университетские лекции. В свободное от них время он бывал в театрах, на

концертах, ходил к немногим знакомым соотечественникам.

В тридцатые-сороковые годы Берлин еще ничем не напоминал европейской столицы. Налет какой-то провинциальности бросался здесь в глаза. «Что прикажете сказать о городе, — писал Тургенев, — где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся спать гораздо прежде куриц, о городе, где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитаются по пустынным улицам да какой-нибудь буйный и подгулявший немец идет из Тиргартена и у Бранденбургских ворот тщательно гасит свою сигарку, ибо «немеет перед законом». Шутки в сторону, Берлин — до сих пор еще не столица; по крайней мере столичной жизни в этом городе нет и следа, хотя вы, побывши в нем, все-таки чувствуете, что находитесь в одном из центров или фокусов европейского движения».

Университет, наука, то «царство мысли», о котором говорил Гегель, великий теоретический интерес, составляющий немецкую славу даже во время самого сильного политического упадка, — вот что придавало этому городу значение одного из центров европейского движения, несмотря на провинциальный стиль жизни.

Размеренный и чинный уклад ее сам собою располагал к занятиям.

В аудиториях было многолюдно — кроме студентов, являлись сюда в качестве вольнослушателей и офицеры, и чиновники, желавшие в просвещении стать с веком наравне. Иногда можно было встретить здесь даже женщин, что в России показалось бы невообразимо диковинным.

Несколько русских молодых людей, готовившихся занять на родине университетские кафедры, усердно ходили на лекции профессоров Берлинского университета, среди которых были ученые, пользовавшиеся широкой известностью в научном мире: Риттер, Ранке, Савиньи, Вердер, Ганс.

Вспоминая об этой поре своей жизни, Тургенев писал: «Я занимался философией, древними языка-

ми, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бёка — а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо. И я был не из худших кандидатов».

Риттер, читавший сравнительное землеведение, слыл одним из самых красноречивых преподавателей. В его изложении землеведение не было сухим перечнем стран, городов, рек и гор. Он умел говорить о своем предмете красочно и живо. В памяти Тургенева запечатлелась внушительная наружность Риттера — правильные черты лица, массивная голова, выразительный взгляд, размеренные движения. Речь его, лившаяся плавно, действовала на студентов неотразимо.

Сколько интересного и нового узнали они из лекций Леопольда Ранке об эпохе Великой французской революции!.. Как плодотворны были занятия с Цумптом, помогшие Тургеневу закрепить знание древних языков настолько прочно, что впоследствии он мог свободно читать в подлиннике римских историков и поэтов и писать друзьям целые послания на латинском языке.

Общим любимцем студентов был молодой профессор Вердер, читавший логику, метафизику и историю философии. Студенты воодушевлялись при одном упоминании его имени. Несмотря на свои тридцать лет, он был детски наивен, открыт и доверчив. В слушателях Вердер видел не только учеников, но и друзей. И каждый из них мог в любое время явиться к нему домой, зная, что профессор не отпустит его, пока не разъяснит все то, что показалось студенту в лекциях недостаточно понятным.

К русским слушателям Вердер относился с особой симпатией: у него очень скоро установились с ними простые, дружеские отношения. Не мудрено, что, общаясь с Грановским, Станкевичем, Тургеневым,

Бакуниным, близко узнав их, Вердер поверил в великое будущее России. Его поразила в них неутолимая жажда знания и деятельности для блага попранной родины, их готовность принести все в жертву истине и высшим человеческим интересам.

Особенно полюбился ему Станкевич. В этом хрупком, угасающем от чахотки юноше угадывалась необыкновенная сила ума и сердца. Смерть уже подкрадывалась к нему, но он отстранял от себя мысль о ней, стремясь до конца сохранить в душе юношеский жар.

Сочувствие, с каким Вердер относился к нему — он оберегал его от волнений, искал ему докторов, стремился развлечь его, — тронуло и московских друзей Станкевича. Белинский, нежно любивший Станкевича, писал ему в 1838 году:

«Какой это должен быть человек! И как много должно значить его участие к тебе!.. Вердер для меня теперь не понятие, но живой образ... Чудный, святой человек!»

Немецкий профессор, конечно, не мог представить себе, как велико было значение Станкевича для молодого поколения мыслящей России тридцатых-сороковых годов, — это разъяснила только история, это показал Герцен в «Былом и думах», а затем Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы».

Автор «Очерков» назвал Станкевича «первым распространителем энтузиазма к Гегелю между молодым поколением в Москве» в тридцатые годы, когда философия Гегеля была воспринята как последнее слово науки и как подлинное откровение.

Но уже через несколько лет предшественники русской социал-демократии — Белинский и Герцен вскрыли внутренние противоречия, присущие идеалистической философии Гегеля. Самостоятельно преодолев ее, они тем самым внесли огромный вклад в дело развития русской материалистической философии.

Эту эпоху в истории русской культуры Чернышевский называет благороднейшим и чистейшим эпизо-

дом. Рассказывая в «Очерках гоголевского периода» о том, какой необычный характер носил в кругу Станкевича интерес к философии, Чернышевский писал: «Все эти люди * были тогда еще юношами. Все были исполнены веры в свои благородные стремления, надежды на близость прекрасного будущего. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшего, как им казалось, все примирившего Гегеля, раскрыла перед ними тайны, дотоле непостижимые людям. Поэзнею были упоены их сердца, слава готовила им венцы за благую весть, провозглашаемую от них людям, и, увлекаемые силою энтузиазма, стремились они вперед. Эти люди решительно жили только философнею, день и ночь толковали о ней, когда сходились вместе, на все смотрели, все решали с философской точки зрения. То была первая пора знакомства нашего с Гегелем, и энтузиазм, возбужденный новыми для нас, глубокими истинами, с изумительною силою диалектики развитыми в системе этого мыслителя, на некоторое время натурально должен был взять верх над всеми остальными стремлениями людей молодого поколения, сознавших на себе обязанность быть провозвестниками неведомой у нас истины, все озаряющей, как им казалось в пылу первого увлечения, все примиряющей, дающей человеку и невозмутимый внутренний мир и бодрую силу для внешней деятельности».

Тургеневу не довелось в Москве вступить в кружок Станкевича — он был тогда еще слишком молод. Большинство участников кружка были старше Ивана Сергеевича на пять-семь лет. В берлинский период его жизни это возрастное различие стало гораздо менее заметным. И вот здесь, в Берлине, хотя и с некоторым «опозданием», Тургенев становится в ряды друзей и единомышленников Станкевича.

Произошло это при следующих обстоятельствах. Встретившись в Берлине с Грановским, Тургенев за-

---

* Станкевич, Белинский, К. Аксаков, М. Бакунин, учитель Тургенева Клюшников и другие.

метил, что за два года разлуки с ним Грановский успел несколько отдалиться от него. Вскоре он убедился, не без ревнивого чувства, что отчасти виною тому была новая дружба, завязавшаяся у Грановского. Самым близким человеком для него стал теперь Станкевич. «Мы подружились с Грановским, как люди не дружатся иногда за целую жизнь», — говорил Станкевич еще при самом начале их знакомства, в 1836 году.

Новый друг Тимофея Николаевича был известен Тургеневу как автор нескольких стихотворений, напечатанных в московских журналах тридцатых годов.

Стихи эти показались тогда Тургеневу настолько малозначительными, что теперь он, не задумываясь, спросил полунасмешливо Грановского, как только услышал от него о Станкевиче:

— Не виршеплет ли этот Станкевич?

Однако когда Грановский познакомил их и когда Тургенев ближе узнал Николая Станкевича, он почувствовал к нему безграничное уважение, смешанное даже с какою-то боязнью. Откуда, казалось бы, взяться боязни? Ведь Станкевич был так прост в обхождении со всеми — он не умел главенствовать и не хотел никого подавлять. Но нравственная сила, таившаяся в нем, и его кристальная чистота невольно вызывали почти у всех, соприкасавшихся с ним, сознание собственной недостойности. Всякому в его присутствии хотелось быть лучше, искренней и чище, чтобы заслужить его доверенность и расположение.

Был он простодушен до наивности, удивительной и трогательной при таком глубоком и ясном уме. Ни тени рисовки, ни позы. Прямота, естественность и мягкость — вот чем покорял он окружающих без всяких усилий, сам того не замечая.

Он проявлял живой интерес и участие к каждому человеку, хорошо разбирался в людях, умел быстро схватывать в них главное, характерное.

Богато наделенный чувством юмора, он часто заразительно хохотал и потешался, подмечая в комлибо смешное, но делал это совершенно беззлобно.

Какое-то врожденное изящество чувствовалось в его стройной, невысокой фигуре. Тонкое, подвижное лицо с покатым лбом, с приветливым взглядом карих глаз, густые черные волосы почти до плеч, разделенные на пробор. Когда он улыбался, резко обозначенные уголки его губ как-то особенно мило кривились и вздрагивали.

Все знали, что у него чахотка, но сам он о болезни своей говорил редко и большею частью в шутливом тоне.

Тургеневу не сразу удалось завоевать расположение Станкевича, который сначала явно его «не жаловал и гораздо больше знался с Грановским и Неверовым».

Они даже и поселились все трое в одной квартире, отдавшись всецело совместным занятиям философией и историей.

Размышляя впоследствии над причинами первоначального отчуждения от него Станкевича и Грановского, Тургенев нашел в себе мужество сказать, что в ту пору он и не был достоин дружбы и близости таких безукоризненно чистых, прямых и цельных натур.

Склонность к самоанализу, присущая Тургеневу, пробудилась в нем очень рано. Недаром, прочитав в семнадцатилетнем возрасте «Исповедь» Руссо, он загорелся желанием написать и свою исповедь. Конечно, из этого ничего не могло получиться просто потому, что у него не было тогда настоящего материала для исповеди, не было жизненного опыта, да и литературных навыков тоже.

Станкевич, Грановский, Тургенев и Неверов часто сходились по вечерам у Фроловых, успевших за какой-нибудь год жизни в Берлине завязать знакомство со многими местными знаменитостями. В салоне Елизаветы Павловны Фроловой, слывшей интересной собеседницей, бывали артисты, литераторы, путешественники, ученые. Здесь можно было встретить прославленного натуралиста Александра Гумбольдта, писательницу Беттину Арним, известную своей перепиской с Гёте, критика Фарнгагена фон Энзе, Вер-

дера... События общественной жизни, политические и литературные новости, журнальные статьи, театральные постановки — все было предметом живых бесед и споров в тесном кругу посетителей дома Фроловых.

Видимо, и тут молодость Тургенева еще не позволяла ему развернуться, проявить свой дар рассказчика, завладеть вниманием общества: «Я ходил туда, — замечает он, — молчать, разиня рот, и слушать».

Эти вечера у Фроловых, посещения театров и концертов, верховые прогулки в окрестностях и просто прогулки по городу несколько скрашивали оторванность от родины и от близких сердцу людей.

Если бодрость духа начинала изменять ему, он шел в концерт, в театр и почти всегда возвращался оттуда как бы возродившимся: так велика была власть искусства над ним. Музыка и театр сделались истинной потребностью для него — он слушал оперы Глюка, Моцарта, Беллини, симфонии и квартеты Бетховена, смотрел драмы Шекспира, Шиллера, и целительная сила искусства смиряла безотчетную тревогу, развеивала грусть, временами им овладевавшую.

Как-то в письме к матери он высказал жалобу на то, что она не сумела заставить его в детстве заниматься музыкой; уж лучше бы наказывала и насильно заставляла играть, зато как счастлив был бы он теперь...

В осенние дни, когда легкие морозцы сменялись оттепелью и туманами, а серые тучи, словно в раздумье, блуждали по небу, он отправлялся прямо из университета бродить по Унтерденлинден, вдоль которого тянулись дома богачей, кондитерские, рестораны и магазины. Еще засветло зажигали фонари, и ожерелья бледных огней, убегавших вдаль в сизом тумане, придавали бульвару какой-то волшебный вид.

Незаметно подошла зима, а с нею начались в Берлине рождественские карнавалы, ярмарки, балы.

В сочельник на площадях появились палатки и балаганы, в которых продавали подарки: пряники, игрушки, гребешки, табакерки, картинки, молитвенники, трубки всех сортов и видов.

По улицам, торопясь, бежали ребятишки с коньками в руках кататься на реке Шпрее. Колокольчики звенели беспрестанно. Маршировали солдаты под музыку на дворцовой площади.

Как забавно было смотреть на Schlittenfahrt — катанье на санях, в подражание русским. Все русское было вообще тогда здесь в моде. И казалось кавалерам, сидящим в саночках с дамами, что вихрем несутся они на настоящих русских санях, запряженных тройкой лошадей. Кто-то из катающихся для полноты иллюзии усадил на передок повозки декоративного ямщика с наклеенной бородой и заставил скакать впереди повозки «казачка», что привело в неподдельный восторг женщин, глазевших на Schlittenfahrt. «Sieh doch! Da kommen die Russen! Schön! Wunderschön!» * — кричали они.

Но разве похоже это на настоящую русскую зиму с буйным ветром, с серебристой снежной пылью, со скрипом полозьев на крепком снегу? Нет, не увидишь здесь широкоплечего ямщика в тулупе, с обмерзшими усами и бородою, покрытой инеем...

И вдруг так ясно встают перед глазами то Красная площадь с ее извозчиками и каретами, с Лобным местом, с Кремлевской стеной и чудным Василием Блаженным, то Петербург с золотою шапкой Исаакия и шпилем Петропавловской крепости, то родное Спасское, уснувшее под снежным покровом...

Несмотря на то, что Тургеневу шел уже двадцать первый год, в нем было еще много детского.

---

* «Смотрите! Вот едут русские! Как красиво! Великолепно!»

Грановский рассказывал знакомым, что не раз случалось ему, когда он заходил в Берлине к Ивану Сергеевичу, заставать такую картину: Тургенев увлеченно играет с Порфирием картонными солдатиками, которых они поочередно опрокидывают друг у друга. Развлекался еще он и тем, что привязывал к хвосту котенка бумажку, чтобы полюбоваться, как тот прыгает, силясь схватить ее.

Делалось все это между занятиями философией, историей, языками. Книги в сторону — и пошла потеха...

Варвара Петровна раскаивалась, что позволила сыну таким молодым уехать за границу. Она винила себя за то, что отпустила с ним Порфирия, из которого сын сделал вместо слуги компаньона. Мотают попусту деньги вместе, а проку не видно. За этим и не нужно было ехать за границу. Обманулась... обманулась!.. «Зачем ты поехал, зачем я тебя посылала?»

Почти в каждом письме упрекала она сына за расточительность и необдуманные издержки. Он предпочитал порою отмалчиваться, не писать ей вовсе. В ответ на этот молчаливый протест Ивана Сергеевича нашлось у нее жестокое средство — она известила сына, что если он не станет своевременно писать ей, то нести наказание за это будет ни в чем не повинный крепостной мальчик Николашка. О, как хорошо знала она сердце сына!..

«Повторяю мой господский деспотический приказ. Ты можешь и не писать. Ты можешь пропускать просто почты, но ты должен сказать Порфирию: «Я нынешнюю почту не пишу к мамаше». Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно: «Иван Сергеевич, де, здоров», — и более мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! — ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку; жаль мне этого... что делать, бедный мальчик будет терпеть... Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости».

Весною 1839 года пришло от Варвары Петровны письмо, при чтении которого у Ивана Сергеевича похолодело сердце — дом спасский сгорел и обрушился. Да! Да! Да! Спасское сгорело... Уцелел только флигель, в котором жил дядюшка.

Случилось это, как потом много раз рассказывали Ивану Сергеевичу, 1 мая, вечером, около десяти часов.

Жена кучера Алексея, женщина беспокойная и суеверная, решила окурить чертополохом отелившуюся свою корову — от дурного глаза. Окуривая, она не заметила, как тлевший уголек упал в солому. С этого и началось. После ее ухода загорелась закута.

Оттуда пламя вырвалось и перекинулось на другие дворовые строения, а потом с одного из них огонь забросило ветром на левое крыло господского дома, где в это время собирались ужинать. В Спасском гостил тогда старший сын Варвары Петровны, Николай Сергеевич, служивший ремонтером. По дороге в Лебедянь на ярмарку он заехал повидаться с матерью и намеревался в эту же ночь следовать дальше.

Буфетчик Антон Григорьевич уже накрыл на стол, но через несколько минут вошел с корзиной и начал класть в нее обратно серебро — ножи, вилки, ложки.

— Что ты делаешь, Антон? — спросила Варвара Петровна в крайнем изумлении. — Ты пьян?

— Никак нет, сударыня, кушать нельзя-с...

— Как нельзя?

Антон не успел еще ответить барыне, как ей все уже стало ясно — искры сыпались дождем на сад, и зарево осветило все вокруг.

— Боже мой! Мы горим! — крикнула Варвара Петровна.

В эту минуту вбежал Николай Сергеевич.

— Maman, мы горим! Берите деньги, бриллианты, все ценное!..

Из горевшего дома слуги поспешно выносили кресла, диваны, зеркала, сервизы китайского и севрского фарфора, серебро, картины, фамильные портре-

ты. Много всего было вынесено, но сколько поломали, перебили, разграбили...

Огонь бушевал до полуночи, пока от господского дома почти ничего не осталось.

В письме Варвара Петровна умоляла сына приехать как можно скорее, сообщая, что высылает две тысячи рублей ассигнациями на дорогу и будет ждать его к Петрову дню. «Вся моя дворня погорела до того, что рубашек не вытащили... Нечем, совсем нечем наготы прикрыть. Надо построить, одеть, все погорели и дочиста. Итак, на пепелище, до сих пор еще дымящемся... Ружье твое цело. А собака твоя очумела...»



ГЛАВА VI

НА РОДИНЕ. ВСТРЕЧИ С ЛЕРМОНТОВЫМ. ОТЪЕЗД В ИТАЛИЮ



Отъезд Ивана Сергеевича из Берлина затянулся: он выехал в Россию лишь в конце лета. В Спасском он прожил около трех месяцев и поздней осенью, простившись с полуразрушенным родным гнездом, отправился в Петербург, намереваясь оттуда снова уехать за границу.

В Петербурге Тургеневу посчастливилось дважды увидеть любимого своего поэта Лермонтова: один раз в великосветском салоне, другой — на маскараде в Дворянском собрании.

Имя Лермонтова вошло тогда в славу. На него смотрели как на преемника Пушкина. Свет, падкий до всего, что обретало шумную известность, стремился втянуть поэта в свою среду, приручить его и обезвредить. Но Лермонтов хорошо знал цену этой

бездушной и бесчувственной среде; он тяготился ею.

В начале 1839 года, по возвращении с Кавказа, поэт с горькой иронией писал М. А. Лопухиной о том, что в столице мода на него и что его наперерыв отбивают друг у друга. «Весь этот народ, которому доставалось от меня в моих стихах, старается осыпать меня лестью. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими как триумфом... Я возбуждаю любопытство, передо мною заискивают, меня всюду приглашают... Дамы, желающие, чтобы в их салонах собирались знаменитые люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже лев; да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы...»

Одною из таких дам и была княгиня Шаховская, в салоне которой в последних числах декабря 1839 года Тургенев впервые увидел Лермонтова.

Только человек, остро почувствовавший внутреннюю драму поэта, задыхавшегося в тесной сфере, куда его втолкнула судьба, мог так отчетливо и зримо передать позднее и необычный внешний облик Лермонтова и его манеру держаться в обществе, рассчитанную на то, чтобы казаться не таким, каким он был на самом деле.

Встреча была мимолетной и беглой. Но в том и заключается особая сила восприятия, свойственная только большим художникам, что из виденного они навсегда сохраняют в памяти самое главное.

Рассказ Тургенева предельно краток, но на мгновение Лермонтов встает в нем как живой.

«У княгини Шаховской, — пишет Тургенев, — я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белоку-

рая графиня М. П. *... На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш—у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ...»

Тургенев не слышал, о чем говорил Лермонтов со своими собеседниками, он только видел, что их развеселила какая-то шутка, что они смеются чему-то, смеется и Лермонтов, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывает их обоих, и, должно быть, их тяготит в эту минуту тяжелый взгляд его больших и неподвижных глаз.

Эта маленькая сценка и этот беглый набросок портрета Лермонтова передают как нельзя лучше то чувство скуки и томления, которое испытывал поэт в светском кругу. Объясняя Лопухиной, почему он так охотно пустился в «большой свет», Лермонтов замечает: «Эта новая опытность полезна в том отношении, что дала мне оружие против общества: если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня будет средство отомстить; нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там».

В ночь под новый, 1840 год Тургенев снова встретил поэта на балу в Дворянском собрании.

Он видел, что здесь Лермонтову «не давали по-

---

* Эмилия Мусина-Пушкина, к которой обращено полушутливое стихотворение Лермонтова:

Графиня Эмилия —
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится...

кой, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки, одна маска сменяла другую, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, — говорит Тургенев, — что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки...»

Как раз на этом маскараде Лермонтов вызывающе дерзко говорил с двумя высокопоставленными дамами, из которых одна была в голубом домино, а другая — в розовом.

Слух об этом инциденте дошел до Бенкендорфа и вызвал резкое недовольство шефа жандармов поведением поэта.

Появление в январском номере журнала «Отечественные записки» стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен», где Лермонтов запечатлел как раз эту новогоднюю ночь, еще более восстановило Бенкендорфа против Лермонтова. Каждое слово этого стихотворения дышало нескрываемой ненавистью к высшему обществу:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

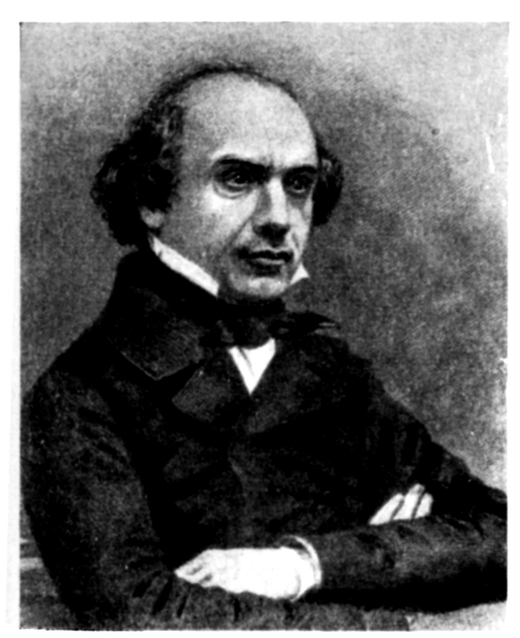
Над головою поэта уже сгущались тучи, и час его гибели близился день ото дня...

Читая в «Отечественных записках» это стихотворение, Тургенев отчетливо припомнил, конечно, обстановку, в которой оно рождалось.

Спустя недели две после новогоднего бала Тургенев стал собираться в дальнюю дорогу. Попутчиком его на этот раз был П. И. Кривцов. «Я покидаю Петербург, — писал Кривцов брату, — в компании с Иваном Тургеневым, который едет со мною в Рим

Н. В. Станкевич.

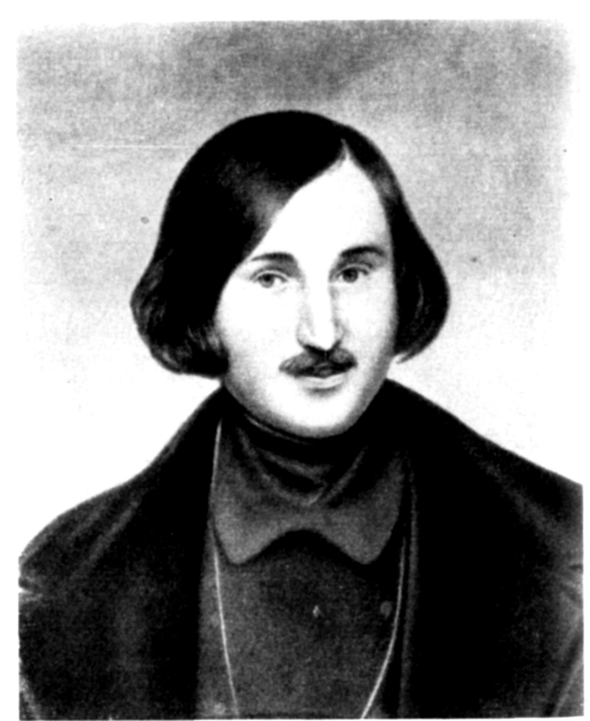




Т. Н. Грановский.



В. Г. Белинский.



Н. В. Гоголь.

и пробудет там месяц; затем он проедет по Италии и возвратится в Берлин — заканчивать свои занятия. Это человек образованный и умный, но настоящий Ленский, студент геттингенский».

Что-то действительно роднило молодого Тургенева с Ленским. Романтическое брожение, смутные порывы, робость, задумчивость — вот черты, которые он и сам отметил тогда в себе.

С Кривцовым провел он много дней в пути: они ехали в кибитке по снежным равнинам России в суровые январские морозы, сковавшие все вокруг.

Спутник Ивана Сергеевича приходился ему дальним родственником. Этот себялюбивый, ловкий карьерист, служивший советником посольства, был очень горд только что полученным от двора новым назначением — «заведовать» русскими художниками в Италии.

Он так наскучил в дороге Ивану Сергеевичу разговорами о своих служебных успехах, что тот изменил намеченный план поездки и, решив избавиться от своего попутчика, задержался в Вене на несколько дней.



ГЛАВА VII

РИМ. СБЛИЖЕНИЕ С Н. СТАНКЕВИЧЕМ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ И ШВЕЙЦАРИИ



В Рим Тургенев приехал в разгар весны. Скоро здесь появился и Станкевич, проведший эту зиму во Флоренции.

Здоровье его резко ухудшилось — черты лица обострились, стали жестче, сухой изнурительный кашель мешал ему говорить; тень близкой смерти уже легла на его впалые щеки... Но по-прежнему он был полон интереса ко всему окружающему, по-прежнему влекли его к себе искусство, философия, театр, литература.

Здесь Тургенев и Станкевич видались почти каждодневно и сошлись гораздо теснее, чем в Берлине.

Друзья нашли радушный прием в семействе отставного гусарского полковника Ховрина, путешествовавшего по Италии с женой и дочерьми.

У Ховриных собиралось много народу. Кроме Станкевича, Тургенев постоянно встречал здесь его

друга Ефремова, будущего доктора философии и преподавателя Московского университета, художника Маркова, впоследствии профессора живописи, поляка Брингинского, превосходного музыканта, дружившего с Листом. Брингинский тоже был болен чахоткой, и дни его были сочтены. Он знал это, но на его умном, энергичном лице нельзя было заметить и тени уныния. Может быть, это поразительное самообладание Брингинского особенно привлекало к нему Станкевича. Тургенев заметил, что они очень симпатизировали друг другу.

Часто приходил сюда немецкий художник Рунд, у которого Тургенев вознамерился брать уроки рисования. Наклонность к рисованию, проявлявшаяся у Тургенева и прежде, пробудилась в Риме с новой силой. Ховрины рассказывали Станкевичу, что Иван Сергеевич однажды весь вечер проговорил у них о живописи и о своей страсти к ней. Станкевич, находивший Тургенева талантливым рисовальщиком, нередко предлагал ему различные сюжеты и забавлялся его карикатурами. Особенно смеялся он над карикатурой, изображавшей свадьбу Маркова и старшей дочери Ховрина — Александры, прозванной друзьями Шушу. На рисунке этом Тургенев изобразил себя держащим венец над Марковым.

Александре Ховриной шел семнадцатый год. Эта миловидная, живая и остроумная девушка втайне была влюблена в Станкевича.

Тот отвечал ей дружеским чувством, но сердце его принадлежало другой.

Он охотно проводил время с Шушу, догадываясь, может быть, об ее тайне, читал ей стихи Пушкина, Шиллера, Гёте, играл с нею на рояле в четыре руки.

Марков и Тургенев оба были неравнодушны к Шушу и с воодушевлением говорили об ее красоте. Художник рисовал ее, Тургенев писал ей стихи:

Луна плывет высоко над землею
Меж бледных туч,
Но движет с вышины волной морскою
Волшебный луч.

Моей души тебя признало море
Своей луной.
И движется — и в радости и в горе —
Тобой одной.

Тоской любви, тоской немых стремлений
Душа полна:
Мне тяжело... Но ты чужда смятений,
Как та луна.

Прошло много времени, и в конце пятидесятых годов, создавая «Дворянское гнездо», Тургенев вернулся мысленно к той поре, когда он увлекался Александрой Ховриной. Юношеское его стихотворение ожило в этом романе.

Паншин говорит Лизе Калитиной: «Я написал вчера новый романс; слова тоже мои. Хотите я вам спою?» И он поет, аккомпанируя себе на фортепьяно, все три строфы романса «Луна плывет высоко над землею».

Спеша использовать каждый час пребывания в Риме, друзья почти ежедневно совершали длительные прогулки. Они осматривали древние памятники Рима, бродили по его окрестностям, заходили в таверны...

Правда, переменчивая погода мешала порою спокойно наслаждаться обозрением сокровищ Вечного города. Весна в тот год выдалась в Риме необычайно дождливая и не слишком радовала теплом. Редко выпадали безоблачные дни с той чудесной ясностью тонкого голубого воздуха, забыть который не может человек, побывавший в Риме.

Хотя Станкевичу нелегко давались далекие прогулки и бесконечные осмотры музеев, древних храмов, картинных галерей и дворцов, он ни за что не хотел отставать от других. Почти все достопримечательности Рима — необъятную громаду Колизея, развалины Форума, Капитолий, величественный храм Петра, Ватиканский дворец с его сотнями залов, часовен и комнат, с обширнейшим музеем скульптуры и живописи, галерею Барберини, знаменитые катакомбы, виллу Боргезе, гробницу Сци-

пионовой фамилии — почти все это Тургенев осматривал в обществе Станкевича и с жадным вниманием слушал рассуждения старшего друга о древнем мире, о философии, поэзии, о живописи и ваянии.

Останавливались ли они перед «Форнариной» Рафаэля или перед фресками его учеников, перед колоссальной статуей Моисея Микельанджело или перед картинами Гвидо Рени, — о каждом из этих произведений Станкевич судил умно и глубоко. Удивительны были не столько даже начитанность его и редкостное знание предмета, сколько своеобразие и тонкость подхода к произведениям искусства. Все, что он говорил о них, «было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости».

Иногда они оставляли город, чтобы полюбоваться его окрестностями, этими живописно дикими, покинутыми римскими полями, по которым разбросаны там и тут руины древних храмов и гробниц. Печать невыразимо строгого спокойствия лежала здесь на всем, воскрешая в памяти предания старых времен, напоминая виденные в детстве картинки, изображавшие римских пастухов с длинными посохами в руках.

Побывали они и в дальних предместьях Рима — в Альбано и Фраскати, откуда открывался прекрасный вид на Вечный город.

Отзвуки римских впечатлений 1840 года ожили много лет спустя в рассказе Тургенева «Призраки».

Приближалось время отъезда из Италии. Прежде чем покинуть ее, Тургенев отправился на несколько дней в Неаполь и в Сорренто, на родину Торквато Тассо. Красота Неаполитанского залива, тона темно-голубого неба, разлитая вокруг нега напомнили ему слова Гёте об этом городе: «Кто хоть раз побывал в Неаполе, тот уже не может считать себя несчастным».

Не прошла бесследно и эта поездка для его твор-

чества. В поэме «Параша», которую Тургенев напишет через три года, он даст картину летнего дня в Неаполе:

Сверкает море блеском нестерпимым,
И движется, и дышит, и молчит...

С жадностью прислушивался Тургенев в неаполитанской гавани к разговорам простых людей, собиравшихся в небольшие кружки и толковавших о своих делах или забавлявшихся пением и импровизациями...

В рассказе «Переписка» Тургенев передал настроение, которым был охвачен весною 1840 года. «Я вспомнил, — пишет он, — свое пребывание в Неаполе... май только что начинался; мне недавно минуло двадцать два года... Я скитался один, сгорая жаждой блаженства, и томительной, и сладостной, до того сладостной, что она сама как будто походила на блаженство... Что значит молодость! Помню, раз я ночью поехал кататься по заливу. Нас было двое: лодочник и я... Что это была за ночь и что за небо, что за звезды, как они дрожали и дробились на волнах... На рейде стоял французский линейный корабль. Он весь смутно рдел огнями; длинные полосы красного цвета, отраженье озаренных окон тянулись по темному морю. Капитан корабля давал бал. Веселая музыка долетала до меня редкими приливами; особенно помню я трель маленькой флейты среди глухих возгласов труб; она, казалось, порхала, как бабочка, вокруг моей лодки. Я велел грести к кораблю; два раза объехал его кругом. Женские очертания мелькали в окнах, резво проносимые вихрем вальса... Я велел лодочнику пуститься прочь, вдаль, прямо в темноту... Помню, звуки долго и неотвязно гнались за мною».

Одинокая молодость, жажда любви, тоска немых стремлений — все это говорило о смутном душевном состоянии романтически настроенного юноши.

Такою же страстной, глубокой грустью окрашен рассказ «Три встречи», где с замечательной поэтической силой дана картина южной итальянской ночи.

Недаром Некрасов по прочтении этого рассказа говорил Тургеневу: «Ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, вместе взятые. И ты один из новых владеешь формой».

После поездки в Неаполь Тургенев за две недели побывал во многих городах Италии: в Ливорно, в Пизе, в Генуе. Проехал все королевство Сардинское, останавливался на Лаго Маджиоре...

Деньги у него были на исходе — надобно было экономить, чтобы добраться до Берлина. Поэтому по Швейцарии он решил путешествовать не в качестве иностранного туриста, а как простой пешеход. Он отказался от услуг гида, купил себе блузу, ранец, палку и, приобретя карту, отправился пешком в горы. Этот способ путешествия действительно оказался не только более приятным, но и более экономным. Тургенев рассказывал потом друзьям, что в то время, как наверху в гостиницах какой-нибудь англичанин платил за обед втрое дороже, он ел внизу то же самое за один или полтора франка, причем обед подавали ему скорее, чем богачу-англичанину.

После мягких, нежных линий и красок Италии причудливо нагроможденные скалы и утесы, ущелья и пропасти, ледники и бледно-зеленые озера производили впечатление дикого величия.

Тургенев уже не вспоминал о том, как беззаботно пролетела весна в Риме в кругу друзей и в обществе милой сердцу Шушу. Теперь на него напала какая-то байроническая тоска, бывали даже минуты, когда ему казалось, что он, не задумываясь, расстался бы с жизнью: такой ненужной и жалкой представлялась она ему иногда.

В одном из стихотворений в прозе последнего периода, вспоминая об этих днях своей молодости и раздумывая над причинами своего тогдашнего состояния, Тургенев писал: «Я жил тогда в Швейцарии. Я был очень молод, очень самолюбив и очень одинок. Мне жилось тяжело и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Все на земле мне казалось ничтожным и пошлым, и, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным

злорадством лелеял мысль... о самоубийстве. «Докажу... этомщу...» — думалось мне... Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде... а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу, что пора разбить стесняющий сосуд... Байрон был моим идолом, Манфред — моим героем...»

Слабое знакомство с жизнью, незнание ее, уязвленная гордость, неудовлетворенное самолюбие, одиночество, брожение крови — вот истоки неглубокого, «возрастного» пессимизма, отмеченные в этой любопытной автобиографической миниатюре, приоткрывающей завесу над внутренним миром двадцатидвухлетнего юноши.

Пройдет еще несколько лет, и многое в нем коренным образом изменится, иное исчезнет без следа, другое приобретет новую окраску, и сам он потом с удивлением будет взирать на свое прошедшее, полное романтических странностей и причуд...

Путешествие Тургенева шло к концу. В середине мая он приехал на родину Гёте — во Франкфурт-на-Майне. Средства его почти совсем истощились, в день прибытия туда у него оставалось ровно столько денег, сколько нужно было, чтобы добраться до Берлина. Железных дорог тогда было еще очень мало — туристы разъезжали в дилижансах.

Тургенев взял место в бейвагене; но дилижанс отходил только в одиннадцатом часу вечера. Времени оставалось много. Пообедав в гостинице, он отправился бродить по городу, посетил дом Гёте у Оленьего оврага, долго гулял по берегу Майна, размышляя о том, что многие русские путешественники по чужим краям, в сущности, мало знакомятся с ними; они видят города, здания, лица, одежды людей, горы, поля, реки и не вступают в живое соприкосновение с народом, среди которого странствуют. «Для них имена городов, исторических лиц и событий остаются одними именами, и как арестант в «Мертвых душах» довольствовался замечанием, что в Весьегонске тюрьма почище будет, а в Царевококшайске еще почище, так и туристы наши только и

могут сказать, что Франкфурт город побольше будет Нюрнберга, а Берлин еще побольше».

Размышляя так, Тургенев бродил по тесным и темным улицам города, с неровными булыжными мостовыми, пока не очутился в шестом часу вечера усталый на одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом не мог забыть.

В кондитерской, куда зашел выпить стакан лимонаду, увидел он дочь хозяйки, девушку необыкновенной красоты. Она взволнованно попросила его помочь привести в чувство ее брата, лежавшего в глубоком обмороке.

Встреча с этой девушкой и неожиданно охватившее его чувство нежной влюбленности, потушить которое ему удалось потом только поспешным отъездом, послужили через тридцать лет основой для повести «Вешние воды».

Позднее он рассказывал об этом одному из своих заграничных знакомых, добавляя, что в повести он изменял подробности и перемещал их, потому что не мог и не хотел «слепо фотографировать»...



ГЛАВА VIII

СНОВА В БЕРЛИНЕ. МИХАИЛ БАКУНИН



Вскоре по прибытии в Берлин Тургенев получил от Ефремова известие о том, что на севере Италии, в городе Нови, по пути к озеру Комо, в ночь на 25 июня умер Станкевич. Потрясенный этим известием, Тургенев писал Грановскому 4 июля 1840 года письмо, которое начиналось словами: «Нас постигло великое несчастье, Грановский... Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой...»

В это время из России в Германию выезжал морем Михаил Бакунин, близкий друг Станкевича по московскому кружку, ставший впоследствии известным революционером и теоретиком анархизма. Он ехал слушать лекции в Берлинском университете, намереваясь в дальнейшем добиться профессорского звания.

Правда, цель, поставленная Бакуниным перед со-

бою, менее всего соответствовала его темпераменту и наклонностям. Не для мирной профессорской деятельности был он рожден. Характеризуя его, Герцен говорит: «Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником, главой партии, секты, ересиархом, бойцом. Поставьте его куда хотите, только *в крайний край,* — анабаптистом, якобинцем... и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов».

Но в 1840 году Бакунин отправлялся в Берлин с одним намерением — досконально изучить в университете гегелевскую философию.

Он не знал еще о смерти Станкевича и надеялся, что в Германии, как и в Москве, будет проводить время в обществе своего друга и заниматься вместе с ним науками.

Провожавший Бакунина из Петербурга до Кронштадта Герцен писал потом: «Едва только пароход вышел из устья Невы, на нас обрушился один из обычных балтийских шквалов, сопровождаемых потоками холодного дождя. Капитан принужден был повернуть обратно. Это возвращение произвело на нас обоих чрезвычайно тяжелое впечатление. Бакунин грустно смотрел, как снова приближался к нам петербургский берег, который он думал оставить за собой на долгие годы, с его набережными, усеянными зловещими фигурами солдат, таможенными, полицейскими офицерами и шпионами, дрожавшими от холода под своими поношенными зонтиками... Я показал Бакунину на мрачный облик Петербурга и процитировал те великолепные стихи Пушкина, где он, говоря о Петербурге, бросает, будто камни, не связывая их между собой, отдельные слова:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.

Бакунин не захотел спуститься на берег, он предпочел дождаться часа отъезда в своей каюте на пароходе.

Я оставил его, и мне еще помнится его высокая, крупная фигура, закутанная в черный плащ и поливаемая неумолимым дождем; помнится, как он стоял на передней палубе судна и махал мне в последний раз своей шляпой, когда я входил в поперечную улицу».

Через несколько дней после приезда в Берлин Бакунин познакомился с Тургеневым. Они как бы протянули друг другу руки над могилой дорогого обоим человека с надеждой хоть отчасти возместить этим новым знакомством страшную для них утрату.

Натуры их были совершенно различны; насколько Иван Сергеевич был мягок, добродушен, уступчив, склонен к созерцанию, настолько Михаил Бакунин — энергичен, порывист, настойчив, деятелен.

Но противоположность характеров не помешала им очень быстро сблизиться и полюбить друг друга.

Бакунин главенствовал в этой дружбе не только потому, что был более волевым и целеустремленным, но и потому, что был почти на пять лет старше Тургенева.

Оба они с юношеской восторженностью готовы были без конца говорить о своих чувствах друг к другу.

«Я приехал в Берлин, — пишет Тургенев осенью 1840 года, — предался науке — первые звезды зажглись на моем небе — и, наконец, я узнал тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан, я едва ли могу сказать... Мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтоб вылиться в слова...»

Тургенев любил записывать на книгах или на рукописях даты, которые он считал почему-либо особенно важными для себя. «Ты не поверишь, — обращается он к Бакунину, — как я счастлив, что могу говорить тебе — ты. У меня на заглавном листе моей «Энциклопедии» (Гегеля. — *Н. Б.)* написано: «Станкевич скончался 24 июня 1840 г.», а ниже: «Я познакомился с Бакуниным 25 июля 1840 г.». Изо всей моей прежней жизни я не хочу вынести других воспоминаний».

В свою очередь, Бакунин постоянно называет Тургенева в письмах того времени другом и братом, от которого у него нет и не может быть тайн.

Необыкновенная способность Бакунина заражать окружающих своим энтузиазмом, увлекать их в сферы высших интересов проявилась и тут. С удвоенной энергией погрузился вместе с ним Тургенев в занятия философией, историей и языками.

Они не расставались и во время прогулок. Анненков, приехавший в Берлин в 1840 году, вспоминал потом, что в первые же дни по приезде он встретил однажды вечером в одном из берлинских кафе на Унтерденлинден «двух русских высокого роста, с замечательно красивыми и выразительными физиономиями, Тургенева и Бакунина, бывших тогда неразлучными».

Поселившись бок о бок в одной квартире, они работали буквально целыми днями, с утра до позднего вечера. Отдыхая, усаживались за шахматную доску и с головой уходили в игру или проводили время в разговорах на самые разнообразные темы — серьезные и смешные, трогательные и грустные. Заспорят, бывало, и не замечают, как летят часы. Тургенев любил устраиваться у печки, а Бакунин — на диване. С жадным вниманием слушал Иван Сергеевич рассказы Бакунина о встречах его с Белинским, Станкевичем, Грановским, Герценом.

Неподалеку от квартиры, занимаемой Бакуниным и Тургеневым, поселилась приехавшая из Италии сестра Бакунина — Варвара Александровна, на руках которой скончался Станкевич.

Михаил Бакунин познакомил Тургенева с сестрой, и та сразу же прониклась большой симпатией к Ивану Сергеевичу. «Какая у него чистая, светлая и нежная душа», — говорила Варвара Александровна.

Она любила музыку, много занималась ею еще с детских лет и достигла в этой области таких успехов, что легко могла бы сделаться незаурядной исполнительницей, если бы целиком посвятила себя музыке.

У нее Тургенев и Бакунин не раз слушали бетховенские симфонии и квартеты в обществе профессора Вердера, его приятельницы Фроман, дружившей с семьей Гёте, критика Фарнгагена фон Энзе и других.

Новый, 1841 год друзья встречали у Варвары Александровны. Тургенев подарил ей в тот вечер тщательно переписанные им стихотворения Лермонтова, особенно понравившиеся ему: «Памяти А. И. Одоевского», «1 января», «Казачья колыбельная песня». «Дума», «Дары Терека», «Не верь себе», «Тучи», «Еврейская мелодия».

Хотя дружба Тургенева и Бакунина крепла день ото дня, она все же не обещала быть долговечной — слишком уж противоречив и труден был характер Бакунина. Мудрено было долго сохранять с ним ровные отношения. Сначала он покорял людей глубоким умом, богатством природных дарований, порывами сильной, мятущейся души, неустанным стремлением куда-то, но по мере того, как яснее проступали теневые стороны его натуры — себялюбие, деспотизм, пренебрежение к окружающим, друзья или отходили от него, или резко порывали с ним.

Безапелляционность суждений Бакунина, привычка бесцеремонно вмешиваться в чужие дела, руководить и поучать во что бы то ни стало вызывали протест почти у всех, кто соприкасался с ним. И только, пожалуй, самые близкие ему люди — сестры и братья — не хотели замечать отрицательных качеств его характера.

Их вера в старшего брата была непоколебима, и они добровольно и легко несли иго непререкаемого его авторитета.

Находясь в Берлине, Бакунин деятельно переписывался с родными, жившими в родовом имении Премухино в Тверской губернии. В письмах к сестрам и братьям он часто упоминал о Тургеневе, отзываясь о нем, как о дорогом ему человеке, дружбу с которым он считал счастливым событием в своей жизни.

Тургеневу он тоже нередко рассказывал о своих

близких. Это была большая и очень дружная семья — шесть братьев и четыре сестры. Личная жизнь сестер сложилась неудачно. Старшая, Любовь Александровна, была невестой Станкевича, который затем усомнился в истинности своего чувства к ней. Создалась мучительно трудная ситуация: он не хотел разорвать отношений с невестой, понимая, что это убило бы болезненно восприимчивую и хрупкую девушку, но и поддерживать отношения больше не мог. Несчастье вывело его из затруднения: он заболел и, по настоянию докторов, должен был отправиться за границу для лечения.

Уехал Станкевич, не простившись с невестой, так как понимал, что свидание с нею заставило бы его высказаться начистоту. Любовь Александровна догадывалась о совершившейся в нем перемене. Разлука с любимым человеком и сознание неопределенности создавшегося положения сразили ее. У нее открылась чахотка, очень скоро приведшая к роковой развязке. В августе 1838 года она умерла. «В ней я потерял, — признавался Станкевич, — не ту, которую любил, но которой жизнь, может быть, сделал бы безотрадной. Судьба кончила все, как обыкновенно кончает: она разложила вину. Ее память освещает душу мою, которую сушила неестественность положения».

Другой драмой в семье Бакуниных был несчастливый брак Варвары Александровны, вышедшей замуж за тверского помещика Дьякова, которого она не любила и который был ей внутренне чужд. В 1838 году Варвара Александровна с трехлетним сыном уехала от мужа за границу.

Судя по всему, Варвара Александровна и Станкевич только уже после смерти Любови Александровны поняли, что любят друг друга. Примерно за месяц до смерти Станкевича, списавшись предварительно, они встретились в Италии.

Ивану Сергеевичу суждено было внушить сильное чувство третьей сестре Михаила Бакунина — его любимице, Татьяне Александровне. Но об этом речь впереди.

Рассказы и воспоминания Михаила Бакунина и

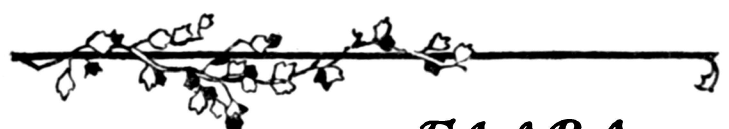
Варвары Александровны о братьях и сестрах, о близких друзьях пробудили в Тургеневе живейший интерес к обитателям Премухина.

Еще задолго до отъезда из Берлина в Россию он просил Бакунина непременно дать ему письмо к своим. «Как хочется мне хотя бы увидеть их! Скажи им обо мне, как о человеке, который тебя любит; больше ничего».

И вот когда весною 1841 года, закончив слушание намеченного цикла университетских лекций, Тургенев стал готовиться к отъезду на родину, Бакунин написал своим братьям и сестрам, что друг его оставляет Берлин, возвращается в Россию и скоро будет в Премухине. «Примите его, как друга и брата, потому что в продолжение всего этого времени он был для нас и тем и другим, я уверен, никогда не перестанет им быть. После вас, Бееровых* и Станкевича он единственный человек, с которым я действительно сошелся. Назвав его своим другом, я не употреблю всуе этого священного и так редко оправдываемого слова. Он делил с нами здесь и радость и горе... Он не может вам быть чужим человеком. Он вам много, много будет рассказывать о нас и хорошего и дурного, и печального и смешного. К тому же он мастер рассказывать — не так, как я, — и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите».

---

* Семейство орловского помещика Беера, владевшего имением Шашкино (неподалеку от Спасского), было связано давней дружбой с Бакуниными.



ГЛАВА IX

СТРАНИЦЫ ЛЮБВИ



В Петербург Тургенев приехал на пароходе и, не задерживаясь здесь, отправился в Москву, где ждала его Варвара Петровна. Поездку в Премухино к Бакуниным Ивану Сергеевичу пришлось отложить до осени, потому что через несколько дней он вместе с матерью уехал из Москвы в Спасское на все лето.

Если в 1839 году радость свидания с родиной была омрачена зрелищем последствий пожара, то в этот приезд Тургенев до глубины души был опечален при виде следов губительной бесснежной зимы сорокового года, не пощадившей его «старых друзей», как он говорил, — его любимых дубов и ясеней. При жесточайших морозах до самого конца декабря не выпало снегу; зеленя все вымерзли, и много прекрасных дубовых лесов погибло.

Грустное чувство, с которым Тургенев въехал

в хорошо знакомый ему Чаплыгинский лес, запечатлено в рассказе «Смерть». Куда девалась былая красота статных, могучих деревьев! «Засохшие, высились они над молодой рощей, которая «сменила их, не заменив».

С радостью встретили Ивана Сергеевича обитатели Спасского. Приезд его всегда был для них праздником. «Наш ангел, наш заступник едет», — говорили дворовые.

Все здесь помнили, как несколько лет тому назад Иван Сергеевич, приехав из Петербурга на рождественские каникулы и узнав, что матушка запродала дворовую девушку Лушу — первую рукодельницу на селе, — решительно воспротивился этому.

Он прямо заявил тогда матери, что торговлю крепостными считает варварством, несовместимым с человеческим достоинством, что, будучи законным наследником отца, он ни за что не допустит этой сделки. А Луша тем временем была укрыта с его помощью в надежной крестьянской семье.

Раздосадованная покупательница, соседняя помещица, обратилась к мценскому исправнику с просьбой помочь получить купленную ею «крепостную девку Лукерью». Она заявила исправнику, что молодой помещик «бунтует» крестьян.

Исправник, бывавший прежде в доме Варвары Петровны и всегда любезно ею принимаемый, прибыл в Спасское выполнить эту трудную миссию. В разговоре с исправником Иван Сергеевич отказался «выдать» Лушу. Варвара Петровна посоветовала тогда исправнику взять девушку силой. Но Тургенев с ружьем в руках встретил исправника и понятых на крыльце дома, в котором укрывалась Лукерья.

— Стрелять буду! — твердо заявил он понятым, вооруженным дубинками.

Понятые отступили.

Не зная, что предпринять, исправник обратился к Варваре Петровне, а та, видя, что дело принимает неприятный оборот, только рукою махнула: дескать, уплачу неустойку — и дело с концом.

Помнили в Спасском и о том, как настойчиво

просил Тургенев мать о вольной Порфирию Кудряшеву. Еще до отъезда в Берлин вместе с Иваном Сергеевичем Кудряшев учился в фельдшерской школе, а за границей слушал лекции на медицинском факультете. Он стал домашним доктором у Варвары Петровны, и она считала, что уже одним этим оказала ему большую милость.

— Все это прекрасно, — говорил Иван Сергеевич — да сними ты с него ярмо! Клянусь, что он тебя не бросит, пока ты жива. Дай ты ему только сознание того, что он человек, а не раб, не вещь, которую ты можешь по своему произволу, по одному капризу упечь, куда и когда захочешь!

Однако убедить Варвару Петровну ему так и не удалось. Только после смерти матери Тургенев смог дать вольную Кудряшеву.

«Для меня лично, — пишет воспитанница Варвары Петровны, Житова, — приезд Ивана Сергеевича имел тоже большое значение. Во-первых, прекращались все уроки: он утверждал, что летом детям учиться вредно. Заступался он за меня и открыто, за дело ли, не за дело ли мне доставалось, и еще чаще слышалось добродушное «Vous gâtez la petite» * из уст Варвары Петровны».

С нею произошла заметная перемена: она уже не гневалась без причины на всех и каждого, капризы и вспышки, столь частые прежде, будто рукою сняло.

Присутствие сына и раньше благотворно действовало на нее, а теперь, соскучившись за долгое время разлуки, она на радостях готова была во всем уступать ему, не знала, как и угодить своему Ванечке.

Она приказывала готовить его любимые кушанья, посылала то и дело во флигель к нему банки с любимым его крыжовенным вареньем, которым он угощал дворовых ребятишек, постоянно сновавших под окнами у него.

Иван Сергеевич безнаказанно совершал опустошительные набеги на «бакалейный шкаф», который стоял в каменной галерее, уцелевшей от пожара. Де-

---

* «Ты балуешь ребенка».

лал он это, конечно, не столько для собственной прихоти, сколько из желания позабавить матушкину воспитанницу.

Ключи от шкафа находились у старого слуги Михаила Филипповича, который был когда-то камердинером отца Тургенева, а теперь одряхлел, оглох и даже несколько тронулся.

Взяв Вареньку за руку и приняв свирепый вид, Иван Сергеевич с восклицанием: «Пойдем грабить!» — большими шагами решительно направлялся с нею к галерее. «Отопри!» — приказывал он Филиппычу и начинал хозяйничать в шкафу, к ужасу бережливого старика.

«Смешить других и вообще школьничать было его страстью», — рассказывала дочь соседнего помещика, В. Колонтаева, о молодом Тургеневе.

Так, например, Иван Сергеевич любил изображать мимически различные стадии грозы. Сначала зарницы — легкое мигание глаз, затем подергиванье рта то в одну, то в другую сторону с непостижимой быстротой и, наконец, вспышки молнии... Тут вся его физиономия неузнаваемо изменялась, мускулы лица приходили в такое быстрое и беспорядочное движение, что зрителям и впрямь становилось страшно.

В этот приезд Тургенев был необыкновенно нежен и внимателен к матери. Он даже охотой жертвовал иногда, видя, что ей приятно будет провести с ним время. Случалось, он сам возил ее в коляске по саду (из-за болезни ног Варвара Петровна почти лишилась способности самостоятельно передвигаться).

Тихо и мирно проходили в Спасском дни за днями, но вдруг это идиллическое спокойствие было нарушено — Варваре Петровне стало известно, что Иван Сергеевич увлекся простой девушкой, работавшей в Спасском белошвейкой по вольному найму. Была она из московских мещанок, и звали ее Авдотьей Ермолаевной.

Миловидная, скромная девушка с первого взгляда полюбилась Тургеневу.

Когда читаешь в «Дворянском гнезде» о родителях Лаврецкого, о любви Ивана Петровича к дворо-

вой девушке, то невольно вспоминается история любви Тургенева к Авдотье Ермолаевне.

В романе рассказывается, как мучительно томился от скуки Иван Петрович, вернувшийся из столицы в деревенскую степную глушь к родителям. «Только с матерью своею он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка, с ясными, кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого разу приглянулась Ивану Петровичу; и он полюбил ее: он полюбил ее робкую походку... тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязаться — и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина...»

Как только слухи о любви Ивана Сергеевича к Авдотье дошли до Варвары Петровны, она разгневалась и распорядилась немедленно же удалить «провинившуюся» из Спасского. Авдотье Ермолаевне пришлось уехать в Москву; там она сняла комнату на Пречистенке и стала работать швеей на дому. Уезжая, она была уже беременна, и весною 1842 года у нее родилась дочь Пелагея, которая вскоре после рождения была взята у матери и отправлена в Спасское. Авдотья Ермолаевна впоследствии вышла замуж за мещанина Калугина. Тургенев пожизненно выплачивал ей ежегодно пенсию. В 1875 году она умерла, о чем Иван Сергеевич получил уведомление через тульского губернатора.

Вполне вероятно, что, описывая судьбу крестьянской девушки, полюбившейся Ивану Петровичу Лаврецкому, Тургенев вспоминал свое увлечение Авдотьей Ермолаевной.

Возлюбленную Ивана Петровича Тургенев называет в «Дворянском гнезде» «тихим и добрым существом, бог знает зачем выхваченным из родной поч-

вы и тотчас же брошенным, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем».

А вот сходный образ в стихотворении «Цветок», написанном Тургеневым в 1842 или в 1843 году и, несомненно, навеянном воспоминаниями об Авдотье Ермолаевне:

Тебе случалось — в роще темной,
В траве весенней, молодой
Найти цветок простой и скромный?
(Ты был один — в стране чужой.)

Он ждал тебя — в траве росистой
Он одиноко расцветал...
И для тебя свой запах чистый,
Свой первый запах сберегал.

И ты срываешь стебель зыбкий,
В петлицу бережной рукой
Вдеваешь с медленной улыбкой
Цветок, погубленный тобой.

И вот идешь дорогой пыльной;
Кругом — все поле сожжено,
Струится с неба жар обильный,
А твой цветок завял давно.

Он вырастал в тени спокойной,
Питался утренним дождем
И был заеден пылью знойной,
Спален полуденным лучом.

Так что ж? Напрасно сожаленье!
Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего.

В середине сентября Тургенев уехал из Спасского в Москву, где прожил всю зиму, занимаясь подготовкой к магистерским экзаменам и посещая литературные кружки и салоны. Он бывал среди друзей Т. Н. Грановского, получившего кафедру в Московском университете, бывал в доме опального генерала М. Ф. Орлова, осужденного за близость к декабристам безвыездно жить в Москве, бывал в салоне А. П. Елагиной, где дважды встретился в 1841 году

с Н. В. Гоголем и где близко познакомился со славянофилами: братьями Киреевскими, братьями Аксаковыми и А. С. Хомяковым. Круг его знакомств все время заметно расширялся.

Вскоре после приезда в Москву Иван Сергеевич навестил Бакуниных в Премухине. С посещением этим связано начало сильного увлечения Татьяны Бакуниной Тургеневым.

Еще до приезда его она много слышала о нем. Мишель и Варвара писали ей о Тургеневе из Германии, младшие братья, Алексей и Александр, учившиеся в университете и уже успевшие познакомиться с Иваном Сергеевичем в Москве, в один голос твердили: «Чудный, живой, одухотворяющий человек! Как он рассказывает! Будто сам вместе с ним все видишь и переживаешь!..»

Татьяне Александровне шел двадцать седьмой год. Она была образованна, начитанна, музыкальна, свободно владела несколькими языками. Старший брат привил ей интерес к философии, к искусству, к поэзии.

Белинский, приезжавший в Премухино в те годы, когда там еще жил Михаил Бакунин, восторгался его сестрами *: они казались ему необыкновенно возвышенными девушками. Он проявлял участие и живой интерес к судьбе каждой из них. «Что за чудное, за прекрасное создание Татьяна Александровна! Эти глаза, темно-голубые и глубокие как море; этот взгляд внезапный, молниеносный, долгий как вечность, по выражению Гоголя; это лицо кроткое, на котором еще как будто не изгладились следы жарких молений к небу — нет, обо всем этом не должно говорить, не должно сметь говорить».

Но со временем Белинский увидел и другое — односторонность духовного развития сестер Бакунина, он почувствовал, что им не хватало непосредственности, простоты, естественности. Они воспитывались на романтической литературе. Любимыми их авторами были Новалис, Жан Поль Рихтер, Беттина Арним.

* Он был безответно влюблен тогда в младшую сестру, Александру.

Отсюда сентиментальность, экзальтация, отрешенность от действительности, характерные для дворянского поколения сороковых годов и доведенные здесь до крайности.

Особенно явственно проявлялись эти черты в нравственном облике Татьяны Александровны. Несоответствие между воображаемым миром, в котором она жила, и жизнью действительной заставляло ее страдать, наносило ей раны. Ее тяготили обыденщина, проза. Она грустила о бесполезно уходящей молодости. Ей хотелось порвать эти путы, но она сама не знала, куда ей стремиться.

Приезд Ивана Сергеевича всколыхнул, взволновал Татьяну Бакунину, воскресив в ней смутные мечты и надежды.

Поэт, философ, остроумный собеседник, близкий друг ее любимого брата, он сразу завладел воображением Татьяны Александровны.

Страстная восторженность охватила ее — наконец-то явился ее избранник, явился тот, о ком тосковала ее душа! Она с благоговением слушала Тургенева, и каждое слово его западало ей в сердце. Он подробно и красочно рассказывал об общих знакомых, друзьях и близких — о Станкевиче и Ефремове, о своей жизни с Мишелем в Берлине. И чего бы ни касалась речь — философии, политики, поэзии, искусства, — Тургенев говорил обо всем умно, горячо и дельно, обнаруживая при этом большие знания и поразительную начитанность.

Хотя Тургенев пробыл в Премухине недолго — всего шесть дней, он успел за этот короткий срок сдружиться с Татьяной Александровной. Убедившись, что она любит стихи, что у нее есть и тонкий вкус и понимание поэзии, он охотно читал ей стихотворения, свои и чужие—Пушкина, Лермонтова, Кольцова.

— Поэзия — язык богов, — заметил он однажды. — Но не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо — отовсюду веет красотой и жизнью; а где красота и жизнь, там и поэзия.

Спустя три года после этой первой встречи

с Татьяной Бакуниной Тургенев начал писать рассказ «Переписка» (потом он отложил его на половине и вернулся к нему только через десять лет). В этом рассказе явственно слышатся отзвуки пережитой сердечной истории.

Некоторые страницы рассказа словно бы взяты из подлинной переписки Тургенева с Бакуниной.

С первых же дней знакомства Тургенев звал Татьяну Александровну своей старшей сестрой (он был на три года моложе ее), а затем стал называть своей Музой, и ей показалось, что в его словах, в его взгляде она уже читает любовь. Потом ей пришлось убедиться, что она ошиблась. Но на первых порах она не замечала этой ошибки, тем более что и сам Тургенев не вполне, видимо, отдавал себе отчет в своих чувствах.

По возвращении из Премухина в Москву при первой же встрече с братом Татьяны Бакуниной, Алексеем, он попросил его написать сестрам, что дни, проведенные им, Тургеневым, в Премухине, останутся для него незабвенными, потому что каждый миг из этих шести дней заключал в себе целую вечность.

— Вот в таких словах и напишите... — настойчиво твердил Тургенев Алексею Бакунину.

Мало того, вскоре он и сам послал Татьяне Александровне письмо, выражая в нем надежду повидать ее в ближайшее время в Москве. В заключение он писал: «Я знаю, что вы не любите, когда вам говорят о вашем здоровье. Я хотел бы сказать одно. Вам должно бы знать, что ваша жизнь может приобрести и для других высокое и святое предназначение — да и кто знает, не случилось ли это уже?»

Через некоторое время он снова высказывает надежду встретиться: «Приезжайте в Москву, милые, милые мои сестры! — пишет он в Премухино 12 января 1842 года. — Прошу помнить обо мне, и знайте (как Пушкин сказал), что

Ваша тихая пустыня,
Последний, грустный звук речей,
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей».

Эти полупризнания лишали Бакунину душевного покоя и самообладания. Ее любовь к Тургеневу разгоралась все сильней и сильней.

Отбросив условности, Бакунина первая объяснилась в любви: «...расскажите кому хотите, — писала она, — что я люблю Вас, что я унизилась до того, что сама принесла к ногам Вашим мою непрошеную, мою ненужную любовь. И пусть забросают меня каменьями...»

Она видела в Тургеневе образец совершенства, предрекала ему великую будущность как поэту и смиренно просила только об одном — помнить об ее преданной и неизменной любви.

Это необычное и страстное изъявление чувства смутило и даже озадачило Тургенева.

«Я никогда ни одной женщины не любил более Вас, — писал он ей, — хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью».

И сама Татьяна Александровна впоследствии говорила брату Алексею, что у Тургенева не было истинной любви к ней, что «все это было не более, как фантазия разгоряченного воображения».

Роман с Бакуниной оставил заметный след в поэтическом творчестве молодого Тургенева.

Переживаниям, связанным с этим увлечением, посвящен целый ряд его лирических стихотворений начала сороковых годов («Долгие белые тучи плывут», «Дай мне руку — и пойдем мы в поле», «Нева», «Когда с тобой расстался я...» и много других).

Отзвуки романа с Бакуниной различимы также в поэме «Андрей» и в рассказе «Андрей Колосов». Если же брать шире — не только личную историю Тургенева и Татьяны Бакуниной, но общую атмосферу «премухинского гнезда», то надо сказать, что писатель почерпнул в Премухине много наблюдений, которые широко использовал при создании первых романов и повестей.

Сопоставляя отдельные строфы стихотворений Тургенева, посвященных Бакуниной, с соответствующими отрывками из его писем к ней, не трудно заметить, что стихотворения эти были как бы лириче-

ским дневником его и непосредственно перекликались иногда с письмами.

«Дайте мне Вашу руку, — писал Тургенев Бакуниной в марте 1842 года, — и, если можете, *позабудьте все тяжелое,* все половинчатое прошедшего. *Вся душа* моя преисполнена глубокой грусти...» и т. д.

И вот выдержки из стихотворения, также написанного в 1842 году:

Дай мне руку — и пойдем мы в поле,
Друг души задумчивой моей...
. . . .
Позабудь все тяжкое, все злое,
Позабудь, что расставались мы.
Верь: смущен и тронут я глубоко,
И к тебе стремится *вся душа*...

«Ваши письма, Тургенев, не оставят меня, — писала Татьяна Бакунина, — покуда будет жизнь во мне. Вам самим я не отдала бы их, если бы Вы даже стали требовать — мое страдание, моя любовь дали мне право, которого никто на свете не отнимет у меня. Ваши два последние письма — с тех пор, как я получила их — лежат на груди у меня — и мне одна радость чувствовать их, прижимать их крепко, долго...»

И вот строки из стихотворения «Нева» (1843 г.):

Теперь, быть может, у окна
Она сидит... и не страдает;
Но, как свеча от ветра, тает
И разгорается она....
Иль, руки страстно прижимая
К своей измученной груди,
Она глядит полуживая
На письма грустные твои...

Тургенев встречался с Татьяной Бакуниной не только в Премухине, но и в Москве и в имении друзей Бакуниных — Бееров.

Уезжая из Шашкина в 1842 году, Татьяна Бакунина писала Тургеневу: «Вчера вечером мне было глубоко бесконечно грустно — я много играла и много и долго думала. Молча стояли мы на крыльце

с Alexandrine — вечер был так дивно хорош — после грозы звезды тихо загорались на небе; и мне казалось, они смотрят мне прямо в душу... Вот Вам письмо, которое я писала после первого свидания с Вами здесь — прежде я все хотела отдалить его, но теперь я хочу, чтобы вы знали все, что я думаю про Вас. Прощайте, Тургенев, пора ехать: близко Вас проедем мы, мне весело, прощайте, дайте мне руку Вашу...»

Стихотворение Тургенева «Гроза промчалась» (1844 г.) перекликается с этим письмом Татьяны Бакуниной. Оно навеяно воспоминаниями о той поре, когда Тургенев приезжал из Спасского верхом в Шашкино уже после того, как Татьяна Александровна уехала оттуда.

Это о ней, о своей «доброй, прекрасной сестре», вспоминал он, всходя на ступени знакомого крыльца:

«А ты? Где ты? Что делаешь теперь?..»

Гроза промчалась низко над землею...
Я вышел в сад; затихло все кругом —
Вершины лип облиты мягкой мглою,
Обагрены живительным дождем.

. . . .

Какая ночь! Большие, золотые
Зажглися звезды... воздух свеж и чист;
Стекают с веток капли дождевые,
Как будто тихо плачет каждый лист.

Зарница вспыхнет... Поздний и далекий
Примчится гром — и слабо прогремит...
Как сталь блестит, темнея, пруд широкий, —
А вот и дом передо мной стоит.

И при луне таинственные тени
На нем лежат недвижно... вот и дверь;
Вот и крыльцо, знакомые ступени...
А ты... Где ты? Что делаешь теперь?

Упрямые, разгневанные боги,
Не правда ли, смягчились? И среди
Семьи твоей забыла ты тревоги,
Спокойная на любящей груди?

Иль и теперь горит душа больная?
Иль отдохнуть ты не могла нигде?
И все живешь, всем сердцем изнывая,
В давно пустом и брошенном гнезде?

Роман Тургенева с Татьяной Бакуниной длился недолго. Уже весною 1842 года наметился разрыв их отношений. Об этом свидетельствует пространное и несколько противоречивое письмо Тургенева к ней, написанное в 20-х числах марта. Иван Сергеевич пишет в нем, что они стали чужды друг другу, и вместе с тем продолжает уверять Бакунину, что питает к ней глубокое чувство.

Татьяна Александровна усмотрела в этом письме неискренность, отсутствие простоты и настоящего чувства, прикрытое красивыми фразами.



ГЛАВА X

МАГИСТЕРСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ



Стихотворения Тургенева хотя и редко, но все же время от времени появлялись на страницах журналов «Отечественные записки» и «Современник». Но если бы его спросили тогда, кем он считает себя, поэтом или будущим ученым, то он, может быть, затруднился бы сразу ответить на этот вопрос.

Некоторые знакомые Ивана Сергеевича не подозревали, что он печатает стихи, подписывая их буквами «Т. Л.». Они видели в нем отнюдь не писателя, а именно молодого ученого, который приехал в Москву из Берлина, чтобы занять в университете кафедру.

Поэт Полонский позднее вспоминал: «Я стал навещать Тургенева не как писателя, а как молодого ученого, который (по слухам) приехал в Москву из Берлина, с тем чтоб в университете занять кафедру

философии. Ему, вероятно, и не верилось, что философия была запретным плодом и преследовалась, как нечто вредное и совершенно лишнее для нашего общества».

Другие его знакомые знали, что он пишет стихи, но одновременно готовится посвятить себя и наукам. Рассказывая о первой встрече с Тургеневым в доме профессора Московского университета С. П. Шевырева, А. Фет писал: «Во время одной из наших с ним (с Шевыревым. — *Н. Б.*) бесед в его гостиной слуга доложил о приезде посетителя, на имя которого я не обратил внимания.

В комнату вошел высокого роста молодой человек, темно-русый, в модной тогда «листовской» прическе и в черном, доверху застегнутом, сюртуке... Молодой человек о чем-то просил профессора... По его уходе Степан Петрович сказал: «Какой странный этот Тургенев: на днях он явился со своей поэмой «Параша», а сегодня хлопочет о получении кафедры философии при Московском университете».

Мысль о профессорстве не оставляла Тургенева. Но ведь он намеревался добиваться степени магистра философии, а эта наука в николаевской России была не в почете. Охранители монархии видели в ней опасный источник вольномыслия и свободолюбия. Кафедра философии в Московском университете была упразднена вскоре после восстания декабристов, и с тех пор в течение пятнадцати лет преподавание ее здесь так и не возобновлялось.

Выходило, что в Москве к тому же некому было экзаменовать Тургенева по этому предмету. Однако он не успокоился и в конце марта 1842 года отправился в Петербург, где подал прошение ректору университета Плетневу о допущении к испытаниям. Соответствующее разрешение было ему дано.

В Петербурге Тургенев остановился на квартире старшего брата Николая, в Графском переулке. Тот отвел ему прекрасную комнату с камином и тремя вольтеровскими креслами. Все располагало здесь к занятиям. В квартире было очень тихо, даже с улицы не доносилось ни малейшего шума.

Брат, служивший в гвардейской артиллерии, почти не бывал дома. Иван Сергеевич наслаждался тишиной и покоем, погрузившись в чтение философских трактатов Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте. Первый экзамен (по философии) он должен был держать уже через неделю.

Экзамены начались 8 апреля. Тургенев отлично ответил экзаменационной комиссии (в составе декана факультета и четырех профессоров) на вопросы: 1. «Что есть философия, ее содержание». 2. «Истина субъективная». 3. «Изложение сущности философии Платоновой». 4. «О методе философствования в разные времена».

Следующий экзамен (по латинской словесности) Тургенев держал 1 мая. Профессор Фрейтаг предложил ему прочитать, перевести и объяснить отрывок из элегии Тибулла.

Усиленные занятия древними языками в Берлине не прошли бесследно. В отметке, полученной Иваном Сергеевичем на этом экзамене, значилось: «Перевод и изъяснение сделаны хорошо».

С еще большим успехом прошли испытания по греческой словесности. Экзаменационная комиссия единогласно признала, что перевод и изъяснение отрывков из «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида сделаны Тургеневым «очень хорошо».

Это был последний изустный экзамен. 5 мая начались письменные испытания.

Первый вопрос, предложенный профессором Фишером, был, пожалуй, наиболее трудным и сложным: «Показать внутренние причины беспрестанно возникающего пантеизма и привести его многообразные формы, данные в истории философии, к немногим видам».

Тургенев дал краткий очерк истории возникновения и развития этого философского воззрения; обзор свой он начал с представителей ионической школы и кончил «новейшим пантеизмом», под которым разумел учение Фейербаха.

Стоя на идеалистических философских позициях и находясь под влиянием правых гегельянцев,

Тургенев отрицательно определил роль «Сущности христианства» Фейербаха.

Но позднее, сблизившись с Белинским, он многое пересмотрел в своих философских взглядах. Общение с великим критиком-демократом помогло Тургеневу, в частности, правильно понять значение материалистической философии Фейербаха. И когда ему пришлось в 1847 году коснуться вопроса о борьбе в стане последователей Гегеля *, он подчеркнул, что среди них лишь один «Фейербах не забыт, напротив». А в письме к Виардо в конце того же года он называет автора «Сущности христианства» «единственным талантом среди новейших германских философов».

На следующем письменном экзамене профессор Фрейтаг поставил перед Тургеневым вопросы о степени влияния греческой философии и литературы на римскую. В ответах Тургенева, написанных по-латыни, красной нитью проходит мысль о том, что греческая философия и литература стоят неизмеримо выше римской.

Он объясняет это пренебрежением римлян к высшим духовным интересам и тем, что они были поглощены заботами о завоеваниях.

Наконец последним в письменных испытаниях был вопрос, предложенный профессором Грефе: «Что достоверного может почерпнуть история из произведений поэтов?» Начало ответа Тургенев писал по-латыни, а затем перешел на немецкий язык. Суть его рассуждения сводилась к следующему: невозможно по-настоящему ознакомиться с историей какого-либо народа, не исследовав тщательно источников, из которых она познается. Обильнейший материал для исследователя заключен в народном эпосе. Поэтому всякий историк, желающий добросовестно исполнить свой труд, не может пройти мимо эпических поэм, представляющих «всю жизнь народа, его нравы, религию, игры, учреждения, весь его общественный и домашний быт».

---

* В статье «Письмо из Берлина», «Современник», 1847 г., № 3.

В ответе Тургенева есть отступление личного характера, в котором он объясняет профессору Грефе, что хотя древние языки, особенно греческий, его привлекают, но быть филологом ему не довелось, почему он и держал свой главный экзамен по философии.

Однако все эти усилия Ивана Сергеевича оказались напрасными: власти не разрешили восстановить кафедру философии в Московском университете. Писать магистерскую диссертацию и защищать ее после этого не было уже никакого практического смысла. Ученая карьера Тургенева на этом волей-неволей закончилась.

В июне 1842 года он возвратился из Петербурга в Москву, а оттуда уехал в Спасское — впрочем, ненадолго, так как в конце следующего месяца отправился в Германию, где его с нетерпением ждал Михаил Бакунин.

В жизни Бакунина наступил критический момент. Он принял окончательное решение никогда не возвращаться в Россию.

Мысль об этом возникала у него и раньше, и он, несомненно, еще в пору студенческой жизни делился своими планами с Тургеневым. Содержание дружеских бесед на эту тему Тургенев пересказал, по-видимому, сестрам и братьям Михаила Александровича, когда приехал из Германии.

В одном из писем Татьяны Бакуниной к Тургеневу слышатся прямые отзвуки тех настроений, которые владели ее братом и Иваном Сергеевичем в берлинский период их жизни. «Поезжайте скорей за границу, — обращается Татьяна Бакунина к Тургеневу, — вам вреден русский воздух. Вам необходимо присутствие Миши. Здесь нет жизни, здесь мертво всё, здесь страшное рабство. *Вы сами говорили* это прежде, и надо много-много силы, чтобы посреди этих мертвых остаться живым человеком, чтобы в самом рабстве сохранить свою самобытность, свою свободу...»

Михаил Бакунин в отсутствие Тургенева пережил в Германии внутренний перелом; он пришел к убеж-

дению, что немецкая метафизика вовсе не то, что он искал. Не жизнь обрел он в ней, как надеялся когда-то, а «смерть и скуку».

Он утратил прежний интерес к отвлеченной философии и прекратил занятия ею. Ему уже нечего было делать в Берлинском университете, не к чему стало слушать лекции Вердера о гегелевских категориях.

Переселившись из Берлина в Дрезден, Бакунин сблизился с немецкими революционерами и с головой погрузился в политическую борьбу.

Тургенева Бакунин вызвал теперь по праву дружбы в Германию, чтобы посоветоваться с ним о своем решении и об устройстве своих материальных дел, оказавшихся в невероятно запутанном состоянии. Он занимал деньги направо и налево, не задумываясь над тем, когда сумеет расплатиться со своими заимодавцами. Порою положение его было настолько трудным, что казалась неизбежной долговая тюрьма.

Бакунин очень надеялся, что Тургенев сумеет выручить его, погасив значительную часть его долгов. Надежды эти, может быть, и оправдались бы, если б Иван Сергеевич сам не находился в зависимости от Варвары Петровны, постоянно предостерегавшей его от ненужных трат. Она частенько напоминала Ивану Сергеевичу об отце, который, по словам ее, «денег не любил считать... Но на тебе бы взыскал и так же, как я, а может быть, и более меня, счету бы потребовал... Он не любил баловать, да и мне заказывал. А мое искомое в том, чтобы ты мне не сказал, как насчет музыки: «Maman, била бы ты меня и играть бы заставляла...»

Иван Сергеевич не любил, когда эта денежная зависимость от матери становилась очевидной его друзьям и знакомым. Чувство ли неловкости перед ними или некоторая беспечность, свойственная ему в молодости, толкали его порою на обещания, выполнить которые он не всегда был в состоянии.

Так случилось и на этот раз. Обсуждая с Бакуниным его денежные дела, Тургенев обещал упла-

тить некоторые долги своего друга, но сделать это в полной мере и в обещанные сроки не сумел, что повлекло за собою ухудшение их взаимоотношений в дальнейшем.

Уезжая в конце 1842 года из Германии в Россию, Тургенев увозил с собою письма Бакунина к родным и друзьям, его портрет, список всевозможных поручений, экземпляры журнала «Немецкий ежегодник науки и искусства», в котором была напечатана статья Бакунина «Реакция в Германии», подписанная псевдонимом Жюль Элизар. Она произвела очень сильное впечатление на современников. Герцен называл ее «художественно-превосходной», «замечательной».

Бакунин убеждал Тургенева внимательнейшим образом пересмотреть письма, вещи, бумаги и хорошенько запрятать при переезде через границу все недозволенное.

— У меня предчувствие, — говорил он, — что на этот раз осматривать пассажиров будут особенно рьяно. А ты ведь веришь предчувствиям, Тургенев.

Брату Николаю Бакунин писал:

«Тургенев уезжает, и я пользуюсь случаем, чтобы переговорить с тобой о деле.

После долгого размышления и по причинам, которые объяснит тебе Тургенев, я решился никогда не возвращаться в Россию. Не думай, чтобы это было легкомысленное решение; оно связано с внутреннейшим смыслом моей прошедшей и настоящей жизни.

Это моя судьба, жребий, которому я не могу, не должен и не хочу противиться. Не думай также, чтобы мне было легко решиться на это — отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россиею и со всеми вами, как теперь, — и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно ожидающая меня впереди на чужбине... Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь

действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы» *.

Обращаясь в минуты расставания к Тургеневу, Бакунин сказал

— Прощай, друг! Долго не увидимся мы с тобою. Мы идем совершенно разными, противоположными путями. Не забывай меня — я тебя никогда не забуду, никогда не перестану любить тебя и верить тебе. Когда ты позабудешь, я подумаю, что ты умер. Хорошо, что мы еще раз увидались: мы узнали друг друга — и я уверен, что где бы нам ни пришлось встретиться и в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы пожмем друг другу руки.

В начале декабря 1842 года Тургенев возвратился из-за границы в Петербург.

Эта поездка в Германию завершила целую полосу его жизни. Когда мечты и планы Тургенева сделаться профессором философии рассеялись, он с удвоенной энергией отдался творческому труду. Уже в самом начале 1843 года он сообщил Алексею Бакунину, что успел многое написать. «Вы, может быть, обо мне скоро услышите».

---

* Будучи, в сущности, мелкобуржуазным революционером, Бакунин впоследствии стал теоретиком анархизма, боролся против создания партии пролетариата, пытаясь внести раскол в работу I Интернационала, из которого был исключен по настоянию К. Маркса.



ГЛАВА XI

ВЫХОД В СВЕТ ПЕРВОЙ ПОЭМЫ. БЕЛИНСКИЙ. СЛУЖБА



И действительно, 1843 год был ознаменован в жизни Тургенева вступлением на литературное поприще — выходом в свет его поэмы «Параша».

Хотя Иван Сергеевич был еще молод в пору ее написания, однако созданию поэмы уже предшествовало почти десятилетие творческой работы в самых различных жанрах. Он пробовал писать и критические статьи, и стихотворения, и маленькие поэмы, и драматические произведения, и рассказы.

Многие из этих ученических произведений были впоследствии уничтожены требовательным к себе Тургеневым. Некоторые стихотворения увидели свет, но и они, впрочем, были затем решительно забракованы автором. Зрелый Тургенев вообще считал свои стихотворения и поэмы весьма посредственными и не допускал включения их в собрание сочинений.

«Я чувствую, — писал он в 1874 году С. А. Венгерову,—положительную, чуть не физическую антипатию к моим стихотворениям—и не только не имею ни одного экземпляра моих поэм, но дорого бы дал, чтобы их вообще не существовало на свете».

Несправедливость этой суровой оценки слишком взыскательного к себе художника очевидна. Не говоря уже о поэмах, получивших высокую оценку Белинского, многие стихотворения Тургенева могут быть отнесены к числу его подлинных творческих удач.

Таковы, например, приведенные выше стихотворения «Цветок», «Гроза промчалась». Можно назвать еще несколько прекрасных произведений: «Утро туманное, утро седое...», «Баллада», «Один, опять один...» и другие.

И все же не стихотворениям и поэмам Тургенева суждено было открыть новую страницу в летописях русской литературы. Она была открыта, как известно, «Записками охотника» в конце сороковых годов.

Но стихотворство явилось для молодого Тургенева хорошей школой писательского мастерства. Он приобретал опыт работы над словом, учился музыкальному строю речи, образности, картинности, выразительности, лаконизму.

Это был этап на пути писателя от романтизма к реализму.

В ранних стихотворениях Тургенева еще чувствуется подражание романтическим образцам, в поэмах же, которые он начал писать с 1843 года, оно почти вовсе исчезает.

Характерен подзаголовок первой поэмы Тургенева «Параша» — рассказ в стихах. Круг тем стихотворной лирики — любовь, природа, фольклорные мотивы — стал недостаточным для Тургенева. Ему хотелось создавать характеры, рисовать общественную среду и бытовые подробности, строить сюжет.

Недаром Белинский называл некоторые его поэмы физиологическими очерками и рассматривал их в ряду прозаических произведений гоголевской школы.

Личное знакомство с Белинским, почти совпавшее с выходом в свет поэмы «Параша», явилось одним из важнейших событий в жизни Тургенева.

Оно произошло в начале 1843 года на квартире у Белинского, жившего тогда в доме Лопатина у Аничкова моста. Тургенева, по его просьбе, привел к Белинскому их общий знакомый, друг Варвары Александровны Бакуниной.

Подробности первой встречи с великим критиком так остро врезались в сознание Тургенева, что даже спустя много лет после нее он сумел восстановить их в своих воспоминаниях о Белинском настолько живо и красочно, будто встреча произошла только вчера.

«Я увидел человека небольшого роста, — пишет Тургенев, — сутуловатого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлял в одно и то же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диване, бегая глазами по полу и перебирая табакерку в маленьких и красивых ручках. Одет он был в старый, но опрятный байковый сюртук, и в комнате его замечались следы любви к чистоте и порядку. Беседа началась. Сначала Белинский говорил довольно много и скоро, но без одушевления, без улыбки... но он понемногу оживился, поднял глаза, и все лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болезненное выражение заменилось другим: открытым, оживленным и светлым; привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда и заметил...

Белинский встал с дивана и начал расхаживать по комнате, понюхивая табачок, останавливаясь, громко смеясь каждому мало-мальски острому слову, своему и чужому. Должно сказать, что собственно блеску в его речах не было: он охотно повторял одни и те же шутки, не совсем даже замысловатые; но когда он был в ударе... не было возможности представить человека более красноречивого, в лучшем,

в русском смысле этого слова: тут не было ни так называемых цветов, ни подготовленных эффектов, ни искусственного закипания, ни даже того опьянения собственным словом, которое иногда принимается и самим говорящим, и слушателями за «настоящее дело»; это было неудержимое излияние нетерпеливого и порывистого, но светлого и здравого ума, согретого всем жаром чистого и страстного сердца и руководимого тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не заменишь».

Молодой поэт сразу расположил к себе Белинского, который и прежде уже несколько знал его по письмам Михаила Бакунина.

Белинскому интересно было узнать подробно от Тургенева о планах Бакунина и ознакомиться со статьей его «Реакция в Германии».

И очень возможно, что именно Тургенева попросил Бакунин сообщить Белинскому свой проект образования за границей русской революционной колонии. У Бакунина было сильное желание вовлечь «неистового Виссариона» в открытую революционную борьбу. Переговоры на эту тему были возобновлены вскорости Бакуниным через Авдотью Панаеву.

— В нем клокочут самые животрепещущие общечеловеческие вопросы, — говорил Бакунин Авдотье Яковлевне Панаевой в 1844 году в Париже о Белинском. — Он преждевременно истлеет от внутреннего огня, который постоянно должен тушить в себе... Возможно ли человеку свободно излагать свои мысли, убеждения, когда его мозг сдавлен тисками, когда он может каждую минуту ожидать, что к нему явится будочник, схватит его за шиворот и посадит в будку!..

Прощаясь с Панаевой, Бакунин просил передать Белинскому, что он надеется на его согласие переехать жить за границу.

Но Белинский, выслушав Авдотью Яковлевну, сказал, что этот план для него неприемлем, что он не мыслит себе жизни вне родины, в отрыве от родной почвы, от литературной деятельности, в которую вложил всю свою душу.

— Я также прекрасно вижу, — прибавил он, — что не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего!.. Ведь это было бы одно и то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и посадить на плодородную почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже. Бакунин слишком увлекается своими отвлеченными фантазиями. Он воображает, что все делается, как в сказке: окунулся Ванька-дурак в чан и вынырнул оттуда красавцем, весь в золоте, и зажил царем!

Вероятно, в сходных выражениях Белинский отвечал и Тургеневу, когда зашла у них речь о проекте Бакунина. Не к этому ли разговору относится следующий отрывок из воспоминаний Тургенева: «...теперь, когда я вспоминаю о наших разговорах, меня более всего поражает тот глубокий здравый смысл, то, ему самому не совсем ясное, но тем более сильное сознание своего призвания, сознание, которое при всех его безоглядочных порывах не позволяло ему отклоняться от единственно полезной в то время деятельности: литературно-критической, в обширнейшем смысле слова...»

После первых же встреч с Иваном Сергеевичем Белинский отозвался о нем Боткину самым лестным образом:

— Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседы и споры с ним отводили мне душу... Отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры... Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность.

Для Белинского Иван Сергеевич представлял особый интерес и как человек, хорошо разбиравшийся в новейших течениях философской мысли. Философия в эту пору стояла на первом месте в сфере умственных интересов Белинского, жадно искавшего правильную революционную теорию, которая указала

бы пути и средства изменения российской крепостнической действительности.

Рассказывая о взаимоотношениях Белинского с его петербургскими приятелями и знакомыми в начале сороковых годов, И. И. Панаев отмечает, что Белинский нередко скучал в этом кругу по той простой причине, что среди литераторов, общавшихся с ним тогда *, «не было ни одного, который мог бы вступить с ним в состязание относительно теоретических вопросов, а для кипучей деятельной натуры Белинского обмен мыслей, спор, состязание с бойцом равной силы были потребностью».

Поэтому-то Белинский любил писать своим московским друзьям Герцену и Грановскому пространные письма, в которых он развивал глубокие и важные вопросы, живо волновавшие его тогда.

«Появление Тургенева, — свидетельствует Панаев, — оживило его. В нем он мог найти до некоторой степени удовлетворение своей потребности и потому сильно привязался к нему».

Уже во время первых встреч Белинского с Тургеневым были заложены основы их прочной дружбы. Когда в апреле 1843 года Тургенев уезжал ненадолго из Петербурга в Спасское, Белинский писал ему: «Прощайте, любезнейший Иван Сергеевич! Очень жалею, что не удалось в последний раз побеседовать с Вами. Ваша беседа всегда отводила мне душу, лишаясь ее на некоторое время, я тем живее чувствую ее цену».

И в дальнейшем Белинский много раз повторял друзьям, как животворны и целительны были для него встречи с Тургеневым. «Я очень люблю и уважаю моих петербургских приятелей, но никто из них не имеет на меня никакого влияния. Всех больше я ценю голову Тургенева». «Без Тургенева я осиротел плачевно».

В Спасское Иван Сергеевич отправлялся, чтобы получить благословение матери перед поступлением

* П. В. Анненков, В. П. Боткин, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков и другие.

на службу в канцелярию министра внутренних дел Перовского.

А кроме того, он хотел порадовать мать своим первым большим произведением — он вез с собою только что вышедшую в свет поэму «Параша».

Директором канцелярии, куда предполагал поступить Тургенев, был не кто иной, как известный писатель и составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль. Он-то и уговорил Тургенева пойти на службу в канцелярию министерства чиновником особых поручений.

Варвара Петровна давно уже выражала желание видеть сына на государственной службе, потому что уклонение дворянина от службы могло рассматриваться тогда как своего рода неблагонадежность.

Еще во время пребывания Ивана Сергеевича в Берлине она спрашивала его в письме: «Ты, Иван, начнешь ли и где начнешь свою службу?»

Вот теперь и сбывалась ее давняя мечта. Правда, чиновничья карьера не задалась Ивану Сергеевичу. Но литературным его занятиям и служба пошла до некоторой степени на пользу благодаря тому, что начальником его оказался старший собрат по перу.

В самый день отъезда из Петербурга в Спасское Тургенев отнес экземпляр поэмы «Параша» на квартиру Белинскому. Не называя себя, он попросил слугу, открывшего ему дверь, передать книжку Виссариону Григорьевичу и тотчас же удалился.

В деревне он пробыл около двух месяцев, а за это время в майском номере «Отечественных записок» появилась большая статья Белинского о поэме.

Критик так горячо хвалил автора «Параши», подписавшегося по обыкновению буквами «Т. Л.», что Иван Сергеевич, прочитав рецензию, почувствовал скорее смущение, нежели радость.

Похвалы настолько смутили его, что, когда Иван Киреевский, встретившись с ним в Москве, стал поздравлять его с успехом «Параши», Тургенев поспешил отречься от своего детища и заявил, что не он автор этой поэмы.

Варвара Петровна призналась сыну, что сначала прочитала поэму без внимания. Но при последующем чтении она стала ей все больше и больше нравиться. «Я вижу в тебе талант, — писала она сыну. — Без шуток, — прекрасно. В «Отечественных записках» разбор справедлив... Я горжусь, что моему сыну приходили такие мысли, новые... Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все реальное любим. Итак, твоя «Параша», твой рассказ, твоя поэма... пахнет земляникой».

Изданием поэмы и весьма сочувственным откликом на нее Белинского — этими двумя немаловажными событиями в судьбе молодого Тургенева — было положено начало его долгого, сорокалетнего творческого пути.

Тургенев выступил с поэмой в 1843 году, после того как русская поэзия понесла одну за другою тяжелейшие утраты, лишившись Пушкина, Лермонтова и Кольцова.

Белинскому верилось все же, что русская поэзия не умерла, а «только уснула по обыкновению, и что по временам она будет просыпаться и рассказывать нам свои прекрасные сны — до тех пор, пока не явится на Руси новый поэт...

Небольшая книжка, — говорит он, — на днях появившаяся в Петербурге под скромным названием «рассказа в стихах», есть именно один из таких прекрасных снов на минуту проснувшейся русской поэзии, какие давно уже не виделись ей».

Критик признается, что он приступил к чтению «Параши» с глубоким предубеждением, думая найти в ней или сентиментальную повесть о любви, или нравоописательные сатирические вирши. «Каково же было наше удивление, когда вместо этого прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокой идеей, полнотой внутреннего содержания, отличающуюся юмором и иронией».

Белинский указывает, что за немногосложностью и простотой сюжетной канвы «Параши» кроется богатство внутреннего содержания и благоуханная

свежесть поэзии, которые невозможно передать в статье.

От внимательного взора великого критика не укрылась характерная особенность таланта Тургенева, разглядеть которую тогда было еще не просто. Это неразрывная связь художника с эпохой, помогающая ему как бы интуитивно предугадать вопросы, которым суждено стать в центре внимания его современников.

Стих автора «Параши», говорит Белинский, «обнаруживает необыкновенный поэтический талант, а верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которой скрывается столько чувства, — все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его».

По жанру своему поэма Тургенева продолжала пушкинскую и лермонтовскую традицию стихотворных «шуточных повестей» типа «Графа Нулина», «Домика в Коломне», «Тамбовской казначейши». Она изобиловала свободными обращениями автора к читателям, лирическими отступлениями, ироническими репликами, бросаемыми мимоходом. Но под покровом легкой, полушутливой, полулирической поэзии таились серьезные и глубокие вопросы.

Живописуя провинциальный помещичий быт, поэт показывал, как пустота и пошлость этой среды убивали лучшие чувства, лучшие порывы и стремления молодости.

Эпиграфом к поэме автор взял лермонтовский стих: «И ненавидим мы, и любим мы случайно».

В его Параше уже проскальзывали черты, которые так ярко проявились впоследствии в образах героинь его романов и повестей.

О барышня моя... В тени густой
Широких лип стоите вы безмолвно;
Вздыхаете, над вашей головой
Склонилась ветвь... а ваше сердце полно
Мучительной и грустной тишиной.
На вас гляжу я: прелестью степной
Вы дышите — вы нашей Руси дочь...

Вы хороши, как вечер пред грозою,
Как майская томительная ночь...

Во взгляде ее поэт видел

Возможность страсти горестной и знойной,
Залог души, любимой божеством.

Но богатые душевные задатки Параши бесплодно завяли, растворились в мещанском счастье случайного замужества. Ее избранник оказался посредственностью.

Мне жаль ее... быть может, если б рок
Ее повел другой, другой дорогой...
Но рок, так всеми принято, жесток;
А потому и поступает строго...

Летом по возвращении в Петербург Иван Сергеевич был зачислен на службу в канцелярию министерства внутренних дел в чине коллежского секретаря. Но служба совсем не интересовала Тургенева — он всячески манкировал ею, к неудовольствию Владимира Даля. Весьма неаккуратно посещая департамент, Тургенев проводил здесь время главным образом за чтением романов Жорж Санд, писал стихи, рассказывал анекдоты.

Числясь на службе, он прожил почти все лето 1843 года в Павловске, где его видели иногда «на музыке, в вокзале» в обществе водевилиста и прозаика Владимира Соллогуба. Оба они резко выделялись в толпе благодаря своему высокому росту и лорнетам.

Извещая Павла Бакунина о том, что он живет в Павловске «для бо́льшего уединения», Тургенев добавлял: «Гуляю, пью крейцбрунн, ношу зеленый зонтик на глаза и пользуюсь сносным здоровьем».

Общение с Владимиром Ивановичем Далем за тот промежуток времени, когда Тургенев с грехом пополам служил под его начальством (1843—1845 гг.), не могло пройти бесследно для его писательской работы. Судя по некоторым косвенным признакам, беседы с Далем и изучение его произведений подсказали Тургеневу, какие огромные богат-

ства может почерпнуть наблюдательный писатель в гуще народной жизни. И очень может быть, что обращению Тургенева к прозе и выбору жанра в известной мере способствовало знакомство с Далем.

Недаром в статье «О повестях, сказках и рассказах казака Луганского» (псевдоним В. Даля), написанной Тургеневым в конце 1846 года, он весьма сочувственно говорит о творческом методе этого писателя и о характере его дарования.

Владимира Даля очень интересовало все, что касалось народного быта, языка, сказок, пословиц. «Пользуясь своим положением, — пишет Д. Григорович в воспоминаниях, — он рассылал циркуляры ко всем должностным лицам внутри России, поручая им собирать и доставлять ему местные черты нравов, песни, поговорки и проч.».

Таким образом, собирание Далем материалов проходило отчасти на глазах у Тургенева, и, вероятно, Даль не мог не познакомить его с этими сокровищами, накопленными за многие годы, как знакомил он с ними в сороковых годах Д. Григоровича. Последний рассказывал, как охотно давал ему Даль переписывать все, что казалось интересным.



ГЛАВА XII

ДРУЖБА С БЕЛИНСКИМ



Около пяти лет длилась дружба Тургенева с Белинским, и только смерть великого критика в 1848 году оборвала ее. Благодаря близости с ним Тургенев вошел в круг петербургских литераторов и стал одним из активных сотрудников «Отечественных записок», а затем в 1847 году и обновленного «Современника».

До знакомства с Белинским литературная деятельность Тургенева носила более или менее случайный и несколько дилетантский характер. Белинский заставил его взглянуть на писательское дело по-иному.

Авдотья Панаева рассказывает в своих воспоминаниях о том, как однажды «досталось» Тургеневу от Белинского в 1843 году (то есть в самом начале их знакомства), когда Белинский узнал, что Тургенев считает унизительным брать деньги за свои сочи-

нения и предпочел бы дарить их редакторам журналов.

— Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев! — корил его Белинский.

В дальнейшем Иван Сергеевич уже никогда не высказывал таких странных взглядов на писательский труд.

В семье ему прививали пренебрежительное отношение к литературной работе.

— Писатель... Что такое писатель? — говорила Варвара Петровна. — L'écrivain ou gratte-papier est tout un. (Писатель и писарь — одно и то же.) И тот и другой за деньги бумагу марают... Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомараньем.

В сороковые годы, которые прошли для Тургенева под знаком дружбы с Белинским, он становится литератором и даже журналистом, тогда как прежде был только поэтом.

С 1843 года на страницах «Отечественных записок» появляются его критические статьи и рецензии, в которых он выступает как литературный союзник Белинского.

Работа в журнале приучила Тургенева относиться к писательству как к труду, как к профессии, и впоследствии он сам уже старался привить молодым писателям именно такую точку зрения: «Я надеюсь умереть литератором и ничем другим быть не желаю...» — писал Иван Сергеевич в 1855 году. Льва Толстого он настойчиво убеждал в необходимости стать профессионалом писателем, занять место «у станка».

На возражения Толстого он отвечал: «Вы были бы правы, если б, предлагая Вам быть только литератором, я ограничил значение литератора одним лирическим щебетаньем, но в наше время не до птиц, распевающих на ветке. Я хотел только сказать, что всякому человеку следует, не переставая быть человеком, быть специалистом... До сих пор в том, что

Вы делали, еще виден дилетант, необычайно даровитый, но дилетант; мне бы хотелось видеть Вас за станком, с засученными рукавами и с рабочим фартуком».

Цену общественному значению литературы он также хорошо узнал в школе Белинского, в кругу представителей передовой общественной мысли того времени.

Девизом великого критика, возглавившего движение писателей-реалистов гоголевского направления, была «социальность». Он часто говорил теперь, что не хочет блаженства, если оно не общее с «меньшими братьями» и принадлежит одному из тысяч. Будучи страстным поборником искусства для жизни, искусства социального, отвечающего насущным нуждам эпохи, Белинский видел в литературе одно из могущественных средств преобразования действительности.

Борясь с защитниками «искусства для искусства», эпикурейской поэзии и реакционного романтизма, отвлекающими читателей от острых тем и вопросов современности, Белинский ратовал за принципы народности и реализма, за поэзию полнокровную, насыщенную глубоким содержанием, понятную и близкую народу.

Ему не суждено было увидеть настоящий расцвет литературной деятельности Тургенева — все самое значительное было создано писателем позднее, в пятидесятые-семидесятые годы.

Но в период становления художника, при переходе от поэтических опытов к прозе, к «Запискам охотника», близость с Белинским имела для Тургенева очень важное, решающее значение.

Она-то и положила начало глубокому внутреннему перелому, совершившемуся в сороковые годы в Тургеневе, когда существеннейшим изменениям подверглись не только его общественно-политические и эстетические взгляды, но и его нравственный облик.

У тех, кому доводилось сталкиваться в начале сороковых годов с Тургеневым, нередко оставалось какое-то двойственное, а то и просто отрицательное

впечатление от него. Так, например, Герцен при первом знакомстве с Иваном Сергеевичем в 1844 году вынес заключение, что при всем своем уме и образованности — это «натура чисто внешняя», которой не чуждо желание рисоваться перед людьми. Более того, он показался Герцену даже фатом и Хлестаковым.

Конечно, это поспешное и ошибочное заключение было скоро отвергнуто самим Герценом, и, как только он узнал Тургенева ближе, между ними надолго установились дружеские отношения.

Но первое впечатление было настолько странным и резким, что Герцен не преминул поделиться своим разочарованием с друзьями, укоряя попутно Белинского в непроницательности и в неумении разбираться в людях.

Черты, подмеченные Герценом, не коренились в Тургеневе и впоследствии исчезли без следа. Однако в свое время он нередко удивлял окружающих некоторыми своими странностями. П. В. Анненков, поддерживавший на протяжении ряда десятилетий тесные отношения с ним, находил, что ключ к пониманию поведения юного Тургенева крылся в одной его тогдашней особенности, которую можно назвать стремлением к оригинальности. «Самым позорным состоянием, в которое может попасть смертный, — писал Анненков, — Тургенев считал то состояние, когда человек походит на другого. Он спасался от этой страшной участи, навязывая себе всевозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы они способствовали его отличию от окружающих».

Отмечали современники и другие слабости молодого Тургенева — привычку во всеуслышание рассказывать о своих сердечных делах и тягу к аристократическим знакомствам.

Вероятно, и от Белинского не укрылись слабые стороны в характере юноши, но это не помешало ему искренне полюбить его.

Белинский увидел не только богатые творческие задатки и огромный интеллект Тургенева. Он оценил

и своеобразие его подхода к жизненным явлениям, основанного на тончайшем знании психологии и быта людей самых различных слоев общества. Роднила их и любовь к порабощенной родине, отвращение к крепостному праву, вера в лучшее будущее русского народа.

Общественные интересы Тургенева, его политические, философские и эстетические взгляды получили теперь новый, сильный толчок, вступили в новую фазу развития.

Мягкая и несколько пассивная натура, склонная к самоанализу, меланхолии и созерцательности, вошла в соприкосновение с горячей, страстной душой, способной к беззаветному увлечению, умевшей бескорыстно и сильно любить и ненавидеть.

Духовные искания Белинского в последний период его жизни были особенно напряженными и яркими. В ту пору он обрывал последние путы идеализма, мешавшие ему двигаться вперед. Его еще разъедали сомнения, когда он размышлял о сущности религии, о будущем устройстве общества, он хотел скорее найти истину, расставаясь с иллюзиями утопического социализма.

Тургеневу посчастливилось быть непосредственным свидетелем этих поисков истины. Вместе подолгу раздумывали и рассуждали они о самых важных вопросах, которые волновали тогда умы лучших людей эпохи.

Никто в России не мог бы в те годы глубже Белинского раскрыть Тургеневу подлинный смысл каждого явления и события, показать их причины, предугадать последствия, направить его сознание на верный путь.

Оценивая позднее значение деятельности своего незабвенного друга, Тургенев как раз по отношению к нему впервые употребил термин «центральная натура», что в понимании его означало общественного деятеля или писателя, стоящего наивозможно ближе к центру, к «сердцевине своего народа». Природа щедро одарила Виссариона Григорьевича эстетическим чутьем, ясностью взгляда, самостоятель-

ностью мысли, бестрепетной смелостью и убежденностью.

Вот почему Тургенев с первых дней знакомства с Белинским проявлял безграничное уважение к авторитету великого критика и покорился его нравственной силе. «Он даже несколько побаивался его», — замечает Иван Панаев.

Любопытно, что и Белинский и Тургенев кратко определили характер своих встреч одним и тем же выражением — «отводить душу». Значение этих слов станет вполне понятным, если мы вспомним о том, как оба они воспринимали окружавшую их действительность.

> А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
> Такая пустая и глупая шутка!

« Да и какая наша жизнь-то еще? — писал Белинский. — В чем она? где она? Мы люди вне общества, потому что Россия не есть общество. У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах — вот наша жизнь...»

Такой же острой горечью проникнуто было восприятие тогдашней действительности и у Тургенева. «Тяжелые тогда стояли времена, — писал он. — Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов... какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор и легче станет...»

Поколение людей сороковых годов выдвинуло из своей среды даровитейших деятелей, отличавшихся необыкновенно высоким нравственным уровнем. «Такого круга людей талантливых, развитых, многосто-

ронних и чистых я не встречал потом нигде...» — говорит Герцен в «Былом и думах».

Лето 1844 года Белинский и Тургенев провели на даче под Петербургом, неподалеку друг от друга: первый жил в Лесном институте, второй — верстах в пяти от Лесного, в Парголове, откуда каждый день приходил навещать больного Белинского.

Дни стояли погожие, и они вдвоем часто гуляли в сосновых рощицах, окружавших Лесной институт. «Мы садились на сухой и мягкий, усеянный тонкими иглами, мох, и тут-то происходили между нами долгие разговоры...» — вспоминал Тургенев.

Кипение мысли не ослабевало в Белинском, хотя силы его были уже надломлены. Страстность, с которой он каждый раз возобновлял прерванную накануне беседу, увлекала Тургенева, но часа через два-три жаркие прения уже утомляли его, легкомыслие молодости брало свое — ему хотелось гулять, отдыхать или обедать, но только не рассуждать о «матерьях важных». Вот в одну-то из таких минут и были произнесены Белинским с горьким упреком слова: «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, а вы хотите есть!»

Впоследствии Тургенев говорил, что на него особое влияние оказало не столько чтение статей Белинского, сколько беседы с ним. В той или иной мере оно давало себя чувствовать на всех этапах последующей творческой деятельности Тургенева.

Белинский внимательно следил за развитием его таланта. Почти все произведения Ивана Сергеевича, появившиеся в печати при жизни критика — поэмы «Параша», «Разговор», «Помещик», «Андрей», драматические сцены «Неосторожность», «Безденежье», первые прозаические опыты «Андрей Колосов», «Три портрета», «Бретёр», первые рассказы из «Записок охотника» — были так или иначе отмечены и рассмотрены Белинским в его статьях, рецензиях и обзорах.

В поэзии Тургенева Белинский ценил глубокую жизненную правду, оригинальность мысли, свободные переходы от лиризма к иронии, умение живописать

природу. «Он любит природу не как дилетант, а как артист, и потому никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную русскую природу».

Белинский относил Тургенева-поэта к числу немногих возможных наследников лермонтовской музы. «Автор «Параши», — писал он, — особенно замечателен тем, что по роду своего таланта и направлению поэтической деятельности более всех других русских поэтов (если у нас есть теперь поэты) приближается к новой школе русской поэзии, которая началась у нас Лермонтовым».

А в самом Лермонтове Белинский видел «истинного сына своего времени», на всех творениях которого «отразился характер настоящей эпохи, сомневающейся и отрицающей, недовольной настоящей действительностью и тревожимой вопросами о судьбе будущего».

Сказанное здесь о Лермонтове удивительно перекликается с тем, что говорил Белинский о Тургеневе-поэте, которого он также называет «сыном нашего времени», носящим в груди своей «все скорби и вопросы его».

Редко случается, что поэт с первых же шагов обнаруживает полную самобытность и независимость от влияний. В этом отношении и Тургенев не был исключением. Напротив, период его ученичества и становления, пожалуй, даже несколько затянулся. И хотя уже в «Параше» Тургенев нашел, казалось бы, собственные интонации, он в последующих поэмах резко изменил вдруг почерк и заново начал поиски тем и стиля.

Поиски эти шли в двух направлениях. С одной стороны, лермонтовские мотивы, его протест против пошлости окружающей действительности, его раздумья о судьбе молодого поколения («Разговор»), с другой — гоголевская сатира, обличение помещичьей России, косности и дикости крепостного уклада («Помещик»).

Вторая поэма Тургенева — «Разговор» — совершенно не похожа на первую, она написана совсем в иной, обнаженно-публицистической манере, вообще-то и несвойственной ему.

Белинский положительно отозвался о замысле «Разговора», в котором выдвинута острая проблема отцов и детей, проблема молодого поколения, зараженного «апатией воли и чувства при пожирающей деятельности мысли». Но, по-видимому, в беседах с автором Белинский не скрыл от него, что в исполнении этой вещи далеко не все показалось ему убедительным и сильным. Да и формальная зависимость от лермонтовского стиха («Мцыри») проступала слишком очевидно. Во всяком случае, Тургеневу отчетливо запомнилось, что вскоре после «Параши», которую Белинский перечитывал с наслаждением десятки раз, он уже как-то поостыл к его поэтической деятельности.

Впервые тогда явилось у Тургенева искушение «положить перо», прекратить литературную работу. Оно и позднее возникало у него не однажды под влиянием различных обстоятельств, но стремление к творчеству всегда побеждало. Победило оно и на этот раз.

Двое из молодых поэтов — Тургенев и Некрасов — обладали, по убеждению Белинского, и незаурядными критическими способностями. Поэтому он всячески стремился привлечь их к журнальной работе.

Разделяя основные взгляды Белинского на задачи современной литературы, Тургенев и Некрасов выступали в журнале «Отечественные записки» как его союзники в борьбе за новую, реалистическую школу.

Тургенев, восторгавшийся когда-то произведениями Бенедиктова, Кукольника и других столпов «романтизма», становится теперь их непримиримым противником. Он выступает с рядом статей, в которых высмеивает своих прежних кумиров и в противовес их риторической поэтике выдвигает принципы реалистической манеры письма, народности в литературе,

требует простоты и ясности, близости к запросам эпохи.

Влияние Белинского явственно проступает уже в этих ранних критических опытах Тургенева: в рецензии на повести и рассказы Владимира Даля, в статьях о «Вильгельме Телле» Шиллера, о «Фаусте» Гёте, о трагедии Гедеонова «Смерть Ляпунова». Мы находим здесь не только сходные решения некоторых общих вопросов, не только близость в выводах, но сталкиваемся иногда и с полным совпадением формулировок.

Идеи Белинского вдохновляли последователей Гоголя, к которым примкнул и Тургенев. Ложноромантическое направление, породившее драмы Кукольника и Марлинского, доживало последние дни своего недолгого торжества.

«Произведения этой школы, — говорит Тургенев, — проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России — во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достоїным украшением великого государства и великого народа, а час падения приближался...»

К этому времени и относится начало формирования литературных взглядов Тургенева и его эстетической концепции.

В его критических статьях не было той резкой определенности, какая свойственна статьям великого критика. Они не пронизаны тем общественным пафосом, который так характерен для выступлений Белинского.

На них местами лежит отпечаток некоторой недосказанности, либерализма и умеренности, они лишены подлинной политической страстности. Но при всем том видно, что молодому Тургеневу вовсе не чужды были вопросы, волновавшие Белинского.

«Нам теперь нужны не одни поэты, — писал он в рецензии на перевод «Фауста», — мы (и то еще,

к сожалению, не совсем) стали похожи на людей, которые при виде прекрасной картины, изображающей нищего, не могут любоваться «художественностью воспроизведения», но печально тревожатся мыслью о возможности нищих в наше время».

Самому себе Тургенев отводил очень скромное место в «натуральной» школе. Те творческие задачи, какие он ставил тогда перед собой, показывают, что Иван Сергеевич успел сделать только первые шаги на подступах к реализму.

Сохранившийся от того времени листок намечавшихся им «сюжетов» * — это нечто вроде расписания упражнений в реалистической манере письма. Здесь темы лишь для легких очерков, эскизов и зарисовок петербургской жизни от Сенной и Толкучего рынка до Невского. Смысл этих очерков в точной и подробной разработке бытового фона. Подобные сюжеты были типичны для физиологических очерков.

Сюжеты остались неиспользованными скорее всего потому, что деревенский быт был ближе сердцу писателя, чем городской, и чутье реалиста подсказывало Тургеневу, на каком материале он сумеет создать не статические зарисовки, а полноценные художественные очерки и рассказы.

В период, предшествовавший началу работы над «Записками охотника», Тургенев выступил со статьей о рассказах Владимира Даля. Она особенно инте-

---

* *Сюжеты.*

(Описать.)

1. Галерную гавань или какую-нибудь отдаленную часть города.

2. Сенную со всеми подробностями. Из этого можно сделать статьи две или три.

3. Один из больших домов на Гороховой и т. д.

4. Физиономия Петербурга ночью (извозчики и т. д.).

5. Толкучий рынок с продажей книг и т. д.

6. Апраксин двор и т. д.

7. Бег на Неве (разговор при этом).

8. Внутреннюю физиономию русских трактиров.

9. Какую-нибудь большую фабрику с множеством рабочих (песельники Жукова и т. д.).

10. О Невском проспекте, его посетителях, их физиономиях, об омнибусах, разговоры в них и т. д.

ресна в том отношении, что здесь Тургенев впервые вплотную подходит к вопросам о народности в литературе, о реализме. Из статьи видно, что он различал народность писателя в высшем значении этого слова (как народны Пушкин и Гоголь, всецело выражавшие сущность своего народа) и в «ограниченном, исключительном смысле» (как был «народен» Даль). В произведениях этого писателя Тургенев видел не столько личный, своеобразный талант, сколько простое сочувствие к народу, родственное к нему расположение и обыкновенную наблюдательность.

Приступив в конце 1846 года к работе над «Записками охотника», Тургенев, может быть, ставил перед собою точно такую же скромную задачу писать с «натуры». Но сила таланта, непрестанное совершенствование мастерства решительно и широко раздвинули эти границы.



ГЛАВА XIII

ПОЛИНА ВИАРДО. НАЧАЛО «СОВРЕМЕННИКА». ПЕРВЫЕ РАССКАЗЫ ИЗ «ЗАПИСОК ОХОТНИКА»



Год 1843-й остался навсегда памятным Тургеневу не только потому, что был первой заметной вехой на его литературном пути; он оставил неизгладимый след и в его личной жизни.

Осенью в Петербург приехала итальянская опера, в которой выступала замечательно даровитая двадцатидвухлетняя певица Полина Гарсиа Виардо.

Родившись в артистической семье *, Полина Гарсиа почти ребенком начала свою карьеру. Уже в конце тридцатых годов она с огромным успехом выступала в Брюсселе, в Лондоне, а восемнадцатилетней

---

* Отец ее, испанец Мануэль Гарсиа, родом из Севильи, и брат Мануэль были певцами, певицей была и старшая сестра — Мария Фелица Малибран, умершая в 1836 году в двадцативосьмилетнем возрасте, в расцвете славы.

девушкой дебютировала на парижской оперной сцене в роли Дездемоны в опере Верди «Отелло», а затем в роли Ченерентолы (Сандрильоны) в опере Россини.

Несмотря на свою молодость, она уже успела завоевать европейскую известность и признание крупнейших светил музыкального мира. Ее талантом восхищались Гуно и Лист, Мейербер и Вагнер, Глинка и Антон Рубинштейн.

Поэты посвящали ей стихи, писатели восторженно говорили о ее бархатном голосе, идущем из души в душу, и об исключительном таланте трагической актрисы. «Да, гений — дар небес. Это он переливается в Полине Гарсиа, как щедрое вино в переполненном кубке», — писал Альфред де Мюссе. Жорж Санд, создавая образ Консуэло, наделила ее чертами Полины Виардо, с которой ее связывала тесная дружба.

Один из современников так рисовал ее портрет: «Полина Гарсиа отличается благородной, несколько строгой физиономией, но со всем тем исполненной выражения и приятности: в поступи ее есть какое-то пленительное сочетание величия и непринужденности. У нее гибкий стан, блестящие, черные, как смоль, локоны, цвет лица пылкой испанки, все движения ее грациозны, верны и естественны».

Первое же выступление Виардо в Петербурге в роли Розины в «Севильском цирюльнике» сопровождалось несмолкаемыми овациями. Очевидец этого триумфа, оставивший подробное его описание, рассказывает; что самое появление главной героини еще не обещало того эффекта, какой через минуту произвело на всех ее пение: «Комната в доме Бартоло. Входит Розина: небольшого роста, с довольно крупными чертами лица и большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанский костюм, высокий андалузский гребень торчит на голове немного вкось. «Некрасива!» — произнес мой сосед сзади. «В самом деле», — подумал я. Вдруг совершилось что-то необыкновенное. Раздались такие восхитительные бархатные ноты, каких, казалось, никто никогда не

слыхал... По зале мгновенно пробежала электрическая искра... В первую минуту — мертвая тишина, какое-то блаженное оцепенение... Но молча прослушать до конца — нет, это было свыше сил! Порывистое «браво! браво!» прерывали певицу на каждом шагу, заглушая ее... Сдержанность, соблюдение театральных условий были невозможны; никто не владел собою... Да это была волшебница! И уста ее были прелестны! Кто это сказал: «Некрасива»? Нелепость!.. Не успела Виардо-Гарсиа кончить свою арию, как плотина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилась такая буря, каких я не видывал и не слыхивал... Это было какое-то опьянение, какая-то зараза энтузиазма, мгновенно охватившая всех».

Вызовам не было конца. А после спектакля восторженная толпа, осыпая цветами карету артистки, провожала ее до квартиры.

Русские зрители сразу оценили бурную страстность и необыкновенное артистическое мастерство Виардо, диапазон ее голоса и ту легкость, с которой она свободно переходила с высокой ноты сопрано на глубокие, ласкавшие сердце ноты контральто.

Услышав впервые Полину Гарсиа в роли Розины, Тургенев был покорен ее талантом и с этого дня не пропускал ни одного спектакля приехавшей оперы.

Через некоторое время его друзья и знакомые передавали друг другу, что Тургенев без памяти от игры Виардо. «Он теперь весь погружен в итальянскую оперу и, как все энтузиасты, очень мил и очень забавен», — писал Белинский Татьяне Бакуниной.

Говорили, что, узнав о новом увлечении сына, Варвара Петровна побывала на концерте, где выступала Виардо, и по возвращении домой, будто сама с собой говоря, ни к кому не обращаясь, сказала: «А надо признаться, хорошо проклятая цыганка поет!»

Вскоре Тургеневу представился случай отправиться на охоту в обществе мужа Полины Гарсиа,

Луи Виардо, а затем его познакомили и с самой певицей. Впоследствии Виардо шутливо рассказывала, что он был представлен ей как молодой помещик, превосходный охотник, хороший собеседник и посредственный стихотворец.

1 ноября — день, в который состоялось это знакомство, навсегда остался для него незабываемым.

«Привет Вам, самая дорогая, любимейшая, — писал Тургенев Полине Виардо из Петербурга в одну из годовщин знакомства, — привет после семилетней дружбы в этот священный для меня день! Дал бы бог, чтобы мы могли провести вместе следующую годовщину этого дня и чтобы через семь лет наша дружба осталась прежней. Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые семь лет тому назад имел счастье говорить с Вами. Дом этот находится на Невском против Александринского театра; Ваша квартира была на самом углу — помните ли Вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к Вам...»

«Я ничего не видел на свете лучше Вас... Встретить Вас на своем пути было величайшим счастьем моей жизни, моя преданность и благодарность не имеют границ и умрут только вместе со мною».

С юношеских лет до последних дней жизни Тургенев остался верен этому чувству, многое принеся ему в жертву...

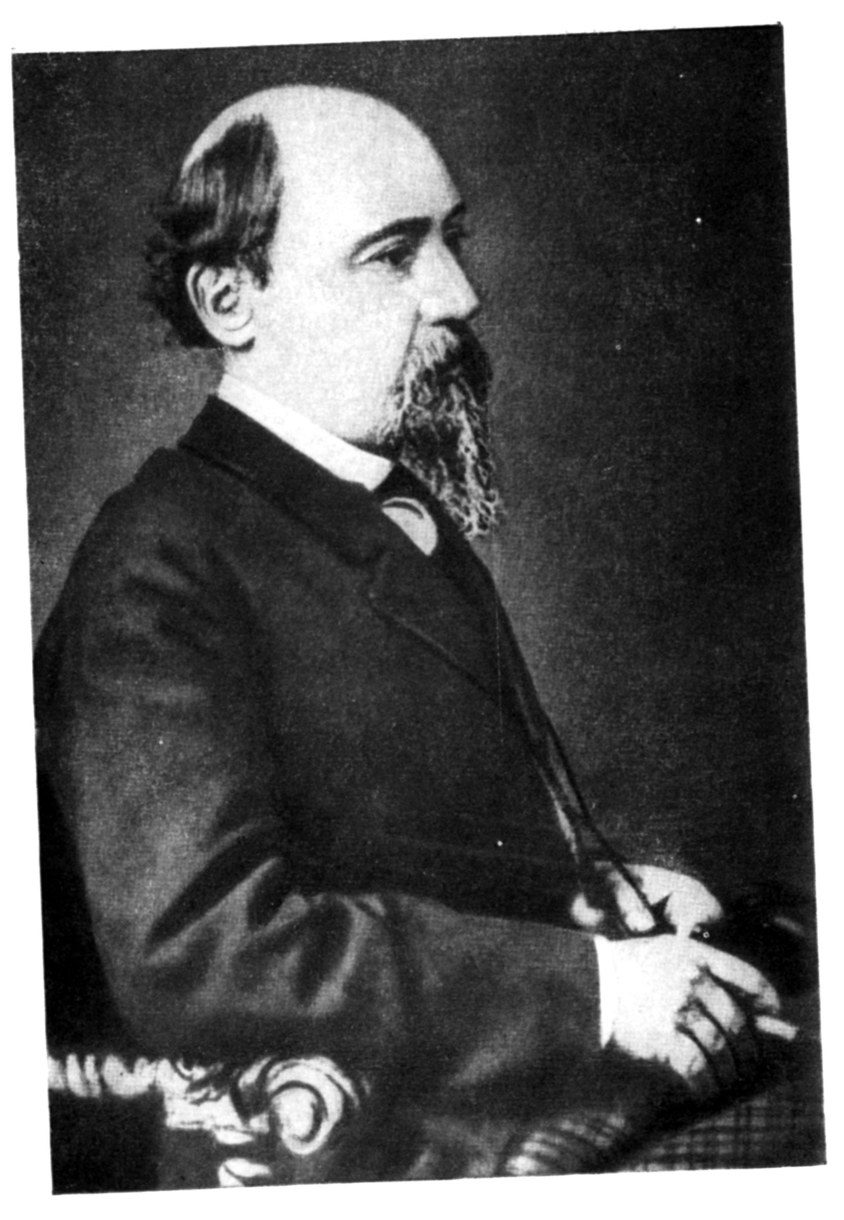
По окончании гастролей в Петербурге и в Москве итальянская опера стала готовиться к отъезду из России.

30 апреля 1845 года Варвара Петровна писала из Москвы: «Иван уехал отсюда дней на пять с итальянцами, располагает ехать за границу с ними же или для них».

Со службой в департаменте министерства внутренних дел все было покончено к этому времени. 10 мая из министерства был переслан петербургскому генерал-губернатору заграничный паспорт «для отставного коллежского секретаря Ивана Тур-



Полина Виардо.



Н. А. Некрасов.

генева, отправляющегося в Германию и Голландию для излечения болезни».

Снова Кронштадт, потом пароход дальнего плавания, снова ветер и волны в безграничном просторе сурового Балтийского моря...

В разгаре лета мы уже застаем Тургенева на юге Франции в обществе Боткина и Сатина, а затем он, расставшись с ними, отправляется один «шляться по Пиренеям».

Не потому ли влекли его тогда к себе эти края, что рядом, за грядою гор, лежала родина Полины Гарсиа?

Потом он был в Париже и, по-видимому, получил приглашение погостить в имении супругов Виардо, расположенном в шестидесяти километрах к юго-востоку от Парижа. Местечко, носившее название Куртавнель, с его старинным замком, окруженным рвами, каналом, парком, рощицами, оставило незабываемое впечатление в душе Тургенева.

По возвращении из Франции он снова в Петербурге, в среде Белинского и его друзей. Литературная репутация Тургенева укрепляется день ото дня. Круг знакомств становится все шире и шире благодаря близости с Белинским. Теперь, кроме Герцена, Боткина, Анненкова, Панаева, Даля, Соллогуба, Аксаковых, у него завязываются отношения с молодыми литераторами, которые вскоре выйдут вместе с ним или почти одновременно с ним в первый ряд крупнейших писателей России.

У Белинского знакомятся с ним Некрасов, Достоевский, Гончаров...

Некрасов долго помнил, как восторгался Тургенев при первой встрече его стихотворением «Родина»:

— Я много читал стихов, но так написать не могу... Мне нравятся и мысли и стих...

Достоевский был пленен Тургеневым с начала знакомства: «На днях воротился из Парижа поэт Тургенев и с первого раза привязался ко мне такой привязанностью, что Белинский объясняет ее тем,

что Тургенев влюбился в меня. — Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. Прочти его повесть в «Отечественных записках» «Андрей Колосов». — Это он сам, хотя и не думал себя выставлять», — так взволнованно писал брату в ноябре 1845 года автор «Бедных людей».

Правда, отношения с каждым из названных писателей в дальнейшем осложнялись, иногда без вины Тургенева, иногда по его вине, а порою без видимых оснований, и принимали далеко не идиллический характер.

Судьба поставила Тургенева в исключительно счастливое положение — пожалуй, ни у одного из русских писателей той эпохи не было на жизненном пути такого необыкновенного богатства встреч, знакомств, дружеских и духовных связей.

Сколько великих и выдающихся людей, сколько характеров и индивидуальностей, сколько ярких явлений прошло перед ним!

В ранней юности он воочию, хотя и мимолетно, видал Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова — весь цвет предшествовавшей литературной эпохи.

В университетские годы он сближается с виднейшими общественными деятелями — Грановским, Станкевичем, Бакуниным.

Теперь, в начале своего литературного пути, он входит в круг Белинского и соприкасается с лучшими будущими писателями России — Герценом, Некрасовым, Гончаровым, Достоевским, Григоровичем.

И так на всем протяжении жизни. Перечислить всех писателей, художников, артистов, музыкантов, ученых, с которыми встречался потом Тургенев, значило бы назвать сотни имен крупнейших деятелей науки, искусства и литературы России и Запада.

Начиная с середины сороковых годов писатели, объединенные в кружке Белинского, стали все более остро ощущать необходимость издания собственного журнала. Мысль о зависимости от издателя «Отечественных записок» А. Краевского, которого они называли между собою не иначе как Кузьмою Рощиным, по имени разбойника, изображенного в одноименной повести Загоскина, становилась для них нестерпимой. Острее других, каждодневно и ежечасно чувствовал эту зависимость Белинский, вынужденный волей-неволей отдавать все свои силы журналу, хозяином которого оставался беспринципный делец.

Великий критик был центром, душою «Отечественных записок», его деятельность придала журналу определенную общественную физиономию, подняла его на высокий уровень. Однако долго так продолжаться не могло. Между передовыми русскими читателями, с одной стороны, и литературной школой, нарождавшейся под идейным воздействием Белинского, — с другой, стоял невежественный предприниматель, который только мешал сплочению литературных сил для борьбы за освобождение народа и дальнейшему развитию литературы в направлении, намеченном Белинским.

Разрыв с Краевским, который, кроме всего прочего, нещадно эксплуатировал Белинского на протяжении нескольких лет, стал неизбежен. К началу 1846 года Белинский принял бесповоротное решение уйти из журнала: «Отечественные записки» и петербургский климат доконали его — пальцы уже отказывались держать перо. Критик понимал, что Краевский в удобный для себя момент скажет: «С Белинским нечего больше делать». Поэтому надо было упредить его.

«Это не человек, — писал Белинский Герцену, — а дьявол, но многое у него — не столько скупость, сколько расчет. Он дает мне разбирать немецкие, французские и латинские грамматики... Все это не потому только, чтобы ему жаль было платить другим за такие рецензии, кроме платы мне, но и пото-

му, чтоб заставить меня забыть, что я закваска, соль, дух и жизнь его пухлого, водяного журнала (в котором все хорошее — мое, потому что без меня ни ты, ни Боткин, ни Тургенев, ни многие другие ему ничего бы не давали), и заставить меня уверовать, что я просто чернорабочий, который берет не столько качеством, сколько количеством работы».

«Но чтобы отделаться от этого стервеца, — писал он в другом письме Герцену, — мне нужно иметь хоть 1 000 рублей серебром, потому что я забрал у Краевского до 1-го числа апреля и должен буду до этого времени работать, не получая денег».

К весне 1846 года, к моменту своего освобождения от ига Краевского, Белинский надеялся выпустить в свет в виде опыта большой альманах из произведений современных писателей, и Тургенев был одним из первых, кого он намеревался привлечь к участию в альманахе и кто обещал ему для задуманного издания повесть.

Герцен, Тургенев и Некрасов — вот на кого возлагал теперь Белинский особые надежды. Для Некрасова, как и для Тургенева, сороковые годы были годами дружбы с Белинским, были эпохой перелома и необычайно интенсивного духовного роста, с той только разницей, что его идейная близость с Белинским была еще более прочной, еще более ясно выраженной.

Молодые друзья Белинского принимали самое деятельное участие в обсуждении планов издания нового журнала, мысль о котором все время волновала теперь критика. Он смотрел на него как на дело коллективное, и когда Герцен выразил сомнение относительно целесообразности ухода из «Отечественных записок», Белинский убеждал его отбросить сомнения: «За себя лично и за других я могу бояться худа, но в отношении к общему делу я предпочитаю быть оптимистом. Тебя смущает, что в литературе не останется органа благородных и умных убеждений. Это и так, да не так. Я уверен, что не пройдет и двух лет, как я буду полным редактором журнала».

Всем, однако, было ясно, что для планомерного осуществления этой задачи у Белинского недостанет ни здоровья, ни практических навыков. В этом отношении он ведь и сам причислял себя (как и Тургенева) к разряду «романтиков» и идеалистов и сознавал, что в задуманном деле ему может принадлежать лишь роль идейного руководителя. Единственным человеком в кружке, способным вести организационную работу в редакции, был Некрасов. Недаром, вспоминая впоследствии об этой поре, Некрасов рассказывал:

— Один я между идеалистами был практик. И когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал.

Действительно, выпуском ряда альманахов и сборников («Физиология Петербурга», «Петербургский сборник» и др.) Некрасов уже успел проявить свои издательские способности. «Только три книги на Руси шли так страшно, — заметил Белинский, — «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник».

Успех последнего альманаха, к участию в котором Некрасов привлек Тургенева, Белинского, Герцена, Достоевского, А. Майкова, укрепил его решимость издавать собственный журнал.

— Если бы явился новый журнал с современным направлением, — говорил он, — читатели нашлись бы. С каждым днем заметно назревают все новые и новые общественные вопросы, надо заняться ими не с снотворным педантизмом, а с огнем, чтобы он наэлектризовал читателей, пробудил бы их жажду деятельности.

По условиям того времени речь могла идти лишь о приобретении одного из существующих журналов, потому что власти не давали разрешений на издание новых, не желая увеличивать их числа.

В Петербурге для многих литераторов не секретом было, что нелегкими обязанностями редактора и журналиста с некоторых пор стал тяготиться Плетнев, в руках которого пушкинский «Современник»

давно утратил живую связь с эпохой, захирел и растерял подписчиков.

С ним и предположено было вступить в переговоры о приобретении права на «Современник», чтобы возродить журнал и сделать его подлинно современным, связанным с передовым общественным движением века.

В истории некрасовского «Современника» Тургенев, по-видимому, сыграл немалую роль, которая до сих пор еще недостаточно выяснена. Анненков, в своих воспоминаниях говорит даже, что Тургенев «был душой всего плана, устроителем его... Многие из его товарищей, видевшие возникновение «Современника» в 1847 году, должны еще помнить, как хлопотал Тургенев об основании этого органа, сколько потратил он труда, помощи советом и делом на его распространение и укрепление».

Приближение лета, когда в столице замирала всякая деловая жизнь, отодвинуло окончательное решение вопроса на несколько месяцев. Скоро все разъехались в разные стороны: Белинский вместе с артистом Михаилом Щепкиным отправился на юг России, Некрасов и Панаев — в Казанскую губернию, где у Панаева было имение, Тургенев — в родное Спасское.

Расставаясь с Иваном Сергеевичем, Белинский просил его не забывать об обещанной литературной «дани» для альманаха «Левиафан»:

— Вы уж, пожалуйста, это лето не увлекайтесь там охотой, а пишите, чтобы рассказ ваш не был с куриный носок, напишите как следует; слава богу, времени у вас будет много, достаточно пошалаберничали в Петербурге... Ах, если бы вас всех судьба посадила в мою шкуру!

Но увлечение Тургенева охотой, проявившееся с особенной силой летом и осенью 1846 года, оказалось в высшей степени благотворным для его литературной судьбы.

В Спасском он прожил до глубокой осени и почти все это время не выпускал ружья из рук, а до пера не касался вовсе. Охота — это волшебное слово могло

заставить его забыть обо всем. «Русские люди, — говорит он, — с незапамятных времен любили охоту. Это подтверждают наши песни, наши сказания, все предания наши. Да и где же и охотиться, как не у нас: кажется, есть где и есть по чем. Витязи времен Владимира стреляли белых лебедей и серых уток на заповедных лугах. Мономах в завещании своем оставил нам описание своих битв с турами и медведями... Вообще, охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера. И не думайте, чтобы он стрелял из него одних уток: с этим же ружьем пойдет он караулить медведя на «овсах», вобьет в дуло не пулю, а самодельный, кой-как сколоченный жеребий — и убьет медведя; а не убьет, так даст медведю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровеет, опять пойдет на того же медведя с тем же ружьем. Правда, случится иногда, что медведь его опять поломает; но ведь русским же человеком сложена пословица, что зверя бояться — в лес не ходить».

Выдержка, терпение, выносливость, хладнокровие перед опасностью — вот качества, которые вырабатывает в людях занятие охотой. Оно не только роднит человека с природой, но и позволяет проникать глубоко в ее сокровенные тайны, ибо только охотник «видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах».

Была тут и еще одна чрезвычайно важная для писателя сторона: занятие охотой тесно сближало его с людьми из народа, широко открыло перед ним картины деревенской жизни, помогло понять и полюбить душу русского крестьянина.

Тургенев исходил с ружьем всю Орловскую и смежные с нею губернии. Частым спутником его в этих скитаниях по лесам и болотам был крепостной егерь помещика Чернского уезда Афанасий Алифанов, с которым никто в округе не мог сравниться «в искусстве ловить весной, в полую воду,

рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом».

Писатель привязался к Алифанову, полюбил его, помог выкупиться на волю, и Афанасий поселился в лесу, носившем название «Высокое», верстах в пяти от Спасского. Сюда нередко захаживал к Афанасию Тимофеевичу Тургенев посидеть за чашкой чаю, потолковать об охоте, о жизни.

Заглядывая в глухие деревеньки, в усадьбы степных помещиков, посещая охотничьи угодья и лесные сторожки, совершая далекие поездки на беговых дрожках по соседним уездам, Тургенев пристально всматривался в крестьянский и помещичий быт, жадно впитывал народную речь.

Так прошло лето и короткая пора первоначальной осени с ее тихой красотой и «пышным увяданьем». Наступили холодные осенние дни, и Тургенева потянуло в Петербург, который он покинул чуть ли не полгода назад.

В середине октября, как только «кончились осенние вальдшнепы», Иван Сергеевич выехал в столицу, где его ждала радостная новость: вопрос о приобретении «Современника» разрешился благоприятно. На подготовку первого номера оставалось уже немного времени. Белинский настойчиво убеждал друзей работать не покладая рук, чтобы каждый номер журнала был «полон жизни и честного направления».

Он и с Тургенева взял слово, что тот будет поддерживать «Современник» всеми силами.

«Я теперь много работаю и почти никого не вижу, — писал Тургенев Виардо. — Живу настоящим отшельником с моими книгами, которые мне, наконец, удалось собрать с четырех концов света — мои надежды и мои воспоминания».

В эти месяцы встречи его с Белинским особенно участились: они виделись чуть ли не каждый день. Сначала Белинский высказывал огорчение, что Тургенев в Спасском весь отдался охоте и потому

не привез с собою, как было условлено, готового рассказа.

Белинский еще не знал тогда, что из деревни Тургенев вернулся вовсе не с пустыми руками и что вскоре, взявшись за работу, он украсит страницы «Современника» первыми рассказами из «Записок охотника».

Пожалуй, Тургенев и сам не вполне ясно представлял себе эту перспективу — сюжеты будущих отдельных произведений этого цикла еще не складывались в его сознании в нечто единое и целое. Кристаллизация замысла произошла позднее, в самом ходе работы над рассказами.

Наблюдения, вынесенные писателем за время пребывания в деревне, были так обильны, что материала этого ему хватило потом на несколько лет работы, в результате которой сложилась книга, открывшая новую эпоху в русской литературе.

Теперь же Тургенев все более проникался мыслью о том, что, удалившись на Запад, он сумеет лучше исполнить свою задачу:

«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примириться... Это была моя Аннибаловская клятва... Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить».

Тургенев был искренне убежден в том, что не написал бы «Записок охотника», если б остался в России.

Так представлялось в свое время и Гоголю, что он лучше исполнит свой замысел, удалившись из России, и что именно в разлуке с нею проникнется он еще большею любовью к родине.

Но прежде чем надолго уехать за границу, Тургенев хотел приготовить, по крайней мере для первых двух номеров «Современника», несколько рассказов, критическую статью, фельетоны и ряд стихотворений. «Работаю изо всех сил, — писал он в декабре 1846 года Полине Виардо, которая в этот сезон выступала на сцене берлинской оперы. — Я взял на себя некоторые обязательства, хочу их выполнить и выполню». Тургенев рассчитывал, закончив работу, покинуть Петербург в начале следующего года.

Рассказ, написанный им для первого номера «Современника», назывался «Хорь и Калиныч». Подзаголовок рассказа — «Из записок охотника» — был придуман Иваном Панаевым. Панаев считал, что очерк этот, помещенный в отделе «Смесь» с таким подзаголовком, расположит читателей «к снисхождению».

Но в снисхождении не было никакой нужды. Напротив, и в литературных кругах и у читателей «Хорь и Калиныч» вызвал единодушное одобрение и сразу же высоко поднял автора в общем мнении.

Правда, толки о рассказе дошли до Тургенева лишь некоторое время спустя, так как очень скоро после выхода в свет первого номера журнала он выехал в Берлин.

«Когда Вы собирались в путь, — писал ему вдогонку Белинский, — я знал вперед, чего лишаюсь в Вас, но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше, нежели сколько думал, и что Ваши набеги на мою квартиру за час перед обедом или часа на два после обеда, в ожидании начала театра, были *одно,* что давало мне жизнь. После Вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучал, как никогда в жизнь мою не скучал».

Далее в письме Белинского говорилось: «Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч». Это общий голос... Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род...»

Критик выражал твердую уверенность, что «Хорь и Калиныч» обещает в Тургеневе замечательного писателя в будущем.

Знакомые и друзья Панаева и Некрасова осаждали их вопросами, будут ли в «Современнике» продолжаться рассказы охотника.

Появление в печати следующих произведений этого цикла («Ермолай и мельничиха», «Льгов», «Однодворец Овсяников») окончательно закрепило успех Тургенева. О них с восторгом заговорили в московской публике. «Нисколько не преувеличу,— писал Некрасов автору,— сказав Вам, что эти рассказы сделали такой же эффект, как романы Герцена и Гончарова».

Стало ясно, что Тургенев вступил на свою настоящую дорогу. Эта творческая победа писателя была не только его личным успехом, но и торжеством принципов гоголевской школы, объединенной Белинским, торжеством реалистической эстетики, основы которой неустанно разрабатывал и провозглашал великий критик в своих статьях и в беседах с писателями в последний период жизни. Он призывал их расширять диапазон своих наблюдений, проникнуться сочувствием к угнетенному народу, показать безнравственность рабства, вскрыть самую сущность крепостных отношений, разоблачить дворянство как косную силу, тормозящую развитие страны, мешающую прорасти «плодовитому зерну русской жизни».



ГЛАВА XIV

ЗАЛЬЦБРУНН. «БУРМИСТР» И «ПИСЬМО К ГОГОЛЮ»



Очень скоро после отъезда Тургенева за границу стал готовиться к поездке в Силезию, в курортное местечко Зальцбрунн, и Белинский. Жизнь его угасала. Развязка была уже близка и неотвратима. Оставалась слабая надежда, полечившись на вóдах, «закрепить готовый развязаться и расползтись узел жизни».

Белинский ждал первого рейса парохода из Питера в Штеттин, как только Балтийское море очистится от льда. За границу он отправлялся в первый и последний раз в жизни.

«Ах, если бы и с Вами свидеться! — писал он Ивану Сергеевичу. — Где Вы будете в это время? Не в Берлине ли, которого мне не миновать по пути на Швейдниц... Или не в Дрездене ли, откуда Вам ничего не будет стоить приехать повидаться со мною? Да одного этого достаточно для выздоровле-

ния, кроме приятной поездки, отдыха, целебного воздуха, прекрасной природы и минеральных вод».

Тургенев выразил готовность направиться из Берлина в Штеттин, чтобы встретить пароход, с которым приедет Белинский, но письма их разминулись, и Белинскому пришлось одному добираться до прусской столицы, где он с трудом разыскал квартиру Тургенева на Беренштрассе. Незнание немецкого языка наделало ему «много хлопот и комических несчастий». Проводник метался как угорелый, бегал по высоким лестницам, наконец нашел квартиру Тургенева. Ивана Сергеевича не оказалось дома, однако хозяйка пустила Белинского в комнату, и вскоре пришел Тургенев. «Мое внезапное появление, видимо, обрадовало его, — отметил Белинский в письме домой. — Все это меня успокоило, и я почувствовал себя в пристани: со мною была моя *нянька*».

Быть здесь нянькой Белинского Иван Сергеевич вызвался сам и просил своего друга, «отца и командира» совершенно не церемониться с ним, располагать им как угодно.

Жене Белинского он написал тотчас по приезде его в Берлин, что берет Виссариона Григорьевича на свое попечение и отвечает за него головой.

К водам торопиться было нечего — весна и начало лета в тот год выдались необыкновенно дождливые. Но и в Берлине сидеть не хотелось: скучным показался Белинскому этот город. Лишь Тиргартен — огромный тенистый сад, в котором цвели в это время каштаны, — понравился ему.

Решено было поехать в Дрезден, осмотреть галерею, побывать в опере, съездить в Саксонскую Швейцарию, а уже оттуда отправиться в Зальцбрунн — на полуторамесячное лечение на водах.

В Дрездене в это время выступала Полина Виардо. К страстному увлечению ею Тургенева Белинский относился скептически. Он почти не скрывал этого от Ивана Сергеевича. На правах друга он иногда намекал на это в письмах к Тургеневу. Перед самым своим отъездом за границу он, например, писал ему: «Все наши об Вас вспоминают, все лю-

бят Вас, я больше всех. Не знаю почему, но когда думаю о Вас, юный друг мой, мне все лезут в голову эти стихи:

Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом... и пр.

Вот Вам и загвоздка; нельзя же без того: на то и дружба».

Скрытый смысл этой шутки заключался в стихотворной цитате из пушкинских «Египетских ночей». Намек был ясен Тургеневу. О Виардо не сказано ни слова, но имеется в виду именно она. Белинский уподобляет своего друга тому юноше, который принял вместе с Флавием и Критоном вызов Клеопатры:

Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем...

А в следующем письме Белинский прибегает к еще более замысловатому иносказанию, чтобы дать понять Ивану Сергеевичу, что само принятие юношей вызова, брошенного Клеопатрой, было безрассудством: «Моя Ольга (малолетняя дочь Белинского. — *Н. Б.*), найдя в «Иллюстрации» картину, изображающую группу сумасшедших в разных положениях, и увидя между ними сидящего в креслах, подпершись на руку подбородком, — бросилась всем нам по очереди показывать, говоря: *«Тентенев»* (то есть Тургенев. — *Н. Б.*). Вот и не метилась, а попала отчасти! — подумал я. Вот Вам и загвоздка».

В первый же день приезда в Дрезден Тургенев «утащил» Белинского в оперу, где давали «Гугенотов» Мейербера; роль Валентина исполняла Полина Виардо.

Тургенев много раз слышал эту оперу, но не уставал восхищаться ею и открывал в ней все новые и новые достоинства. По силе драматического выра-

жения он считал ее лучшим произведением Мейербера. Виардо пела превосходно, ее без конца вызывали, сопровождая вызовы возгласами: «Вернитесь к нам скорей! Вернитесь к нам скорей!»

Белинский и Тургенев дважды побывали потом в Дрезденской галерее. Иван Сергеевич заранее знал, что туда придут и супруги Виардо; он очень хотел познакомить с ними Белинского, хотя тот всячески отнекивался. Однако Тургенев настойчиво убеждал его осмотреть галерею именно вместе с ними.

— Господин Виардо знает толк в картинах и покажет нам все лучшее — говорил он.

— Я не хочу сводить знакомства, когда не на чем объясняться, кроме разве как на пальцах, — отвечал Белинский, имея в виду свое книжное знание французского языка.

Как раз во время этого спора, происходившего в одном из залов галереи, они завидели супругов Виардо, направлявшихся им навстречу. Отступление было отрезано — знакомство состоялось, причем к вящему удовольствию Белинского дело ограничилось немым поклоном с обеих сторон. На другой день все снова встретились в галерее, и все шло хорошо, как вдруг, уже в последнем зале, Виардо, быстро обратившись к Белинскому, сказала:

— Лучше ли вы себя чувствуете?

Белинский потерялся, Виардо повторила вопрос. Он смутился еще больше; тогда артистка стала говорить по-русски, смешно коверкая слова, и сама при этом заразительно хохотала. Тут только решился он заговорить на ломаном французском языке и сказал, что чувствует себя хорошо, хотя изнемогал от усталости.

Съездив затем в Саксонскую Швейцарию, полюбовавшись на старинную неприступную крепость Кёнигштейн, воздвигнутую в XIV веке на высокой отвесной скале над Эльбой, Тургенев и Белинский вернулись в Дрезден и на другой день отправились к водам. Когда они рассматривали с большим инте-

ресом Кёнигштейнскую крепость, они не могли и подумать, что в скором времени здесь будет томиться в заключении, ожидая смертного приговора, как бунтарь-иноземец, принимавший активное участие в революционном восстании, их общий друг — Михаил Бакунин.

До Фрейбурга Тургенев и Белинский ехали по железной дороге, а далее — в Зальцбрунн — добираться пришлось на лошадях. Дорога тянулась все вверх, и вдали рисовались полукружием цепи гор.

Тургенев вспоминал в пути, что Станкевич, также лечившийся здесь в свое время, не называл Зальцбрунн иначе, как западней, местом заточения, скучным ущельем, где не знаешь, куда деваться и что́ делать.

— Почему-то именно здесь, в Силезии, особенно остро почувствовал я, — говорил Станкевич, — что родина, как семья, есть почва, в которой живет корень нашего существа, а человек без отечества и семьи — перекати-поле, которое гонимо ветром без цели и сохнет по пути.

Очень скоро Тургеневу и Белинскому пришлось в полной мере испытать на себе действие зальцбруннской скуки. Поселились они в двухэтажном опрятном домике, носившем название *Мариенгоф*, на главной, но далеко не блестящей улице уединенного и небогатого тогда местечка, напоминавшего чем-то кавказские воды. Здесь также не видно было большой реки, также монотонно шумел горный поток, и тучи дымом расстилались по горам, к которым прилепился Зальцбрунн.

День за днем потекли однообразно, без всяких развлечений, без прогулок, потому что погода стояла ужасная: шли нескончаемые дожди, унылый шум ветра наводил тоску. Холод проникал даже в комнаты, а печей в доме не было вовсе. Это напомнило Белинскому те жалкие дачи под Петербургом, которые сдавались по сходной цене таким несостоятельным людям, как он сам.

Начинался июнь, а казалось, что стоит глубокая осень. «Никто в Зальцбрунне не запомнит такого

мая и такого июня, — писал Белинский домой, — это что-то чудовищное для страны, в которой растут каштаны, платаны, тополи, белая и розовая акация...»

Грязь и дожди мешали прогулкам по живописным и диким окрестностям Зальцбрунна. Только однажды удалось Тургеневу и Белинскому выехать в замок Фюрштенштейн, выстроенный на высоком холме. Засидевшись в зальцбруннском ущелье, они не могли налюбоваться вдоволь свободным открытым видом из окон замка на глубокую лощину у самого его подножья, по которой протянулась дорога, и на отдаленные горы, раскинувшиеся по всем направлениям.

Оживление внес приезд Анненкова из Парижа. Он явился сюда, оставив задуманный ранее план путешествия в Грецию и Турцию, как только узнал, что Белинский в Зальцбрунне; он тоже, подобно Тургеневу, выражал готовность быть его нянькой и проводником.

Впоследствии Анненков вспоминал, как, переночевав в Бреславле, он очутился ранним утром в этом незнакомом местечке и, направившись по длинной улице, сразу же встретил Тургенева и Белинского, возвращавшихся с источника домой. «Я едва узнал Белинского. В длинном сюртуке, в картузе с прямым козырьком и с толстой палкой в руке — передо мной стоял старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлял себя, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли».

Анненков поселился рядом с друзьями во втором этаже *Мариенгофа.* Теперь уже втроем сходились они за утренним завтраком под навесом барака, заменявшего во дворе их домика беседку без сада и зелени, втроем подолгу обсуждали прочитанные книги и журнальные новости за табльдотом в гостинице «Цур Кроне».

Анненков привез много новостей из Франции и Бельгии, где часто встречался с Герценом, Бакуни-

ным и немецким революционным поэтом Гервегом, где познакомился также с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Он присутствовал, между прочим, по приглашению Карла Маркса, на известном совещании последнего с немецким деятелем рабочего движения Вейтлингом. Открывая это заседание, Энгельс говорил о необходимости установить между людьми, посвятившими себя делу преобразования труда, одну общую доктрину, которая могла бы служить знаменем для всех ее последователей.

Анненкову было что́ рассказать друзьям об общественно-политической жизни Европы, о русской колонии в Париже, о начавшемся подъеме социального движения, которое в ту пору, предшествовавшую революционным бурям 1848 года, проявлялось во Франции явственнее, чем где бы то ни было.

У молодого Тургенева не было такого глубокого и постоянного интереса к политическим вопросам и учениям, как у Белинского, но все же отголоски длительных бесед на эти темы можно найти и в его переписке той поры.

Так, например, что-то похожее на смутное знакомство с зарождавшимися новыми социально-политическими идеями слышится в одном из писем Ивана Сергеевича, относящемся к 1847 году: «Жизнь раздробилась, теперь нет более общего великого движения, за исключением, быть может, промышленности, которая, — если смотреть на нее с точки зрения прогрессивного подчинения стихии природы человеческому гению, — сделается, быть может, освободительницей и обновительницей человеческого рода... А раз социальная революция совершится — да здравствует новая литература!..»

Время тянулось по-прежнему томительно и тревожно, потому что никаких улучшений в здоровье Белинского не замечалось. Сколько ни расспрашивали Тургенев и Анненков невозмутимо спокойного доктора о состоянии больного, ответ его всегда был одинаков: «Да, ваш приятель очень болен».

Они, как и сам пациент, махнули, наконец, рукой

на этого лекаря, окрестив его канальей и шарлатаном.

«Каждое утро, — рассказывает Анненков, — Белинский рано уходил на воды и, возвратясь домой, поднимался во второй этаж и будил меня всегда одними и теми же словами — «проснися, сибарит». У него были любимые слова и поговорки, к которым он привыкал и которых долго не менял, пока не обретались новые... Так все свои довольно частые споры с Тургеневым он обыкновенно начинал словами: «Мальчик, берегитесь — я вас в угол поставлю». Было что-то добродушное в этих прибаутках, походивших на детскую ласку. «Мальчик-Тургенев», однако же, высказывал ему подчас очень жесткие истины, особенно по отношению к неумению Белинского обращаться с жизнью и к его непониманию первых реальных ее основ».

Анненков не уточняет темы этих споров с Тургеневым, но, судя по всему, речь шла о житейской неприспособленности Белинского и о его бытовом «идеализме».

Зальцбруннское бездействие скоро стало непереносимо для Тургенева. Он решил продолжить работу над «Записками охотника».

Маленькая комнатка рядом со спальней Белинского была превращена в импровизированный кабинет. На столике, стоявшем около дивана, появилась чернильница, и Тургенев с головою ушел в работу.

Через несколько дней он прочитал друзьям свой новый рассказ. Это был «Бурмистр» — наиболее социально острый, наиболее сильный по своей антикрепостнической направленности рассказ из «Записок охотника».

С глубоким вниманием слушал Белинский чтение Тургенева. Одно место в рассказе особенно поразило его: сцена, в которой помещик Пеночкин тихо и вежливо приказывает выпороть камердинера лишь за то, что тот подал ему неподогретое вино.

— Что за мерзавец с тонкими вкусами! — вырвалось тут невольно у Белинского.

Превосходно выписанный Тургеневым портрет

благовоспитанного рабовладельца привлек впоследствии внимание и В. И. Ленина. Ленин писал: «Перед нами — цивилизованный, образованный помещик, культурный, с мягкими формами обращения, с европейским лоском... Он настолько гуманен, что не заботится о мочении в соленой воде розог, которыми секут Федора. Он, этот помещик, не позволит себе ни ударить, ни выбранить лакея, он только «распоряжается» издали, как образованный человек, в мягких и гуманных формах, без шума, без скандала, без «публичного оказательства»...» *

«Бурмистр» по-настоящему взволновал Белинского. Из семи первых рассказов в «Записках охотника» ** он особо выделил «Хоря» и «Бурмистра», который был написан под его непосредственным воздействием. Эти рассказы Тургенева были ярким воплощением формулы Белинского — «разве мужик не человек?».

— Белинский и его письмо к Гоголю — это вся моя религия, — говорил в кругу друзей молодой Тургенев.

«Записки охотника» писались на протяжении нескольких лет, но ни под одним из рассказов, последовательно появлявшихся в печати, писатель не ставил дат. Исключение было сделано лишь для «Бурмистра», под которым выставлена помета: «Зальцбрунн, в Силезии, июль, 1847».

Примечание это прямо перекликается с датой другого произведения, написанного здесь же, — с «Письмом к Гоголю» Белинского, датированным: «Зальцбрунн, 15-го июля н. с. 1847 г.». «Его знаменитое «Письмо к Гоголю», — писал Ленин в 1914 году, — подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору» ***.

---

* *В. И. Ленин,* Соч., изд. 4-е, т. 13, стр. 40—41.

** «Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничиха», «Мой сосед Радилов», «Однодворец Овсяников», «Льгов», «Бурмистр», «Контора».

*** *В. И. Ленин,* Соч., изд. 4-е, т. 20, стр. 223—224.

Сопоставляя произведение художника-гуманиста с манифестом критика-революционера, мы яснее почувствуем атмосферу, в которой они возникли, и глубже поймем цель, к которой они были направлены. О том, как ценил Белинский «Записки охотника», красноречиво говорит его предсмертный обзор русской литературы за 1847 год, где он писал: «Не все его рассказы одинакового достоинства: одни лучше, другие слабее, но между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, занимателен и поучителен. «Хорь и Калиныч» до сих пор остается лучшим из всех рассказов охотника, за ним — «Бурмистр», а после «Однодворец Овсяников» и «Контора». Нельзя не пожелать, чтобы г. Тургенев написал еще хоть целые томы таких рассказов».

Вернувшись однажды с почты, Тургенев заявил, что он срочно отправляется в Берлин, чтобы проводить в Англию своих добрых знакомых и что он надеется потом еще свидеться с Белинским в Париже, где тот должен был пройти после Зальцбрунна дополнительный курс лечения.

И действительно, они скоро снова встретились. Как только Анненков и Белинский в конце июля приехали в Париж, к ним на другой день «словно с неба свалился» Тургенев, гостивший в Куртавнеле у супругов Виардо. Он проводил там лето 1847 года, лишь изредка выезжая в Париж для встреч с друзьями и соотечественниками — Герценом, Бакуниным, Анненковым, Белинским и другими.

Вспоминая впоследствии об этих встречах с Белинским — а они были последними в их жизни, — Тургенев отметил, что его друг «изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидел площадь Согласия и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна из красивейших площадей в мире?» И на мой утверди-

тельный ответ воскликнул: «Ну и отлично; так уж я и буду знать, — и в сторону, и баста!» — и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, сказал: «А!» — и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе»...»

Эпизод в высшей степени характерный. Белинский и сам признавался, что еще в тот день, когда они с Тургеневым достигли Зальцбрунна и стали выкладывать вещи из чемоданов, ему вдруг сделалось невыносимо грустно, грустно до слез, и что только чтение «Мертвых душ» немного успокоило его.

Никакие заморские дива не могли вытеснить из его сознания мысль о родине. И хотя Париж с первого же взгляда превзошел все его ожидания, хотя Тюильри и Пале-Рояль показались ему чудом, сказкой из «Тысячи и одной ночи», душа его настойчиво рвалась в Россию.

В конце сентября он выехал на родину, не оставив друзьям надежд на свое выздоровление. Герцен, у которого Белинский провел вечер накануне отъезда из Парижа, писал потом в «Былом и думах»: «Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя... Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной «злой» любви к России».

Случилось так, что Тургенев не попал в тот день в Париж, в чем всегда раскаивался потом, горько укоряя себя за то, что не простился с Белинским, а ограничился лишь письмом из Куртавнеля, в котором писал: «Вы едете в Россию, любезный Белинский; не могу лично проститься с Вами — но мне не хочется отпустить Вас, не сказавши Вам прощального слова... Я хотя и мальчишка, как Вы говорите, и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь...»

ГЛАВА XV

КУРТАВНЕЛЬ. ПАРИЖ



В октябре Полина Виардо снова уехала на гастроли в Германию, а Иван Сергеевич перебрался в Париж, поселившись неподалеку от Пале-Рояля. «Итак, вы в глубине Германии! — писал он ей из Парижа. — Не вчера ли еще мы были в Куртавнеле. Время всегда быстро проходит, бывает ли оно пусто или полно. Но приближается оно медленно, как звуки колокольчика русской тройки...»

Глубокую привязанность Тургенева к Полине Виардо нельзя назвать обыкновенной влюбленностью. Его привлекали редкое богатство ее натуры, блестящий ум, начитанность, внутренняя тонкость и восприимчивость, замечательный артистический талант, о котором он постоянно говорил в письмах к ней, а иногда и в своих журнальных статьях («Письмо из Берлина», «Несколько слов об опере Мейербера «Пророк» и другие).

Он пристально следит за развитием дарования молодой артистки, знакомится с отзывами прессы о ее выступлениях, делится с нею своими мыслями о том, как должна была, по его мнению, совершенствоваться техника ее игры.

Он дает ей советы, какими путями могла бы она достигнуть полноты искусства, сочетая элемент патетический с элементом трагическим и разбивая оковы, стесняющие всякого артиста, который не преодолел еще некоторой искусственности и продолжает следить за собой во время игры.

В письмах к ней он анализирует образы Ифигении, Нормы, Сафо, чтобы Виардо могла лучше проникнуть в смысл исполняемых ею ролей.

Вспоминая об ее игре в первые годы их знакомства, Тургенев с удовлетворением отмечает, что если прежде она играла для избранных и «надо было самому быть немного артистом, чтобы почувствовать все, что было великолепного в ее намерениях», то теперь, когда талант артистки окреп, ее игра сделалась понятной для всех.

Триумфы Виардо во время заграничных гастролей вызывают у него неподдельную радость. «Еще крупная победа! — восклицает он в одном из писем к ней. — Дрезден, Гамбург, Берлин... и на завоевание Великобритании!..»

Когда Виардо переезжала из страны в страну, из города в город, а Тургенев жил в одиночестве в ее поместье или в Париже, он повсюду мысленно следовал за нею и пытался воссоздавать по воспоминаниям исполнение ею той или иной роли во всех деталях и оттенках, так ярко запечатлевшихся в его сознании. «Ваша матушка, сидя у камина, заставляла меня вслух читать Ваши письма... Зачем я не могу быть сегодня в Берлине? Ах, зачем, зачем?..» Или: «Мы отсюда видим, как цветы падают к Вашим ногам и слышим: «Браво!»

Даже в зрелые годы с юношеским волнением любовался Тургенев игрою замечательной певицы.

Три года безвыездно, если не считать кратковременной поездки в соседнюю Бельгию, прожил Тур-

генев во Франции, и это трехлетие — 1847—1850— было для него на редкость плодотворным. Никогда еще замыслы не рождались у него в таком изобилии. Он сам уподоблял их лавине посетителей, нахлынувших неведомо откуда в гостиницу маленького городка. Хозяин ее взволнован и растерян — он не знает, где и как разместить ему всех приезжих.

Даже во время прогулок в Тюильри, которые Тургенев каждодневно совершал после углубленной утренней работы, он любил предаваться раздумьям о том, что будет писать на следующий день. Эти прогулки освежали силы и успокаивали его. Он любил, бывая здесь, смотреть на играющих детей, на статуи и темно-серую громаду дворца при свете багрового солнца, пробивающегося сквозь листву высоких каштанов.

Иногда безотчетная радость с такой силой овладевала всем его существом, что он готов был воскликнуть: «Да здравствует солнце! Да здравствует всё, что хорошо для всех!»

Пакеты, которые он часто отправлял из Парижа в Петербург, в редакцию «Современника», явственно свидетельствовали об интенсивной работе писателя.

Он покончил теперь с дилетантизмом в творческом деле. «Работа — превосходная вещь», — читаем мы в одном из его писем той поры.

Он облегченно вздыхает и радуется всякий раз, когда, потрудившись над тем или иным произведением, успешно доводит его «до пристани».

Проходит несколько дней, и Тургенев снова трудится над новым рассказом. Одна картина сменяла другую, и перед читателями вставала во всей реальности жизнь русской деревни и провинциального дворянства, родные пейзажи, изображенные с проникновенным пониманием природы.

С любовью и участием рисовал писатель типы крестьян, в которых крепостническая действительность не могла убить высоких духовных и нравственных качеств. Мудрый Хорь, похожий на Сократа, мечтатель Калиныч, правдоискатель Касьян с

Красивой Мечи, мужественный Максим... Все это носители лучших черт русского национального характера. Им противостоят образы диких степных помещиков, самодуров и деспотов, обрекающих крестьян на рабство, голод и разорение.

Герцен, назвавший «Записки охотника» обвинительным актом против крепостничества, говорит: «Никогда еще внутренняя жизнь помещичьего дома не выставлялась в таком виде на всеобщее посмеяние, ненависть и отвращение».

По мере того как рос и ширился задуманный цикл рассказов, перед автором их все яснее вырисовывались его конечная цель и задача: показать, что «в русском человеке зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития».

Рассказы Тургенева обратили на себя внимание Гоголя. Заинтересованный ими, автор «Мертвых душ» писал Анненкову 7 сентября 1847 года: «Изобразите мне... портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие, как о человеке, как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем».

Каждый рассказ из «Записок охотника» оставлял глубокий след в сознании читателей, но и сам автор и его друзья понимали, что, собранные в отдельную книгу, они зазвучат с еще большей силой и убедительностью. Летом 1847 года, живя в Зальцбрунне, Тургенев набросал в черновой рукописи «Бурмистра» рисунок титульного листа будущего издания «Записок охотника», а через несколько месяцев мысль о таком издании выдвинул и Некрасов, извещая Тургенева, что он намеревается издавать «Библиотеку русских романов, повестей, записок и путешествий».

«Начну, — писал поэт, — с «Кто виноват?», потом «Обыкновенная история», а потом, думаю я, «Записки охотника»... Рассказы ваши так хороши и такой производят эффект, что затеряться им в журнале не следует».

Но прошло еще целое пятилетие, пока эта замечательная книга увидела свет. Разумеется, не все

планы писателя, связанные с «Записками охотника», могли быть осуществлены. Некоторые замыслы так и остались невоплощенными, потому что Тургеневу в ходе работы становилось ясно, что цензура их все равно не пропустит.

Сюжеты таких неосуществленных рассказов, как «Русский немец и реформатор» или «Землеед», свидетельствуют, что у Тургенева было стремление еще острее развить тему крестьянского протеста против помещичьей кабалы.

В первом рассказе «представлено было два помещика: один, З., в своей деревне всё распоряжался, всё порядок водворял — мужиков обстроил по своему плану, заставлял их пить, есть, делать по своей программе; ночью вставал, входил в избы, будил народ, всё наблюдал. Другой был немец, рассудительный, аккуратный, но — у обоих мужикам приходилось плохо».

Портрет русского помещика З., по признанию автора, вышел до того поразительно похож на Николая I, что нечего было и думать о возможности напечатать такой рассказ.

В основу сюжета второго рассказа — «Землеед» — было положено истинное происшествие. Землеед — это прозвище, данное крестьянами одного села помещику, который ежегодно ухитрялся урезывать у них землю, словно бы «съедал» ее.

Однажды Тургенев вкратце рассказал Н. А. Островской историю расправы крестьян над Землеедом.

«Бывши студентом (как видите, это было очень давно), приехал я летом в деревню охотиться. На охоту водил меня старик из дворовых соседнего имения. Вот раз ходили мы, ходили по лесу, устали, сели отдохнуть. Только вижу я, старик мой все осматривается, головой покачивает. Меня это, наконец, заинтересовало. Спрашиваю: «Ты что?» — «Да, место, говорит, знакомое». И рассказал мне историю, как когда-то на самом этом месте барина убили.

Барин был жестокий. Особенно донимал он дворовых: конечно, потому что они находились с ним

в более близких сношениях, чем крестьяне. Вот дворовые и сговорились вытащить его ночью из дома куда-нибудь подальше и покончить с ним. Старик мой был еще тогда мальчишкой. Он случайно подслушал разговор и в ту ночь следил за заговорщиками, — видел, как стащили барина с завязанным ртом, чтобы он не мог кричать (мальчик бежал за этой процессией сторонкой). Когда мужики пришли в лес, мальчик спрятался в кустарник и оттуда все видел. Были страшные подробности, — например, повар набивал барину рот грязью (в тот день шел дождь)., приговаривая, чтобы он его кушанья попробовал».

За время пребывания во Франции в 1847—1850 годах, кроме «Записок охотника», Тургеневым были написаны почти все главные его драматические произведения.

Интерес к этому жанру, в котором Тургенев пробовал свои силы еще в начале сороковых годов («Искушение святого Антония», «Неосторожность», «Две сестры»), пробудился в нем теперь с новой силой.

В прежних драматических опытах Тургенева не было ясно выраженного направления и творческой самостоятельности, он был еще весь в поисках, в брожении, печать неуверенности и книжности лежала на этих недостаточно зрелых произведениях. «Искушение святого Антония» и «Две сестры» так и не были доведены им до конца.

В отличие от этих ранних драматических эскизов, тематика которых была совершенно беспредметна и далека от живых вопросов современности, пьесы Тургенева второй половины сороковых годов («Безденежье», «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк» и «Завтрак у предводителя») вполне жизненны и реалистичны.

Даже простое сопоставление сюжетов первых трех пьес с сюжетами последующих показывает, какие коренные и благотворные изменения претерпела творческая мысль писателя с тех пор, как он примкнул к гоголевской школе и глубоко усвоил эстети-

ческие принципы, разработанные Белинским, который еще в «Литературных мечтаниях» ратовал за народный театр и хотел «видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным».

В истории борьбы русских писателей после Гоголя за самобытный национальный театр, за его реалистические основы, за разработку отечественной драматургией современных, жизненно важных тем, за признание великой общественной роли театра Тургеневу принадлежит видная роль.

В статье о драме С. Гедеонова «Смерть Ляпунова» (1846 г.) Тургенев писал, что «театр у нас уже упрочил за собой сочувствие и любовь народную; потребность созерцания собственной жизни возбуждена в русских — от высших до низших слоев общества; но до сих пор не явилось таланта, который сумел бы дать нашей сцене необходимую ширину и полноту».

Уже тогда писатель понимал, что главной задачей молодых драматургов было всемерное развитие гоголевских традиций. Почва для создания нового направления, говорит он, уже подготовлена. Гоголь «сделал все, что возможно сделать первому начинателю, одинокому гениальному дарованию: он проложил, он указал дорогу, по которой со временем пойдет наша драматическая литература; но театр есть самое непосредственное произведение целого общества, целого быта, а гениальный человек все-таки один. Семена, посеянные Гоголем, — мы в этом уверены — безмолвно зреют теперь во многих умах, во многих дарованиях; придет время — и молодой лесок вырастет около одинокого дуба... Десять лет прошло со времени появления «Ревизора»; правда, в течение этого времени мы на русской сцене не видели ни одного произведения, которое можно было бы причислить к гоголевской школе (хотя влияние Гоголя уже заметно во многих), но изумительная перемена совершилась с тех пор в нашем сознании, в наших потребностях».

Именно такую перемену и пережил прежде всего сам Тургенев. Он откровенно признавался потом,

что первое представление «Ревизора» в 1836 году, на котором он присутствовал, не произвело на него тогда должного впечатления. Он не понял значения гоголевской комедии.

Драматические опыты Тургенева конца сороковых годов показывают, какой сложный и большой путь проделал он от своей юношеской романтической драмы «Стено», писавшейся почти одновременно с «Ревизором», до «Нахлебника» и «Завтрака у предводителя».

Все три пьесы раннего периода строились на «иноземном» материале, сюжеты в них были взяты не из русской жизни, тогда как более поздние пьесы, написанные Тургеневым в Куртавнеле и в Париже, рисуют быт и нравы русского провинциального дворянства и столичных мелких чиновников («Холостяк»).

Темы двух лучших комедий — «Нахлебник» и «Завтрак у предводителя» — прямо перекликаются с темами «Записок охотника». В первой пьесе образ разорившегося дворянина Кузовкина, дошедшего постепенно до положения шута в доме богатого помещика, родствен аналогичным персонажам в рассказах «Чертопханов и Недопюскин» и «Мой сосед Радилов».

Зародыш сюжета комедии «Завтрак у предводителя» уже содержался в одном из эпизодов рассказа «Однодворец Овсяников», где с неподражаемым юмором дана картина «полюбовного» размежевания участков мелкопоместных дворян.

Попытка такого же дележа между вдовой Кауровой и ее братом, сорванная бестолковым и несокрушимым упорством Кауровой, легла в основу комедии «Завтрак у предводителя».

Изображение быта степных помещиков, их повадок и обычаев получилось настолько ярким и обличающим, что цензура наложила запрет на опубликование комедии, и она распространялась в списках, так же как и «Нахлебник», который наряду с письмом Белинского к Гоголю был в числе произведений, читавшихся в кружке петрашевцев.

Незадолго до разгрома этого кружка поэт-петрашевец А. Плещеев писал своему товарищу С. Дурову о том, что из рукописной литературы, которая «в большом ходу», особенным успехом пользуются письмо Белинского к Гоголю, статья Герцена «Перед грозой» и комедия Тургенева «Нахлебник».

Современники Тургенева высоко ценили его драматический талант. Отзывы их о его пьесах красноречиво говорят об этом.

Так, например, внимание Гоголя, прослушавшего чтение комедии «Завтрак у предводителя» в доме Репниных в Одессе в 1851 году, особенно привлек мастерски написанный портрет тупой и вздорной помещицы Кауровой, которая, кстати сказать, сродни его Коробочке. «Женщина хороша!» — заметил Гоголь по окончании чтения.

Не скупился на похвалы самобытной драматургии Тургенева и Некрасов. Прослушав комедию «Где тонко, там и рвется» (1848 г.) вскоре после ее написания, он говорил, что «вещицы более грациозной и художественной в нынешней русской литературе вряд ли отыскать. Хорошо выдумано и хорошо исполнено, — выдержано до последнего слова».

В следующем году поэт с большим одобрением отозвался в печати о постановке в петербургском театре комедии «Холостяк». Это была первая пьеса Тургенева, увидевшая сцену. «Несомненно, что г. Тургенев столько же способен к комедии, — писал Некрасов, — сколько и к рассказу или роману, и если он решился писать комедии, а не рассказы и повести, то тут мы видим одно преимущество: русская повесть еще имеет на своей стороне несколько дарований, а хорошие комедии, как известно всем, появляются у нас редко».

Герцен, которому Тургенев читал в Париже в 1848 году еще не законченного «Нахлебника», писал своим московским друзьям: «Скажите Михаилу Семеновичу (Щепкину. — *Н. Б.*), что драма, которую пишет Тургенев, просто объедение».

Не менее выразителен был отзыв Огарева о комедии «Где тонко, там и рвется»: «Тут столько на-

блюдательности, таланта и грации, что я убежден в будущности этого человека. Он создаст что-нибудь *важное* для Руси».

Воодушевление, с которым замечательные русские актеры Щепкин, Мартынов, Шумский, Самойлова, а позднее Савина, Давыдов, Станиславский и Качалов работали над воплощением драматургических замыслов Тургенева, показывает, каким значительным событием явились эти произведения в истории русского театра.

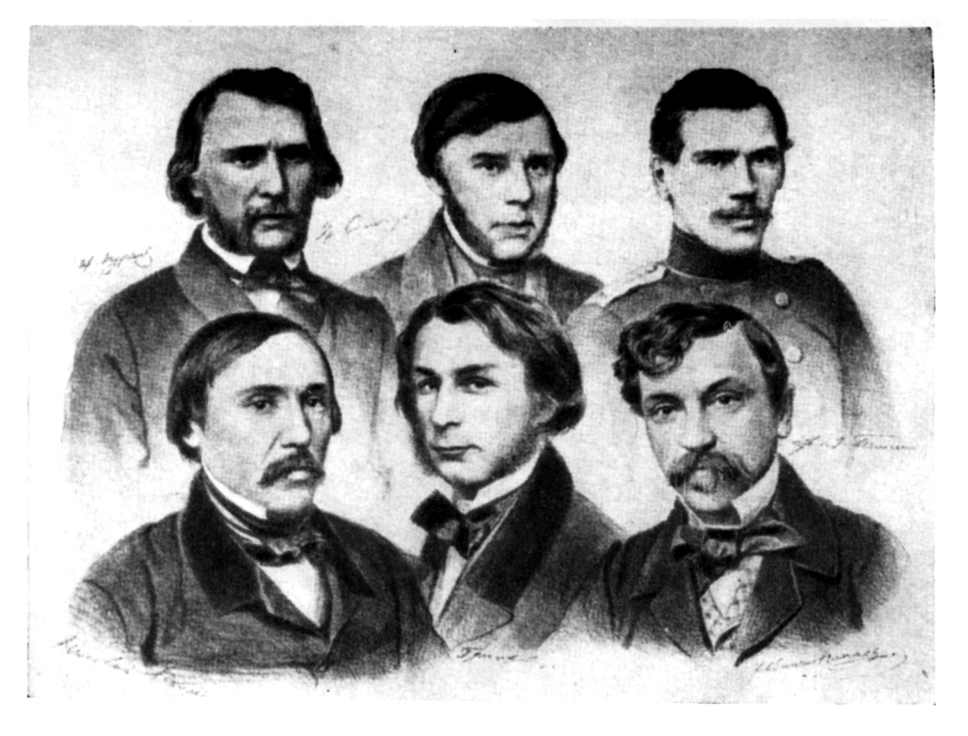
Однако сам автор их недолго был убежден в том, что он призван быть драматургом. Позднее он склонен был думать, что пьесы его более пригодны для чтения, нежели для сцены.

Тонкая психологическая пьеса «Месяц в деревне» (к замыслу которой, возникшему еще в 1848 году, Тургенев возвращался несколько раз, пока не обработал пьесу окончательно) явилась как бы завершением его творчества в этом жанре.

От этой комедии, проникнутой глубоким лиризмом, прямо протянуты нити к драматургии Чехова. С тургеневскими пьесами его пьесы роднит не только реалистическое изображение противоречий русской действительности, но и близость приемов их построения: простота сюжета, отказ от сценических эффектов, сведение к минимуму внешнего действия и углубление чисто психологической обрисовки персонажей.

Вот почему К. С. Станиславский, работая над подготовкой спектакля «Месяц в деревне» (1909 г.), применял те же режиссерские приемы, что и при постановке чеховских пьес. В книге «Моя жизнь в искусстве» он пишет, что благодаря этому спектаклю в Московском Художественном театре впервые были замечены и оценены результаты его «долгой лабораторной работы».

Отказавшись от обычных актерских приемов, Станиславский стремился к глубокому проникновению в психологический рисунок каждой роли, понимая, что основу тургеневской пьесы составляет «внутреннее действие».



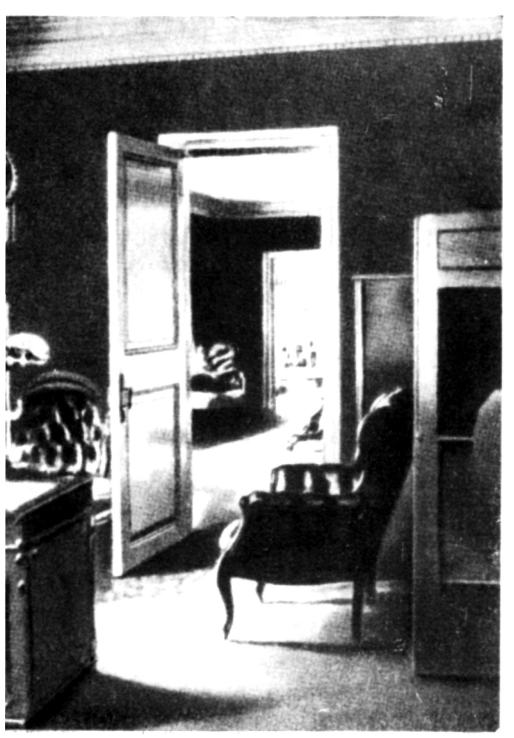
И. С. Тургенев, В. А. Соллогуб, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, Д. В. Григорович, И. И. Панаев.

Литография В. Ф. Тимма, 1857 г.

Спасское-Лутовиново. Парк. Аллея, ведущая к пруду.

Картина Я. П. Полонского, 1882 г.





Спасское-Лутовиново. Кабинет-спальня И. С. Тургенева в его доме.

Фотография В. А. Каррика, 1883 г.

Превосходно сыграв роль Ракитина, сам он принес на сцену театра новый, необычный тон и манеру игры и еще больше оттенил этим особенности своего нового метода.

В часы, свободные от творческой работы, Тургенев усердно изучал в Париже испанский язык. Он даже взял себе с этой целью учителя — сеньора Кастеляра. «Мы каждый вечер собираемся у испанского brasero и говорим по-испански», — писал он Виардо.

Стремясь усовершенствовать знание этого языка, Тургенев переводил «Манон Леско» с французского языка на испанский и начал, по совету Кастеляра, переписку с другим его учеником.

Вскоре Тургенев уже приступил к чтению в подлиннике драматических произведений Кальдерона — «Поклонение кресту», «Жизнь — есть сон», «Чудесный маг», а затем и к углубленному штудированию «Дон-Кихота» Сервантеса, в чем ему немало помог муж Полины Виардо, Луи Виардо, переведший еще ранее этот роман на французский язык.

Драматургия Кальдерона привлекла внимание Тургенева потому, что она, по его мнению, выражала самую сущность своего народа и времени. «Читая эти прекрасные произведения, чувствуешь, что они выросли на благородной и могучей почве: их вкус и благоухание просты, литературная подливка здесь совершенно не чувствуется. Драма в Испании была последним и самым лучшим выражением наивного католицизма и общества, созданного им по своему подобию».

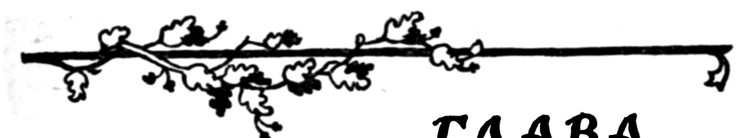
Однако в тургеневских оценках творчества Кальдерона вскоре начинает проступать внутреннее противоречие. Тут поэт как бы в споре с философом. Поэт восторгается замечательным искусством испанского драматурга, но идейная основа кальдероновских пьес, в которых слишком явственно звучит голос мистика и религиозного фанатика, в сущности, была чужда Тургеневу, испытавшему тогда сильное воздействие материалистической философии Фейер-

баха, которого он считал самым талантливым и оригинальным философом эпохи. В высказываниях Тургенева о Кальдероне встречаются формулировки, созвучные тезисам Фейербаха. Разбирая драму «Поклонение кресту» он говорит о «торжестве разума», который возвышает человеческое существо до того «фантастического божества, игрушкой которого оно себя считает. И это божество есть тоже творение его руки».

Пояснения Тургенева заканчиваются полемически: «Пусть я буду атом, но я сам себе владыка; я хочу истины, но не спасения, и ожидаю получить ее от разума, а не от благодати».

Первоначально Тургенев, увлеченный поэтическим мастерством Кальдерона, считал возможным сопоставлять его с Шекспиром и Гёте, сравнивать принца Сехизмундо («Жизнь есть сон») с принцем Гамлетом, а драму «Чудесный маг» называл испанским «Фаустом». Но несколько позднее, глубже изучив творчество Сервантеса, он убедился, что не драмы Кальдерона, а «Дон-Кихот» является величайшим творением испанской и мировой литературы.

Роман Сервантеса, в котором Тургенев почерпнул впоследствии богатый материал для своей большой статьи «Гамлет и Дон-Кихот», стал с той поры одним из самых любимых произведений Тургенева, предполагавшего перевести его со временем на русский язык.



ГЛАВА XVI

В ГРОЗНЫЕ ДНИ 1848 ГОДА



В конце ноября 1847 года революционеры-эмигранты, проживавшие в Париже, собрались, как обычно, на банкет, чтобы отметить дату польской революции 1831 года. На этом собрании выступил с горячей речью Михаил Бакунин. «Тут,—говорит Герцен, — в первый раз увидели русского, открыто протягивавшего братскую руку полякам и всенародно отрекавшегося от петербургского правительства. Влияние его речи было огромно». Выступление Бакунина показалось властям настолько опасным, что ему было предписано покинуть пределы Франции. Он перебрался в Брюссель.

Туда же в начале 1848 года приехал и Тургенев. Возможно, что эта поездка была предпринята им для свидания с давним другом, который продолжал по старой памяти делиться с ним своими замы-

слами и планами, связанными с революционной работой.

Весть о февральской революции 1848 года во Франции застала обоих друзей в бельгийской столице.

Много лет спустя Тургенев рассказал об этих днях в очерке «Человек в серых очках».

Молодостью, энергией, жадным интересом к совершающимся событиям веет от этих страниц. И сам автор их, которого мы привыкли представлять себе таким уравновешенным и невозмутимо-спокойным, предстает здесь перед нами иным.

Ранним утром 26 февраля Тургенев, находившийся в гостинице, услышал вдруг, как наружная дверь ее распахнулась и кто-то зычно прокричал: «Франция стала республикой!»

Вскочив с кровати, он выбежал из комнаты и увидел в коридоре стремительно мчавшегося гарсона гостиницы, который поочередно распахивал двери номеров, направо и налево, и громко выкрикивал все ту же фразу.

Через полчаса Тургенев был уже одет, уложил вещи и поспешил на вокзал. В тот же день он выехал в Париж, вероятно вместе с Бакуниным, который тоже покинул Брюссель при первом известии о революции.

«На границе сняты были рельсы; спутники мои и я, — вспоминал Тургенев, — мы с трудом в наемных повозках добрались до Дуэ — и к вечеру прибыли в Понтуаз... Рельсы около Парижа были также сняты... Помню, что на одной станции мимо нас с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался «экстренный комиссар» Республики Антоний Турэ; ехавшие с ним люди махали трехцветными флагами, кричали; служащие на станции с немым изумлением провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунутую из окна, с высоко приподнятою рукою... 1793, 1794 годы невольно воскресали в памяти. Помню, что, не доезжая до Понтуаза, произошло столкновение нашего поезда с другим встреч-

ным. Были раненые — но никто не обратил даже внимания на этот случай; у каждого тотчас явилась одна и та же мысль: можно ли будет дальше ехать? И как только наш поезд снова тронулся, все тотчас заговорили с прежним одушевлением, исключая одного седого старичка, который с самого Дуэ забился в угол вагона и беспрестанно повторял шепотом: «Все пропало! все пропало!»

Необычайное волнение охватило Тургенева при въезде в Париж, при виде пестревших повсюду трехцветных кокард, вооруженных блузников, разбиравших баррикады.

Весь первый день его пребывания в Париже прошел в каком-то чаду.

Воспоминания о февральской революции 1848 года были написаны человеком, уже давно расставшимся с некоторыми юношескими верованиями и надеждами. Каждое слово здесь взвешено и обдумано. Писатель очень осторожен и сдержан, касаясь автобиографических деталей, он не хочет привлекать внимания цензуры к теме, непривычной для русских читателей. Поэтому-то он прибегает иногда к оговоркам: «Здесь не место передавать все, что я испытал...», «Не стану распространяться о пережитых мною впечатлениях...» и т. п.

Тургеневу довелось быть свидетелем ряда важных событий, разыгравшихся в Париже после февральской революции. Он видел демонстрацию протеста рабочих против так называемых «медвежьих шапок», то есть раскассированных гренадеров и вольтижеров национальной гвардии.

15 мая он наблюдал, как толпы народа направлялись мимо церкви Св. Мадлены на штурм палаты депутатов после отказа временного правительства поддержать поляков, восставших в Кракове и Познани против прусского гнета.

«Еще прежде страшных июньских дней, — говорит Герцен, — пятнадцатое мая провело косой по вторым всходам надежд... Капли крови не пролилось в этот день; это был тот сухой удар грома при чистом небе, вслед за которым чуется страшная гроза».

В судьбах старших друзей Тургенева происходили в это время потрясения и катастрофы.

26 мая 1848 года не стало Белинского.

Бакунин был вскоре надолго вырван из жизни *.

В семейной жизни Герцена назревала тяжелая драма, о которой он сам рассказал потом в «Былом и думах».

Тургенев снимал тогда квартиру в доме на углу улицы Мира и Итальянского бульвара. По соседству с ним, на той же лестнице, квартировал Георг Гервег. Они часто заглядывали друг к другу, чтобы отвести душу.

Гервег был председателем клуба немцев-эмигрантов в Париже. В апреле 1848 года, вдохновленный февральскими событиями во Франции, он возглавил поход вооруженных рабочих в Бадене с целью переворота **.

Узнав о поражении отряда, Иван Сергеевич писал Виардо: «Экспедиция моего друга Гервега потерпела полное фиаско; эти несчастные рабочие подверглись ужасному избиению. Второй начальник, Борнштедт, был убит; что касается до Гервега, то он, говорят, вернулся в Страсбург со своею женой. Если он приедет сюда, я ему посоветую еще раз прочесть «Короля Лира», особенно сцену между королем Эдгаром и шутом в лесу. Бедняга! Ему следовало или не начинать дела, или погибнуть вместе с другими».

Между тем приближались июньские дни 1848 года.

С некоторых пор все сильнее чувствовалось, что решительное столкновение между рабочими и временным правительством неизбежно. В воздухе пахло порохом.

---

* Из Парижа он переехал в Германию и весною 1849 года стал во главе восставших в Дрездене. Там постигает его поражение, а затем тюрьма, выдача царским властям, Петропавловская крепость, ссылка в Сибирь, бегство в Америку через несколько лет и, наконец, в 1861 году, снова Европа.

** Карл Маркс, как известно, заранее осуждал бесполезную затею Гервега, понимая, что она обречена на провал. Так и случилось. Возвращение Гервега в Париж было бесславным.

Утром 23 июня барабанный бой, созывавший национальную гвардию, возвестил о том, что роковой час наступил.

— Началось! — сказала Ивану Сергеевичу прачка, принесшая белье.

Она сама видела, как неподалеку от ворот Сен-Дени рабочие строили поперек бульвара огромную баррикаду.

Тургенев поспешил на улицу. Здесь все, казалось, шло своим чередом. Как всегда, толпился народ перед открытыми кофейнями и магазинами, проносились экипажи и омнибусы, слышались громкие разговоры и восклицания.

Но чем дальше он шел, тем заметнее менялся облик бульвара. Все реже и реже проезжали кареты и омнибусы, реже попадались встречные пешеходы, кофейни и магазины поспешно закрывались. На улицах уже чувствовалась гнетущая тишина перед бурей, но в распахнутые окна домов она еще не успела проникнуть.

Картина, которую он увидел в этот короткий промежуток времени, отделявший начало шторма от повседневного течения жизни, навсегда осталась в его памяти. «В этих окнах, а также на порогах дверей теснилось множество лиц, преимущественно женщин, детей, служанок, нянек, — и все это множество болтало, смеялось, не кричало, а перекликивалось, оглядывалось, махало руками — точно готовилось к зрелищу; беззаботное праздничное любопытство, казалось, охватило всю эту толпу. Разноцветные ленты, косынки, чепчики, белые, розовые, голубые платья путались и пестрели на ярком летнем солнце, вздымались и шуршали на легком летнем ветерке — так же, как и листья на всюду посаженных тополях — «деревьях свободы».

«Неужели же тут, сейчас, через пять-десять минут будут драться, проливать кровь? — спрашивал он себя. — Невозможно!»

С такою же отчетливостью память его запечатлела неровную линию высокой баррикады, воздвигнутой рабочими поперек бульвара, и острый язычок малень-

кого красного знамени, шевелившийся на ветру в самом центре ее.

Он стоял у стен Жувенской перчаточной фабрики, занятой повстанцами, когда с левой стороны бульвара, шагах в двухстах от баррикады, сверкая штыками, показался отряд национальной гвардии. Войска достигли противоположной стороны бульвара и, заняв его, развернулись фронтом к баррикаде.

Внезапный залп, который дали повстанцы сквозь жалюзи окон верхнего этажа фабрики, возвестил о начале трагедии...

Три последующих дня не покидал Тургенев своей квартиры на четвертом этаже и только посылал записки Герцену. Но записки его с трудом доходили по назначению.

По распоряжению Кавеньяка, движение по улицам города было запрещено. Часовые национальной гвардии повелительно отсылали домой всякого, кто пытался нарушить этот приказ. Окна в домах должны были быть раскрыты настежь для предупреждения засады.

В предместьях Парижа шла в это время яростная битва не на живот, а на смерть. Отдаленная канонада, беспорядочная ружейная пальба, барабанный бой, тяжелый грохот батарей, проезжавших по мертвым улицам, протяжные зовы набата доносились извне, не затихая и по ночам...

На четвертые сутки сопротивление восставших было сломлено. Только в предместье Святого Антония рабочие еще продолжали борьбу *.

Утром Тургенев сидел у Гервега, когда гарсон доложил поэту, что его спрашивает какой-то рабочий; через минуту он ввел сутулого старика в истрепанной грязной блузе, с воспаленными глазами, с лицом, изборожденным морщинами.

— Кто здесь гражданин Гервег? — спросил он.

---

* Один из эпизодов этого трагического исхода революционных событий писатель запечатлел потом в эпилоге романа «Рудин». Тургенев первый в русской литературе нарисовал картину гибели на баррикаде передового русского человека за общее революционное дело.

— Я Гервег, — отвечал немецкий поэт.

— Вы ждете вашего сына вместе с его бонной из Берлина?

— Да, действительно... Почему вы знаете? Он должен был четвертого дня выехать... Но я полагал...

— Ваш мальчик приехал вчера; но так как станция железной дороги в Сен-Дени в руках *наших* и сюда его послать было невозможно, то его отвели к одной из наших женщин — вот тут на бумажке его адрес написан, а мне наши сказали, чтоб я пришел к вам, дабы вы не беспокоились. И бонна его с ним; помещение хорошее, кормить их будут обоих. И опасности нет. Когда все покончится, вы его возьмете — вот по этой бумажке. Прощайте, гражданин...

Пораженный самоотверженным поступком старика, который, рискуя жизнью, добирался сюда из стана восставших, Гервег предложил ему вознаграждение. Но рабочий наотрез отказался от денег.

— Ну закусите хотя бы, выпейте стакан вина.

— От этого я, пожалуй, не откажусь. Я второй день, почитай что, не ел.

За вином старик понемногу разговорился.

— Мы в феврале обещали временному правительству, что будем ждать три месяца; вот они прошли, эти месяцы, а нужда все та же, еще больше. Временное правительство обмануло нас: обещало много — и ничего не сдержало. Ничего не сделало для работников. Деньги мы все свои проели, работы нет никакой, дела стали. Вот тебе и республика! Ну, мы и решились, все равно пропадать!

Когда рабочий уходил, Гервег обратился к нему:

— Скажите мне ваше имя по крайней мере! Я желаю знать, как зовут того, кто так много для меня сделал.

— Мое имя вам совсем не нужно знать. Правду сказать, то, что я сделал, я сделал не для вас, а наши приказали. Прощайте...

«Участь старика, посетившего Гервега, — писал Тургенев, — осталась неизвестной. Нельзя было не подивиться его поступку, той бессознательной, почти

величавой простоте, с которой он совершил его. Ему, очевидно, и в голову не приходило, что он сделал нечто необыкновенное, собою пожертвовал. Но нельзя также не дивиться и тем людям, которые его послали, которые в самом пылу и развале отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревоге незнакомого им «буржуа» и позаботились о том, чтобы его успокоить».

В это тяжелое, напряженное время самыми близкими Тургеневу людьми из соотечественников, находившихся в Париже, были, кроме Анненкова, семья Герцена и семья Тучковых. Обе они жили в одном доме, и Тургенев с Анненковым бывали у них каждый день.

Поражение революции потрясло Герцена до глубины души, оно провело *черту* в его жизни, оставило неизгладимый след в его сознании. Он никогда не мог забыть картины Парижа, «вымытого кровью».

«Вечером 26 июня, — вспоминал он, — мы услышали... правильные залпы с небольшими расстановками... «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос... Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощает такие минуты!*

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступили тишина и мир осадного положения... Надменная национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом... Буржуазия торжествовала. А дома предместья Святого Антония еще дымились... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских полей; на Place de la Concorde везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп...

Прошло еще несколько дней, и Париж стал принимать обычный вид; толпы праздношатающихся снова явились на бульварах; нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя...»

Младшая дочь Тучкова, Наталья, ставшая впоследствии женой Огарева, была еще совсем юной девушкой в пору первой встречи с Тургеневым. Бывая у Тучковых, Иван Сергеевич подружился с нею, охотно читал ей стихи или рассказывал планы своих будущих произведений.

Как-то раз, подробно рисуя ей замысел пьесы «Вечеринка», Тургенев воодушевился и с большим искусством стал представлять в лицах весь ход пьесы.

Прочитав в кругу друзей законченную тогда комедию «Где тонко, там и рвется», Тургенев посвятил ее Наталье Алексеевне Тучковой.

Однажды в теплый июльский день, сидя в компании молодежи на крыльце, выходившем в сад, Иван Сергеевич обратился к Тучковой с вопросом:

— Натали, за которого из нас двух, — тут он кивнул головой в сторону Анненкова, — вы бы скорее вышли замуж?

— Ни за которого, — отвечала та смеясь.

— Однако если б нельзя было отказать обоим? — сказал он.

— Почему же нельзя? — возразила Наталья Алексеевна. — Ну, в воду бы бросилась.

— И воды бы не было, — возразил Тургенев.

— Ну, — усмехнулась девушка, — за вас бы пошла.

— А! Вот этого-то я хотел, все-таки вы меня предпочли Анненкову, — и Иван Сергеевич поглядел на своего друга с торжествующей улыбкой.

— Конечно, — добавила Натали, — если и воды не было бы.

И все засмеялись...

Скоро, однако, и этот небольшой дружеский круг стал редеть. Осенью уехали из Парижа в Россию Тучковы. Прощаясь с Натальей Алексеевной, Тургенев подарил ей на память маленькую записную книжечку, где было написано, чтоб она никогда не принимала какое-либо серьезное решение, не взглянув на эти строки и не вспомнив, что есть человек, который ее никогда не забудет.

Вслед за Тучковыми стал собираться в дорогу и Анненков.

Русским, проживавшим за границей, становилось все труднее затягивать возвращение на родину — правительство Николая I смотрело на Францию как на постоянный и опасный очаг революционных волнений.

Незадолго до отъезда Анненкова Герцен спросил его:

— Итак, решено, вы едете?

— Решено.

— Жутко вам будет в России.

— Что делать? Мне ехать необходимо... Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо; как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.

— Нет, для меня выбора нет. Я должен остаться, и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой на Place Maubert. Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования...

На каждого, кто возвращался в Россию из мятежной Франции, смотрели с подозрением. Вскоре по приезде на родину у Тучкова произошел такой разговор с графом Киселевым:

— Ах, любезный Тучков, не знаю уж, красными или белыми чернилами записано ваше имя в черной книге, но что оно записано в ней, это факт.

— Почему же?

— Не знаю, как вам это объяснить. Одним словом, от вас за версту пахнет баррикадами. Да, друг мой, не следовало оставаться в Париже во время июньских дней...

Варвара Петровна давно уже настойчиво звала сына домой, и задержка с возвращением так сильно возмущала ее, что она, по обыкновению, решила прибегнуть к крутым мерам воздействия — не высылать сыну денег.

Бедность не на шутку грозила Тургеневу. Литературных заработков никак не могло хватить на самое скромное существование. Получив однажды триста рублей от редактора «Отечественных записок», Иван

Сергеевич писал ему, что эти деньги решительно спасли его от голодной смерти.

Некоторое время он колебался, возвращаться ли ему вообще на родину.

Весной следующего года в Париже распространилась холера. Смерть косила людей направо и налево. Не хватало мест в больницах, не хватало похоронных дрог.

У Тургенева кончался срок найма квартиры, и он не стал возобновлять контракта, намереваясь покинуть Париж. Был конец мая, когда Тургенев пришел переночевать к Герцену. После обеда он стал жаловаться на тоску, которую наводят на него бессолнечный жар и духота. Вечером он отправился, по совету Герцена, купаться. Возвратившись, почувствовал себя нехорошо, выпил содовой воды с вином и сахаром и пошел спать. Ночью он разбудил Герцена.

— Я — потерянный человек, — сказал он своему другу, — у меня холера.

Отправив на следующее утро жену и детей в деревеньку Виль д'Аврэ под Парижем, Герцен десять дней выхаживал занемогшего Ивана Сергеевича, оставшись с ним в квартире вдвоем.

Весной 1850 года Варвара Петровна прислала, наконец, сыну деньги на дорогу в Россию, но при условии, что возвращение будет безотлагательным. Брат также звал его, намереваясь совместно с ним добиваться от матери обеспечения их существования и независимости.

В середине мая Тургенев поехал в последний раз проститься с полями и рощами Куртавнеля.

Затем он вернулся в Париж, рассчитывая повидаться с Герценом, но не застал его. «Я приехал из деревни, любезный Александр, час спустя после твоего отъезда; ты можешь себе представить, как мне было это досадно; я бы так был рад еще раз с тобой повидаться перед возвращеньем в Россию. Да, брат, я возвращаюсь; все вещи мои уложены, и послезавтра я покидаю Париж... Ты можешь быть

уверен, что все твои письма и бумаги будут мною доставлены в целости...»

Тургенев опять, по-видимому, взял на себя обязанность «дипломатического курьера» и подобно тому, как из Берлина он вез в 1841 году бумаги Бакунина, так теперь исполнял аналогичную просьбу Герцена.

Не зная, как сложатся обстоятельства, они заранее условились о своеобразном способе сообщения. «Бог знает, когда мне придется тебе писать в другой раз; бог знает, что меня ждет в России... В случае какого-нибудь важного обстоятельства ты можешь известить меня помещением в объявлениях «Journal des Débats», que m-r Louis Morisset de Caen» * и т. д. Я буду читать этот журнал и пойму, что ты захочешь мне сказать». Так условился Тургенев со своим старшим другом, покидая Францию.

---

* «Журнал де Деба», что господин Луи Мориссе из Кана,

ГЛАВА XVII

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. СМЕРТЬ МАТЕРИ. У ГОГОЛЯ

В конце июня пароход, отправившийся из Штеттина в Петербург, увозил его на родину.

Друзья и близкие знакомые Тургенева нашли, что внешне он сильно изменился. Волосы его наполовину поседели, хотя ему не исполнилось еще и тридцати трех лет.

Спеша в Москву, где поджидала его Варвара Петровна, он не задержался в Петербурге. Свидание с матерью поначалу подало ему надежду на благоприятный исход переговоров, но эфемерность этой надежды скоро стала непререкаемо ясна.

На просьбу сыновей, изложенную в самой почтительной форме, определить им хоть небольшой доход, чтобы они не беспокоили ее из-за всякой безделицы, Варвара Петровна ответила смутным обещанием уладить это дело, но так и оставила все без изменений.

Своеволие и властолюбие Варвары Петровны, проявлявшиеся в крайне резкой форме, вывели, наконец, Ивана Сергеевича из равновесия. Более всего он был обижен за старшего брата и откровенно высказал матери, что жестоко играть комедию с семейным человеком, обреченным на лишения вместе с женой и детьми.

Это решительное объяснение повлекло за собой ссору и переезд его из дома в гостиницу. А затем Иван Сергеевич уехал в небольшое имение Тургенево, по соседству со Спасским, принадлежавшее прежде его отцу. А матушка — следом в Спасское.

В одном из первых же писем, отправленных из деревни в Париж, Иван Сергеевич рассказал в самых общих чертах Полине Виардо историю своей любви к Авдотье Ермолаевне. Он чувствовал потребность в этой исповеди, потому что воочию убедился, как унизительно и жалко положение его восьмилетней дочери Пелагеи, которую Варвара Петровна сдала на руки одной из крепостных прачек.

Вся деревня злорадно называла Полю барышней, а кучера́ заставляли ее таскать ведра с водой.

Иной раз по приказанию Варвары Петровны девочку наряжали в чистое платье и приводили в гостиную, где «бабушка» говорила окружающим, не стесняясь присутствия сына:

— Вглядитесь хорошенько в эту девочку. На кого она похожа?

Спрошенные смущенно мялись.

— Как, вы не видите сходства? Да ведь это вылитое лицо нашего Ивана. Ведь это твоя дочь? — со смехом обращалась к нему Варвара Петровна.

«Все это, — признавался впоследствии Тургенев Фету, — заставило меня призадуматься насчет будущей судьбы девочки, а так как я ничего важного в жизни не предпринимаю без советов мадам Виардо, то я изложил этой женщине все дело, ничего не скрывая.

Справедливо указывая на то, что в России никакое образование не в силах вывести девушку из фальшивого положения, мадам Виардо предложила мне

поместить девочку к ней в дом, где она будет воспитываться вместе с ее детьми».

В конце октября Поля, сопровождаемая француженкой Родер, уезжавшей в Париж, находилась уже в пути за границу, а Тургенев в письме к Виардо, посланном вдогонку, писал, что он твердо решил с этого времени делать для дочери все, что будет от него зависеть.

И случилось так, что только через пять с лишним лет произошла в Париже встреча отца с дочерью, успевшей за это время позабыть родной язык.

Не успел Иван Сергеевич проводить дочь, как получил в Петербурге известие, что Варвара Петровна смертельно больна. В тот же день он выехал в Москву, но матушку в живых уже не застал. Он приехал поздно вечером в день похорон, когда родственники уже вернулись с кладбища Донского монастыря.

Даже в предсмертных муках не могла Варвара Петровна примириться с тем, что сыновья освободятся от ее власти. «Ее последние дни, — писал Иван Сергеевич Полине Виардо, — были очень печальны... Она старалась только оглушить себя, когда уже начиналось хрипение агонии; в соседней комнате, по ее распоряжению, оркестр играл польки».

Мысль ее была занята одним, как добиться разорения сыновей. В последнем письме, написанном управляющему Спасским имением, она приказывала продать с этой целью имение за бесценок или даже поджечь его.

«Несмотря ни на что, все это надо забыть, — заключал свое письмо Тургенев, — и я сделаю это от души теперь, когда вы, мой исповедник, знаете все. А между тем я чувствую, что ей было так легко заставить нас любить ее и сожалеть о ней».

Дневник Варвары Петровны, обнаруженный после ее смерти, потряс Ивана Сергеевича. Он читал его, не отрываясь, и не мог потом всю ночь сомкнуть глаз, раздумывая о ее судьбе, о ее характере и поступках.

«Какая женщина!.. Да простит ей бог все! Но какая жизнь!»

При разделе наследства Иван Сергеевич проявил большую уступчивость в пользу брата. Он высказал только одно желание — непременно оставить за собою Спасское.

Во владениях своих он «немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал общему освобождению, при выкупе везде уступал пятую часть — и в главном имении не взял ничего за усадебную часть земли, что составляло крупную сумму».

Так отвечал сам писатель в семидесятых годах, когда ему был задан молодым историком литературы С. А. Венгеровым вопрос: что он сделал для своих крестьян? И при этом Тургенев добавил: «Другой, быть может, на моем месте сделал бы больше и скорее; но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она ни есть. Хвастаться ею нечего, но и бесчестья она, полагаю, принести мне не может».

Своеволие Варвары Петровны ставило прежде Ивана Сергеевича в положение гордого нищего; он, по словам его друзей, хотя и сознавался порой, что находится в трудных обстоятельствах, но никогда не показывал границ, до которых доходили его лишения. Им и в голову не могло прийти, что он нуждался по временам в куске хлеба.

Теперь Тургенев не был уже стеснен в средствах. Он стал жить шире, завел повара и, будучи от природы хлебосолом, любил приглашать к обеду друзей и знакомых. Он охотно ссужал деньгами друзей, когда у них случалось безденежье.

На вечерах у Тургенева бывали литераторы, артисты, ученые и музыканты. Частыми гостями были Анненков, Полонский, Некрасов, Аксаковы, Боткин, Грановский, Забелин, М. Щепкин, Пров Садовский, С. Шумский.

Посетителям этих вечеров запомнились жаркие споры, часто происходившие между хозяином и Константином Аксаковым по вопросам, разделившим тогдашнее образованное общество на два лагеря — славянофилов и западников.

Запомнились бытовые юмористические сценки из

народной жизни, с которыми выступал знаменитый актер Садовский, хоровое пение отрывков из оперы Верстовского «Аскольдова могила».

Светло, весело и дружелюбно проходили эти вечера.

Конец 1850 года и начало следующего были заполнены у Тургенева заботами о постановках его пьес в театрах обеих столиц.

С ними было много мытарств в театральной цензуре. Да и в журналах печатать их также было не легко. Одни пьесы подвергались искажениям, другие запрещались вовсе.

Ревностным пропагандистом драматических произведений Тургенева был Михаил Семенович Щепкин. Он читал их в домах друзей и знакомых и пробовал ставить на домашнем театре те комедии, на которые был наложен цензурный запрет. Особенно долго и упорно занимала его воображение роль Кузовкина в комедии «Нахлебник».

В это время Тургенев был еще полон веры в свое призвание к драматическому творчеству, чему способствовал в известной мере успех постановок «Холостяка» и «Провинциалки».

И публика, и актеры, и журналисты радовались появлению хорошей русской комедии после наскучивших всем французских водевилей.

«Как поучительно для автора присутствовать на представлении своей пьесы! — писал Тургенев, вернувшись из театра, где ставили «Холостяка». — Что там ни говори, но становишься публикой, и каждая длиннота, каждый ложный эффект поражает сразу, как удар молнии. Второй акт, несомненно, неудачен, и я считаю, что публика была слишком снисходительна. И все же я очень доволен. Опыт этот показал мне, что у меня есть призвание к театру и что со временем я смогу писать хорошие вещи».

На долю «Провинциалки» выпал еще бо̀льший успех. Взволнованный и смущенный шумными вызовами, Тургенев поспешил скрыться. Вызовы прекратились только после того, как Щепкин объявил со сцены, что автора нет в театре.

Знаменитый актер, друживший с Пушкиным, Гоголем, Белинским, проникся живой симпатией к Ивану Сергеевичу.

Однажды Тургенев сказал Щепкину, что хотел бы познакомиться с автором «Мертвых душ». Он так был захвачен гением Гоголя, что чуть ли не наизусть затвердил его произведения.

Михаил Семенович ответил:

— Если желаете, поедемте к нему вместе.

Но тут Тургенев возразил, что, пожалуй, неловко ехать без предупреждения — не подумал бы Гоголь, что он ему навязывается.

— Ох, батюшки мои, когда это вы, государи мои, доживете до того времени, что не будете так щепетильничать! — воскликнул Михаил Семенович.

Однако не замедлил побывать у Гоголя и спросил его:

— С вами, Николай Васильевич, хочет познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам?

— Кто же это такой?

— Да человек довольно известный; вы, вероятно, слыхали о нем: Иван Сергеевич Тургенев.

За развитием дарования Тургенева Гоголь с некоторых пор следил с большим интересом. Еще недавно, говоря в одном доме о молодых писателях, он заметил: «Во всей нынешней литературе больше всех таланту у Тургенева».

На предложение Щепкина Гоголь ответил радостным согласием, чем даже несколько удивил Михаила Семеновича, знавшего, как неподатлив стал он на новые знакомства.

Собственно, только теперь предстояло Тургеневу познакомиться с любимым писателем, которого он видел до этого несколько раз — в тридцатые годы на кафедре Петербургского университета, в начале сороковых — в доме Елагиных в Москве.

Годы, отделявшие эти встречи одну от другой, были целыми эпохами в жизни и творчестве Гоголя. На университетскую кафедру всходил он еще в пору первых своих шагов в литературе, в доме Елагиных Тур-

генев смотрел как бы со стороны на прославленного писателя, направившего русскую литературу по новому пути. А теперь предстояло свидание с человеком, переживавшим полосу глубокого внутреннего кризиса в связи с крушением «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Передсвая русская общественная мысль в лице Белинского и Герцена с непререкаемой ясностью показала ложность пути, избранного писателем, впавшим в мистику и проповедничество.

Гоголь знал о близости Тургенева к Белинскому и Герцену. Он хотел высказать Тургеневу при свидании свое впечатление от статьи Герцена «О развитии революционных идей в России», где осудительно говорилось о его последней книге; он болезненно воспринимал критику своей «Переписки».

Щепкин и Тургенев приехали к нему днем и тотчас же были приняты им. Он жил тогда на Никитском бульваре, в доме Талызина, у графа А. П. Толстого.

Войдя в комнату, они увидели Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Одет он был в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны.

Незадолго до этого посещения Тургенев видел его в театре на представлении «Ревизора». Сидя в глубине ложи, словно прячась от зрителей, Гоголь, вытянув шею, смотрел на сцену, не вполне, видимо, довольный игрою артистов. Тургенева поразила перемена, происшедшая в нем с того времени, когда он видел его десять лет назад. «Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица...»

Встретил он Щепкина и Тургенева очень приветливо и, пожав Ивану Сергеевичу руку, сказал:

— Нам давно следовало быть знакомыми...

Он пригласил их сесть.

Тургенев пристально вглядывался в лицо Гоголя. «Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его по-

катого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым».

Заговорив о литературе, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям и что представляет собой самый процесс работы над ними, Гоголь заметно оживился.

— У вас есть талант, — сказал он Тургеневу, — обращайтесь с ним бережно... Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное — не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть сначала повесть создастся в вашей голове, и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно исправлял свои стихи. Его рукописей теперь никто не разберет, так они перемараны.

Гоголю было приятно услышать от Тургенева, что «Шинель» и некоторые другие его повести, переведенные на французский язык, произвели в Париже сильное впечатление. Он знал, что Иван Сергеевич много помогал переводчику советами. Но тут же, словно бы вспомнив что-то, вдруг переменился в лице и с беспокойством раздраженно спросил:

— Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?

— Герцен не хотел, конечно, задеть вас лично, его огорчило лишь то, что вы, передовой человек, сворачиваете, как ему кажется, со своего пути, — ответил Тургенев.

— Мне досадно, — заметил Гоголь, — что друзья придали мне политическое значение. Я хотел показать «Перепиской», что я не то, и перешел за черту, увлекшись. Правда, и я виноват, что послушался окружавших меня... Если бы можно было взять назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку». Я бы сжег ее.

В дальнейшем ходе беседы о «Переписке» Гоголь пробовал доказать, что он всегда держался одинаковых политических и религиозных взглядов. В подтверждение этого он даже стал читать отрывки из своей ранней статьи, помещенной в «Арабесках», — «О преподавании всеобщей истории».

— Вот видите, — твердил Гоголь, — я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь! С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве?.. Меня?..

Тут Тургенев особенно остро почувствовал, какая бездна лежит между его мировоззрением и мировоззрением Гоголя.

«И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали. Гоголь бросил, наконец, книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пиесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать...»

Благодаря такому неожиданному исходу разговора на долю Тургенева выпало счастье услышать, как сам Гоголь читал «Ревизора». И каким же это было «пиром и праздником» для него!

5 ноября в той же квартире А. П. Толстого собрались писатели и артисты; кроме Щепкина и Тургенева, здесь были Сергей Тимофеевич и Иван Сергеевич Аксаковы, Шевырев, Н. Берг, П. Садовский, Шумский и другие.

Тургенева поразила чрезвычайная простота и сдержанность манеры Гоголя читать. Казалось, он «только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет для него самого новый и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный — особенно в комических, юмористических местах... Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор».

Слушатели были в восторге, хотя сам Гоголь, утомленный чтением, сказал, что все это не более как намек, эскиз.

Прощаясь в сенях с Гоголем, Тургенев не предполагал, что никогда уже больше не увидит его...

ГЛАВА XVIII

ССЫЛКА. «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»



В феврале 1852 года, находясь в Петербурге, он услышал о смерти великого писателя. Событие это потрясло его до глубины души — словно молния разбила внезапно на его глазах могучий дуб...

«Скажу вам без преувеличения, — писал он Ивану Аксакову, — с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя».

И затем в письме к Полине Виардо: «Случилось великое горе. В Москве умер Гоголь... Вам трудно представить себе всю огромность этой потери, столь горестной, столь всеобъемлющей. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в этот миг. Для нас он был не только писателем: он нам открыл нас самих. Для нас он был в известном смысле продол-

жателем Петра Великого... Надо быть русским, чтобы это почувствовать...»

Его неприятно удивило, что все как-то вскользь и холодно говорили о смерти Гоголя. Он демонстративно надел траур и, нанося визиты знакомым, резко осуждал равнодушие светской черни.

Желая раскрыть общественный смысл этой утраты, Тургенев написал статью и отдал ее в редакцию «Петербургских ведомостей». Он признавался друзьям, что плакал навзрыд, когда писал этот некролог.

«Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!»

Но николаевские жандармы и сам Николай I поиному смотрели на автора «Мертвых душ». Статья Тургенева была запрещена цензурным комитетом; там сочли недопустимым самый тон ее и особенно наименование Гоголя *великим*.

Встретившись на улице с издателем, Тургенев спросил его, что бы это значило.

— Видите, какая погода, — отвечал тот иносказательно, — и думать нечего...

— Да ведь статья самая невинная.

— Невинная ли, нет ли, дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать...

Тогда Тургенев запросил своих московских друзей, В. П. Боткина и Е. М. Феоктистова, которым еще ранее послал статью для ознакомления, нельзя ли попробовать напечатать ее без подписи в «Московских ведомостях» в виде письма из Петербурга.

«Я хотел бы спасти честь честных людей, живущих здесь. Неужели это так пройдет, и мы ни слова не сказали о тебе (Гоголе. — *Н. Б.*)!.. Мусин-Пушкин ее запретил и даже удивлялся дерзости так говорить о Гоголе — «лакейском писателе», — сообщил он Боткину.

Эта попытка обойти цензурный запрет увенчалась успехом благодаря стараниям Боткина и Феоктистова. 13 марта статья Тургенева, прошедшая через Московский цензурный комитет, появилась в № 32 «Московских ведомостей» за подписью «Т......в».

Тотчас началось следствие по этому делу. Управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт в проекте своего доклада царю посоветовал сделать Тургеневу, «человеку пылкому и предприимчивому», строжайшее внушение. Шеф жандармов А. Ф. Орлов, в свою очередь, предложил учредить за писателем секретное наблюдение.

Такая мера показалась царю недостаточно строгой. На докладе Орлова он наложил резолюцию: «Полагаю, этого мало, за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр...»

16 апреля 1852 года Тургенев был взят под стражу и отправлен на «*съезжую*».

Многочисленные друзья и знакомые Тургенева так усердно навещали его здесь в первые дни ареста, что власти сочли необходимым вовсе запретить свидания с ним.

Перед отъездом на жительство в Спасское Иван Сергеевич устроил в тесном кругу петербургских приятелей на квартире своего дальнего родственника Александра Михайловича Тургенева чтение повести «Муму», написанной им на съезжей.

Анненков, находившийся в числе слушателей, писал: «Истинно трогательное впечатление произвел этот рассказ, вынесенный им из съезжего дома, и по своему содержанию, и по спокойному, хотя и грустному тону изложения. Так отвечал Тургенев на постигшую его кару, продолжая без устали начатую им деятельную художническую пропаганду по важнейшему политическому вопросу того времени».

От Петербурга до Москвы Тургенев ехал по железной дороге, открытой незадолго до его ссылки. Петербургский полицмейстер подпиской обязал писателя следовать в Орловскую губернию, нигде не задерживаясь, однако Тургенев несколько затянул

пребывание в Москве, где успел повидаться со многими знакомыми и совершить вместе с молодым историком Забелиным, замечательным знатоком древней Москвы, экскурсии по Кремлю.

Поселившись по приезде в Спасское во флигеле, Иван Сергеевич в первые месяцы предавался чтению, отдыху и охоте, наслаждаясь тишиной, уединением, покоем.

Случившееся с ним не огорчало его. Он говорил Аксаковым, что благодарен судьбе за то, что высидел месяц в части:

— Мне удалось взглянуть там на русского человека со стороны, которая была мне мало знакома до тех пор.

В деревне он перечитал все сочинения Гоголя и принялся за книги по русской истории, русскому эпосу, изучал летописи, песни, сказки и предания, стремясь вникнуть в особенности национального характера, быта и обычаев родного народа, который представлялся ему самым загадочным и самым изумительным из всех живущих на свете народов.

Некоторое время Тургенев вовсе не брался за перо, не пробовал ничего писать, потому что прежняя манера письма решительно перестала удовлетворять его. От миниатюр, очерков, рассказов и драматических эскизов он должен был перейти вскоре к большим полотнам, к обобщающим картинам жизни современного ему общества. Но такой переход не мог совершиться быстро.

Еще за год до ареста он говорил друзьям, что с «Записками охотника» покончено. «Надобно пойти другой дорогой, — писал он теперь Анненкову, — надобно найти ее и раскланяться навсегда со старой манерой. Довольно я старался извлекать из людских характеров разводные эссенции, чтобы влить их потом в маленькие скляночки... Но вот вопрос: способен ли я к чему-нибудь большому, спокойному! Дадутся ли мне простые, ясные линии!»

Напрасно Боткин убеждал Тургенева, что каждой из его миниатюр можно любоваться, как золотыми изделиями Челлини, и хотел, чтобы он как мож-

но дольше задержался на счастливо найденной форме полурассказов-полуочерков из деревенского быта. Сам писатель смотрел на дело иначе, считая все это уже пройденным этапом, к которому не могло быть возврата.

Отдельным изданием «Записок охотника» он хотел подвести итог раннему периоду своего творчества. Для выхода книги в свет все уже было подготовлено — она успела благополучно миновать цензуру еще до ареста и ссылки Тургенева. Повременив несколько с печатанием ее, Тургенев и Кетчер, которому он передал право на издание «Записок», решили, наконец, летом 1852 года выпустить их в свет.

Выход этой книги стал настоящим общественным событием. Антикрепостнический характер «Записок охотника» современники почувствовали еще при самом зачине их, но с особенной остротой они ощутили это по выходе сборника, объединившего рассказы, рассеянные по отдельным номерам журнала на протяжении нескольких лет.

Перечитав все рассказы в отдельном издании, Иван Аксаков высказал Тургеневу удивление, каким образом могла такая книга беспрепятственно миновать цензурные инстанции: «Это стройный ряд нападений, целый батальный огонь против помещичьего быта».

Тревога официальных кругов по поводу вредного влияния «Записок охотника» на умы читателей нашла отражение в секретном расследовании обстоятельств, при которых появилось отдельное издание. В докладной записке министра просвещения царю говорилось, что значительная часть помещенных в книге рассказов имеет «решительное направление к унижению помещиков, которые представляются вообще или в смешном и карикатурном, или, еще чаще, в предосудительном для их чести виде».

Цензор Львов, разрешивший издание книги, был отстранен от должности, а тот, кто производил расследование, с цинической откровенностью спрашивал: «Полезно ли доказывать нашему грамотному народу, что однодворцы и крестьяне наши, которых автор

опоэтизировал, находятся в угнетении, что помещики наши ведут себя неприлично и противозаконно, что сельское духовенство раболепствует перед помещиками, что исправники и другие власти берут взятки, или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше?»

Впечатление от рассказов было тем сильнее, что Тургенев писал обо всем этом без нажима, без подчеркивания, умело оттеняя основную мысль не пояснениями, а чисто изобразительными средствами. В основе его творческого метода лежало убеждение, что художник должен побеждать *своим* оружием, *своими* средствами. Дело писателя создать образ, воздерживаясь от объяснений, от навязывания читателю своих мнений и выводов, утверждал он. Тенденция сопряжена со слабостью техники, она признак незрелости. Это — работа суровой ниткой. Когда автор сам чувствует, что он не сумел убедить *образом,* он спешит разъяснить, что должен был означать его образ.

Эту особенность тургеневской манеры письма сразу почувствовал и отметил его современник — поэт Ф. И. Тютчев. Он прочитал «Записки охотника» вскоре после того, как они вышли. «В них столько силы жизни и замечательной силы таланта, — писал он. — Редко соединялись в такой степени и в таком полном равновесии два трудносочетаемых элемента: сочувствие человечеству и артистическое чувство. С другой стороны, не менее замечательное сочетание самой интимной реальности человеческой жизни и проникновенного понимания природы во всей ее поэзии».

Секрет равновесия, о котором говорит здесь Тютчев, заключался как раз в творческом методе Тургенева. В его рассказах не было гневных тирад против ужасов крепостного права, но какая-нибудь незаметно и непринужденно введенная в рассказ деталь заставляла читателя очень остро чувствовать и трагизм рабского положения крестьян и моральное превосходство их над угнетателями.

«Я рад, что эта книга вышла, — заметил сам Тургенев. — Мне кажется, что она останется моей

лептой, внесенной в сокровищницу русской литературы».

В книге была дана целая галерея портретов, набросанных уверенной рукой тонкого художника, знающего тайны подлинного мастерства.

В ней были широко охвачены социальные слои и прослойки тогдашней русской провинции от именитых бар до бездомных бродяг. Помещики богатые, помещики средней руки, разорившиеся владельцы имений, перешедшие на положение приживальщиков и шутов у имущих, однодворцы, крепостные и дворовые, дворецкие, бурмистры, старосты, десятские, лесники, рядчики, конторщики, лекари, купчики, барышники, исправники, становые, смотрители, целовальники, половые, ямщики, форейторы, кучера, камердинеры, лакеи.

Такого богатства и разнообразия «типажа» русская литература до книги Тургенева еще не знала. Прежние писатели-прозаики скупо и редко рисовали типы крестьянок и деревенских детей. Рассказами «Свидание», «Ермолай и мельничиха», «Бежин луг», «Живые мощи» Тургенев восполнил и этот пробел.

Тематика рассказов в «Записках охотника» связана с охотой лишь чисто внешним образом. В некоторых из них — «Однодворец Овсяников», «Татьяна Борисовна и ее племянник», «Певцы», «Петр Петрович Каратаев», «Гамлет Щигровского уезда» — об охоте вообще ничего не говорится. В других — две-три слова, две-три фразы, употребленные автором как вступление для развития действия: «Я возвращался с охоты», «Мы отправились на тягу» и т. д. И только один очерк («Лес и степь») весь целиком посвящен охоте.

Условность самого названия книги, отнюдь не охватывающего все многообразие и глубину ее содержания, становится еще более очевидной, когда сравниваешь «Записки охотника» Тургенева с книгой его старшего современника — С. Т. Аксакова.

По случайному стечению обстоятельств обе они появились почти одновременно. Но они не исключали одна другую, не дополняли друг друга и не соперни-

ЗАПИСКИ

ОХОТНИКА.

сочинение

Ивана Тургенева.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1852.

Другу З. Н. Мухортову
на память
старинной пріязни
отъ
автора.

Титульный лист первого издания «Записок охотника» с дарственной надписью З. Н. Мухортову.

чали между собой. Это были две совершенно различные книги, причем аксаковские «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» по строгой определенности темы и были как раз записками *охотника*.

Эта книга не сходила с письменного стола Тургенева с первого дня его приезда в деревню. Он собирался писать критический разбор ее для журнала «Современник» и медленно, с истинным наслаждением перечитывал отрывок за отрывком, страницу за страницей.

Но от написания статьи его все отвлекала сама ружейная охота, дальние поездки за сто пятьдесят — двести верст в соседние губернии — то за тетеревами в Козельск и в Жиздру, то за болотной дичью в Карачев и Епифань.

Страсть к охоте сближала Тургенева со стариком Аксаковым. Правда, Аксаков перестал охотиться почти четверть века тому назад, но ко всему, что касалось охоты, относился по-прежнему с самым живым интересом. И знал он ее во всех тонкостях, как никто!

Вот почему с таким удовольствием сообщал Сергею Тимофеевичу Тургенев, сколько в течение года удалось убить ему «на свое ружье» вальдшнепов, тетеревов, дупелей, куропаток, перепелов, коростелей, уток, гаршнепов и куликов.

Делу время, а потехе час... Когда внезапно наступившая ранняя зима отрубила, как топором, охоту, Тургенев отдался работе и прежде всего приступил к статье. Он придал ей форму «Письма к одному из издателей «Современника», чтобы она лилась свободно и непринужденно, как разговор охотника с охотником. Ведь этот издатель был поэт Некрасов, с которым Тургенев также всегда делился известиями о своих успехах на охоте.

«В течение нынешнего лета Вы не однажды напоминали мне, любезный Николай Алексеевич, обещание мое поговорить подробнее в Вашем журнале о прекрасной книге С. Аксакова; я до нынешнего дня не мог сдержать своего слова: как настоящий охотник — охотник душою и телом — я почти все это

время не выпускал ружья из рук, а до пера не касался вовсе.

Но теперь у нас зима; второго октября ударил первый мороз, а третьего октября с утра поднялась снеговая вьюга и до сих пор не прекращается; поля вдруг побелели; долго охотиться нет возможности; на дворе, говоря словами русской песни: кутит, мутит, в глаза несет; неделю тому назад я еще стрелял вальдшнепов десятками, а теперь с трудом убьешь парочку: «толкнули» их, как выражаются охотники, эти жестокие ранние холода...

Сидя в четырех стенах своей комнаты, вспомнил я о моем обещании: я не мог охотиться, но мысли мои все еще были заняты охотой; я с жадностью взялся за перо, и вот пишу для «Современника» критику «Записок оренбургского ружейного охотника...»

«...Что за прелесть эта книга! — восклицает Тургенев. — Сколько в ней свежести, грации, наблюдательности, понимания и любви природы!..»

Как подкупающе просты и безыскусственны, точны и тонки наблюдения Аксакова и каким мастерством отличаются его описания.

«Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого — свобода и точность выражения одинаково замечательны».

Статья заканчивалась пожеланием, чтобы охота, которой «тешились и наши прадеды на берегах широких русских рек, и герой народных баллад, стрелок Робин Гуд, в веселых зеленых дубовых рощах Старой Англии, и много добрых людей на всем земном шаре, долго бы еще процветала в нашей родине!..»

Скуку уединенной жизни в деревне разнообразили иногда приезды гостей. Много времени отдавал Тургенев шахматам. Играл охотно с соседями, но если не удавалось почему-либо заполучить партнера, то садился один за шахматную доску разбирать по книгам партии мастеров, находя в этом настоящее наслаждение и чувствуя, что от упражнений этих и сам «достиг некоторой силы».

Хозяйственные заботы мало интересовали Тургенева. Он не только не умел позаботиться как следует о прочном устройстве своих материальных дел, но не всегда способен был даже обсудить самые простые практические вещи. «Что делать, — заметил он в одном из писем, коснувшись вопроса об управлении имением, — всего не осилишь — и дай бог, чтобы в своем-то собственном ремесле не делал промахов на каждом шагу». Дела по имению вел его петербургский приятель Н. Тютчев, поселившийся со своей семьей в Спасском по просьбе Тургенева. Благодаря Тютчевым музыка часто раздавалась под сводами флигеля в Спасском. Жена Тютчева вместе со своею сестрой играла в четыре руки произведения Бетховена, Моцарта, Мендельсона и Вебера — любимых композиторов Тургенева.

Неподалеку от Мценска, в имении Новоселки, проводил отпуск служивший в кирасирском полку поэт А. Фет, с которым вскоре завязались у Тургенева дружеские отношения, скрепленные общей любовью к поэзии и ружейной охоте.

— Ох, напрасно ты заводишь это знакомство! — говорил отец Фету, узнав, что тот собирается в Спасское. — Ведь ему запрещен въезд в столицы, и он под надзором полиции. Куда как неприглядно.

Часто приезжал к Ивану Сергеевичу близкий сосед по имению молодой помещик, лет двадцати пяти, Василий Каратеев, большой энтузиаст, страстный любитель музыки и литературы, отличавшийся своеобразным юмором и прямотой. Другим соседям он не нравился за вольнодумство и насмешливый язык, но Тургенев с удовольствием проводил время в его обществе, играл с ним в шахматы и на бильярде, подолгу беседовал, прогуливаясь по парку.

Однажды посетил Спасское М. С. Щепкин. Он привез с собою и прочел Тургеневу новую комедию Островского «Не в свои сани не садись», незадолго до того поставленную в Малом театре в Москве.

Приезжали к нему славянофилы Иван Аксаков, Петр Киреевский, знаток и ревностный собиратель русских песен.

Из далекого Куртавнеля приходили письма, ожидавшиеся всегда с волнением и радостью. Отвечая на одно из таких писем, Иван Сергеевич восклицал:

«Дорогой, добрый друг, умоляю Вас писать мне чаще... Я сейчас прикован к деревне на неопределенное время... ни музыки, ни друзей — да что! нет даже соседей, чтобы коротать вместе время. Что же остается мне? Работа и воспоминания. Но чтобы работа была легка, а воспоминания менее огорчительны, мне нужны Ваши письма с отголосками счастливой деятельной жизни, с ароматом солнца и поэзии, который они мне приносят...»

Вскоре Полина Виардо, уступая, может быть, просьбам Ивана Сергеевича, предприняла поездку на гастроли в Петербург и в Москву *, и Тургенев, пренебрегая запретом на въезд в столицы, тайно отправился в двадцатых числах марта 1853 года в Москву.

Через много лет Тургенев, вспоминая об этой поездке, рассказывал своим знакомым забавный случай, приключившийся с ним в Москве.

— Когда я был сослан в деревню, раз зимой необходимо мне было во что бы то ни стало съездить в Москву... Как быть? Достал я фальшивый вид на имя купца и отправился. В Москве нанял комнату у вдовы-купчихи. Конечно, дома я не сидел, приходил только ночевать. Раз воротился я из театра и собрался ложиться спать. Вдруг является моя хозяйка с сыном и — бух в ноги. Что такое?! — «Батюшка, — восклицает, — возьми ты моего Гришку на выучку!»

И сына толкает: «Кланяйся, дурак, в ноги!.. Возьми, батюшка, выучь всему: как жить, как дело вести. Полную власть тебе над ним даю! Хоть бей, хоть голодом мори, только выучь!»

И опять в ноги, и сын в ноги. Парень он был большущий, откормленный, лицо тупое. Что же оказалось? Долго она ко мне присматривалась: что я за

---

* 17 февраля Боткин писал Тургеневу из Москвы: «Здесь слухи, что мадам Виардо будто бы поедет к тебе в деревню. Мне это что-то не верится, но для тебя бы очень этого желал».

купец такой? Дел явных никаких не веду, дома не бываю, ко мне никто не приходит, чем торгую — неизвестно, на других купцов не похож. И вообрази она, что я такой мошенник искусный, каких свет не производил. А сын у нее был малый простой. Вот она и придумала отдать его мне на выучку, чтобы я его мошенничать приучил. Насилу я от нее отделался...

1 апреля Тургенев уже снова был в Спасском... Виардо, проследовавшая из России в Лондон, сама рассказывала там Герцену об этом тайном путешествии его друга в столицу.

Пребыванием в деревне Тургенев не слишком тяготился, все больше и больше входя в работу и расширяя постепенно круг своих наблюдений над жизнью провинциального дворянства, чиновников и крестьян. Эти новые знакомства позволили ему, как он сам говорил, стать ближе к современности, к народу и подметить те стороны русского быта, которые при обыкновенном ходе вещей, может быть, ускользнули бы от его внимания.

За короткое сравнительно время здесь были написаны им повести «Постоялый двор», «Два приятеля» и первая часть оставшегося незаконченным романа «Два поколения».

Роман этот был задуман еще до ссылки, но приступил к нему Тургенев лишь в конце 1852 года.

Его литературные друзья — Анненков, Аксаковы, Боткин, которым он посылал рукопись «Двух поколений», отметили в ней отдельные удачные места, но в целом не одобрили ее. С критикой их автор согласился. Только одна глава из романа была напечатана потом Тургеневым под названием «Собственная господская контора».

Новая форма не легко и не сразу далась писателю. Менялся не только жанр, менялась и тематика его произведений.

К этому времени относится интересный спор Тургенева с Константином Аксаковым как раз по вопросу о темах будущих произведений. Если Боткин «жалеет... прежнюю манеру» Тургенева, то Аксаков, на-

против, одобряет его отход от «Записок охотника», но считает, что писатель должен углублять разработку крестьянской темы.

Константин Аксаков развивал перед Тургеневым мысль, что единственным достойным объектом творчества может быть и должен быть крестьянин. У «культурных слоев общества», у этих «людей-обезьян», лишенных самобытности, достойных только смеха, нет никакой действительной жизни, говорил Аксаков. «Вся сила духа в самостоятельности; в наше время у нас, в жизни, она только в крестьянине».

«Муму» и «Постоялый двор» казались поэтому Аксакову высшим достижением Тургенева на переходном этапе, и он стремился обратить его в свою веру, считая, что это раскроет перед ним широкие горизонты и, может быть, тогда Тургенев создаст могучий образ крестьянина в желательном славянофильству духе.

Но славянофильское понимание задач литературы было чуждо Тургеневу. «Я не могу, — писал он Аксакову, — разделять Вашего мнения насчет людей-обезьян... Обезьяны добровольные и главное — самодовольные — да... Но я не могу отрицать ни истории, *ни собственного права жить*... Здесь именно та точка, на которой мы расходимся с Вами в нашем воззрении на русскую жизнь и на русское искусство — я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы находите успокоение и прибежище эпоса...»

В другом письме он повторяет: «По моему мнению, трагическая сторона народной жизни — не одного нашего народа — каждого — ускользает от Вас, между тем как самые наши песни громко говорят о ней!»

Аксаков не знал еще, что Тургенев в это время уже пришел к выводу о необходимости проститься с темой деревни. «Мужички совсем одолели нас в литературе, — писал он Анненкову. — Оно бы ничего, но я начинаю подозревать, что мы, так много возившиеся с ними, все-таки ничего в них не смыслим. Притом

все это по известным причинам (то есть по цензурным условиям. — *Н. Б.*) начинает получать идиллический колорит».

Тургенев понимал, что, во-первых, недостаточное знание крестьянского быта и, во-вторых, невозможность шире и подробнее писать об уродствах крепостного строя препятствуют всестороннему и реалистическому изображению жизни русского крестьянина, а идеализировать ее он решительно не хотел.

Доводы Константина Аксакова не могли убедить писателя. Героями своего первого романа (как и последующих) он избрал людей «культурного слоя» общества.

Трудно сказать, в чем причина неудачи «Двух поколений». Может быть, не напрасно было опасение Тургенева, высказанное в одном из писем: «Попал ли в тон романа — вот что главное. Тут уж частности, отдельные сцены не спасут сочиненья — роман не растянутая повесть, как думают иные».

Роман остался незавершенным. Но недалеко уже было то время, когда Тургенев выступит перед читателями с романами «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», в которых он, по собственному его определению, стремился «добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет the body and pressure of time*, и ту быстро изменявшуюся физиономию русских людей культурного слоя», который преимущественно служил предметом его наблюдений.

---

* Самый образ и давление времени.



ГЛАВА XIX

КРУГ «СОВРЕМЕННИКА». НЕКРАСОВ



С середины 1853 года Россия втягивалась постепенно в военный конфликт с Турцией, следствием которого явилась затем война с коалицией европейских держав, расшатавшая устои крепостнического строя и с непререкаемой ясностью вскрывшая гнилость и бессилие царизма.

Трудно было судить о ходе развертывающихся событий по скудным официальным известиям, печатавшимся в газетах. Разноречивые слухи и смутные толки, доходившие до глухих уездных уголков, ничуть не проясняли картины.

Война с Турцией уже разгоралась, когда Тургенев в Спасском получил 23 ноября извещение от шефа жандармов Орлова об окончании ссылки и о позволении въезжать в столицы.

В тот же день он отправил нарочного к своему дяде по отцу с просьбой принять на себя дела по

имению и стал собираться в путь, предвкушая радость свидания с друзьями.

13 декабря литераторы, составлявшие круг «Современника», отпраздновали приезд автора «Записок охотника» шумным обедом с веселыми тостами, речами и экспромтами.

Зима прошла в столице в частых встречах с Некрасовым, Григоровичем, Панаевым, Анненковым, Боткиным и даже с Фетом, который тоже нежданно-негаданно приехал из орловской глуши. Он получил перевод в лейб-уланский полк и часто наезжал теперь в Петербург. Они встретились как старые знакомые, и Фет стал чуть ли не ежедневно заходить к нему по утрам на Большую Конюшенную.

Однажды, зайдя в гостиницу, где остановился Фет, Иван Сергеевич застал его за письменным столом: поэт только что дописал последние строки стихотворения «На Днепре в половодье». Выслушав эти стихи, Тургенев сказал:

— Я боялся, что талант ваш иссяк, но его жила еще могуче бьет в вас. Пишите и пишите!

В судьбе поэта дружба с Тургеневым сыграла немалую роль. Иван Сергеевич ввел Фета в круг «Современника», тщательно редактировал его стихи, помогал ему оттачивать их и неустанно совершенствовать поэтическое мастерство. Он употребил много усилий и труда, чтобы подготовить к печати третий сборник стихотворений Фета.

В конце мая Тургенев поселился на даче в небольшом домике колониста под Петергофом по соседству с Некрасовым и Панаевым.

Часто высказывал Тургенев своим приятелям сожаление, что ему так и не удалось свить своего гнезда. Порою желание обрести это гнездо казалось ему осуществимым. После возвращения из ссылки была в жизни Тургенева встреча, сулившая ему, казалось бы, новую жизнь. Летом 1854 года он увлекся Ольгой Александровной Тургеневой, дочерью своего дальнего родственника, на квартире которого происходило в 1852 году чтение повести «Муму».

Ей было восемнадцать лет, она отличалась ред-

кой добротой и привлекательностью, ясностью ума и музыкальностью.

Одно время Тургенев думал сделать ей предложение и делился своими намерениями с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Но потом «все эти планы упали в воду...».

По-видимому, давняя и глубокая привязанность Ивана Сергеевича к Полине Виардо возобладала все же над его чувством к Ольге Александровне.

Об Ольге Тургеневой, которой так и не суждено было стать спутницей Ивана Сергеевича, сохранились лишь очень скупые, отрывочные сведения. Известно, что она тяжело пережила разрыв с ним. Впоследствии она вышла замуж за С. Н. Сомова и, бывая с ним за границей, виделась в Париже с Иваном Сергеевичем. Судя по всему, он всегда сохранял самые светлые, поэтические воспоминания о первоначальной поре их знакомства.

Если справедливо предположение исследователей жизни и творчества Тургенева, что в романе «Дым» он изобразил Ольгу Александровну в лице невесты Литвинова — Татьяны Петровны, то, может быть, в сцене встречи Литвинова с невестой в Бадене перед разрывом отражены в какой-то мере и переживания самого автора «Дыма». «Невольное умиление стиснуло его сердце: безмятежное выражение этого честного, открытого лица отдалось в нем горьким укором. «Вот ты приехала сюда, бедная девушка, — думал он, — ты, которую я так ждал и звал, с которою я всю жизнь хотел пройти до конца, ты приехала, ты мне поверила... а я... а я...»

Сообщая в 1872 году Анненкову о смерти Ольги Александровны, Тургенев писал: «Одним прекрасным, чистым существом на свете меньше. Многое мне вспомнилось, вспомнилось горько. Набегают, набегают тени на жизнь, и падают они не на одно настоящее и будущее, но и на прошедшее».

Летом жители столицы были взволнованы известием о том, что английский флот показался в Бал-

тийском море и продвигается к Кронштадту. С тревогой ждали все бомбардировки этого форпоста...

Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне...
Пожар войны полмира обхватил... —

писал Некрасов в стихотворении «14 июня 1854».

Как раз в эти дни поэт вместе с Тургеневым и Панаевым ездил на Красную горку смотреть на английские корабли в отдалении. Сорокапушечные фрегаты, шедшие под парусами, были похожи на громадных хищных птиц, раскинувших крылья над волнами.

...Медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И, наконец, приблизились — стоят
Пред укрепленной русскою твердыней...

Через месяц после объявления правительствами Англии и Франции войны России в Париже в апреле 1854 года вышли в свет тургеневские «Записки охотника» под произвольно измененным названием «Воспоминания русского барина, или картина современного положения дворян и крестьян в русской провинции».

Этим изданием, несмотря на серьезнейшие изъяны перевода, было положено начало европейской известности Тургенева.

Первоначально французские буржуазные журналисты пробовали использовать его произведения лишь на потребу дня. Их, собственно, не интересовали глубоко и по-настоящему ни русская литература, ни самая книга, ни ее автор. Они рассматривали ее только как некий обличительный документ, свидетельствующий о непрочности и шаткости государства, в котором дворянская верхушка погрязла в пороках, а крестьянские массы охвачены недовольством. Такую страну не может не ждать поражение, заявляли журналисты.

Обстоятельную и более разностороннюю оценку книги дал известный французский писатель Проспер

Мериме, выступивший в июле 1854 года в журнале «Revue des deux mondes» со статьей «Литература и крепостное право в России», посвященной «Запискам охотника».

Все же и на этой статье в какой-то мере отразились военные настроения, хотя Мериме отдал должное художественным достоинствам рассказов и указал на особенности писательских приемов Тургенева. «Эти двадцать две жанровые картинки, почти одинаково обрамленные, отличаются искусным разнообразием композиции и тона повествования. Они тщательно обработаны, иногда даже с излишнею кропотливостью и дают в целом очень точное понятие о социальном состоянии России, — писал Мериме. — Я полагаю, что Тургенев, которого я не имею чести знать лично, — молодой писатель и что его «Записки охотника» являются только прелюдией к более серьезному и более значительному произведению» *.

Впоследствии, когда слава Тургенева в Европе, уже свободная от всяких внелитературных привнесений, окончательно утвердилась, русский эмигрант, приятель Герцена, Н. Сазонов, в статье, написанной для французских читателей, напомнил о первом переводе «Записок охотника».

«Имя Тургенева, — писал он, — стало впервые известным во Франции во время гигантского севастопольского конфликта... Сначала его читали, полагая найти у него, как возвещали в иных объявлениях, «разоблачение русских тайн», — тех ужасов, которые творились в этой варварской стране, безумной до такой степени, что она решилась противостоять соединенным силам Англии и Франции. Затем у Тургенева нашли другое — поразительную правдивость в изображении нравов народа некультурного, но полного нравственной силы и природного ума, увидели воспроизведение картины злоупотреблений крепостного права во всей их безобразной наготе, увидели и близкую возможность освобождения. Книга эта, которая

---

* Вскоре Тургенев по приезде в Париж познакомился и подружился с Проспером Мериме.

должна была, по расчетам, сыграть на руку кампании против России, вместо этого заставляла любить эту страну, освещая ее полным светом, обнаруживая то, что до сих пор было неизвестно, — русский народ, то есть существо, до сих пор знакомое лишь поверхностно. Тургенев оказал этим большую услугу своему отечеству».

Так росла известность Тургенева. Неудивительно, что в литературном мире на него смотрели теперь как на одного из самых талантливых и крупных современных писателей, преемника Гоголя.

Некрасов в нем видит главную опору журнала. В его письмах к Ивану Сергеевичу мелькают просьбы о поддержке «Современника», ясно показывающие, что имя Тургенева стало дорого и широким читательским кругам: «...я слезно прошу тебя написать на 1-ю или 2-ю книжку рассказ, хоть небольшой, или что ты хочешь, да чтоб было твое имя. А то чем же мы начнем год?»

В редакции «Современника» Тургенева ценят не только как крупнейшего беллетриста. Чернышевский вспоминал впоследствии, что в это время Тургенев имел там «большое влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или романы заслуживали быть напечатанными».

Более того: в 1855 году Некрасов, предполагая уехать за границу для лечения, хотел передать именно Ивану Сергеевичу свои дела по журналу. «Тургенев займет мою роль в «Современнике», — сообщал он Льву Толстому.

С Некрасовым связывали Ивана Сергеевича тогда не одни литературные интересы. Отношения их приобрели характер душевной близости. Николай Алексеевич просил своего друга быть с ним откровенным, ничего не скрывать от него: «Я дошел в отношениях к тебе до той высоты любви и веры, что говаривал тебе самую задушевную мою правду о себе. Заплати мне тем же». Встречаясь с ним, Некрасов прочитывал ему каждое свое новое стихотворение, а если они бывали в разлуке, поэт посылал Тургеневу на суд свои произведения. «Я знаю, как

у тебя тонок глаз на эти вещи...», «кроме тебя, я никому не верю».

Молодой Тургенев высоко ценил поэзию Некрасова. Прочитав еще в 1847 году стихотворение «Еду ли ночью по улице темной», он говорил, что оно совершенно свело его с ума, что он денно и нощно твердит это удивительное произведение и выучил его наизусть. Он находил, что некоторые стихотворения Некрасова «пушкински хороши». А эти слова в устах Тургенева были наивысшей похвалой.

Сборник стихотворений Некрасова, изданный в 1856 году, был составлен, конечно, не без участия Тургенева.

Он настойчиво советовал Николаю Алексеевичу написать свою биографию: «Твоя жизнь именно из тех, которые должны быть рассказаны, потому что представляет много такого, чему не одна русская душа глубоко отзовется».

Осенью 1854 года, уезжая в Спасское, Тургенев уговорил Некрасова отправиться вместе с ним. Он хотел, чтобы поэт отвлекся от преследовавших его мрачных мыслей — Некрасов в это время стал постепенно терять голос из-за болезни горла. В стихах его все явственнее проступали грустные ноты. Тургенев опасался, что если Некрасов уедет отдыхать в свою ярославскую деревню и будет жить там в одиночестве, то непременно заскучает и не на шутку расхандрится.

— Поедем охотиться в Спасское, нечего унывать, ты еще многих стариков переживешь, — сказал он ему.

Из Спасского на охоту друзья спозаранку отправлялись каждодневно вместе, запасшись провизией и порохом, Некрасов с Каштаном, осторожным и плутоватым, как лисенок, а Иван Сергеевич со своей любимицей Дианкой.

Подолгу бродили они в осеннем тихом лесу, ища вдоль опушек вальдшнепов.

В один из таких дней на охоте Некрасов с трудом прочитал Тургеневу болезненным, приглушенным голосом начало рассказа в стихах:

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,
Пахарь ли песню вдали запоет —
Долгая песня за сердце берет;
Лес ли начнется — сосна да осина...
Не весела ты, родная картина!
Что же молчит мой озлобленный ум?
Сладок мне леса знакомого шум.
Любо мне видеть знакомую ниву —
Дам же я волю благому порыву
И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!
Злобою сердце питаться устало —
Много в ней правды, да радости мало...

Отрывок понравился Тургеневу. Это было вступление к поэме «Саша», очень близкой по духу и по мысли его первому роману, замысел которого уже созревал в сознании писателя.

В герое поэмы, Агарине, были черты, роднившие его с Дмитрием Рудиным.

Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно и сродно,
Только дающая силу и власть
В слове и деле чужда ему страсть.
Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись — комара не обидит!
Да говорят, что ему и любовь
Голову больше волнует — не кровь...

Любовь дикарки Саши к Агарину, ее беззаветная вера в него, пробужденная пылкими речами любимого человека, и последовавшее затем крушение ее надежд во многом схожи с развитием чувства Натальи Ласунской к Рудину.

Когда Некрасов полушепотом читал Тургеневу на привале наброски этой поэмы, она, как и «Рудин», была еще далека до завершения. И лишь по прошествии почти полутора лет оба произведения появились одновременно в «Современнике», причем поэма Некрасова была посвящена И...у Т......ву.

По-прежнему часто наезжал в Спасское Каратеев. Вечерами он, Некрасов и хозяин дома, сходясь в гостиной, оживленно обсуждали военные события.

С театра войны приходили недобрые вести, вызывавшие тревогу. Несмотря на поразительное самоотвержение и мужество русских солдат, исход войны становился ясен, как ясны были и причины надвигавшегося поражения, — они коренились в общественно-политическом укладе царской России.

Вскоре Каратееву пришлось отправиться в Крым. Дворяне Мценского уезда, невзлюбившие вольнодумца, сговорились упечь его и выбрали в офицеры Орловского ополчения, хотя он был заведомо не годен к военной службе по состоянию здоровья.

Узнав о своем назначении, Каратеев первым делом приехал к Ивану Сергеевичу. Он вошел к нему со словами:

— Вы знаете, что я скоро уезжаю; я оттуда не вернусь, я этого не вынесу, я умру там.

Тургенев стал уверять его, что эти мрачные предчувствия неосновательны, что не пройдет и года, как они снова встретятся. Но Каратеев и слушать ничего не хотел. Они пошли бродить по парку, а когда вернулись, Каратеев сказал вдруг Тургеневу:

— У меня до вас просьба. Вы знаете, что я провел несколько лет в Москве, учась в университете. Со мной произошла там история, которую мне захотелось рассказать и самому себе и другим. Я попытался это сделать, но убедился, что у меня нет никакого литературного дара. Возьмите эту тетрадку. Так как я уверен, несмотря на все ваши дружеские утешения, что не вернусь из Крыма, то, будьте так добры, воспользуйтесь этими набросками и сделайте из них что-нибудь, что не пропало бы бесследно, как пропаду я! Не дайте всему этому умереть!

В тот же вечер, по отъезде Каратеева, Тургенев прочитал оставленную тетрадь и очень заинтересовался описанной в ней автобиографической историей.

Предчувствия Каратеева сбылись. Он умер, заразившись сыпным тифом на стоянке близ Азовского моря, где было размещено в землянках Орловское ополчение, не видевшее во все время войны

ни одного вражеского солдата и все же потерявшее от различных эпидемий более половины своего состава.

Но повесть Каратеева не пропала бесследно. Через несколько лет Тургенев положил в основу сюжета романа «Накануне» то «истинное происшествие», которое неумело и слабо было описано в тетради, оставленной ему его покойным молодым другом.

Обсуждая в Спасском дела «Современника», Некрасов и Тургенев часто вспоминали о новом сотруднике, дебютировавшем в журнале повестью «Детство». Это был Лев Толстой, приславший ее из армии и укрывшийся под инициалами *«Л. Н.»*.

Еще тогда Некрасов обращал внимание Ивана Сергеевича на автора повести — «это талант новый и, кажется, надежный».

«Понукай его писать, — отвечал Тургенев, — скажи ему, если это может его интересовать, что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему».

Молодому писателю были, конечно, очень лестны похвалы Тургенева, произведения которого он хорошо знал. Л. Толстой отмечал тогда в своем дневнике, что «как-то трудно писать после него».

Тургенева так заинтересовал дебют Льва Толстого, что он стал наводить справки об авторе «Детства». Ему было известно, что в двадцати верстах от Спасского, в имении Покровское, живут какие-то Толстые. То была семья родной сестры Льва Николаевича, Марьи Николаевны, которая была замужем за своим дальним родственником — Валерьяном Толстым.

В декабре 1852 года тетка Льва Толстого, Т. Ергольская, писала ему: «Твой литературный дебют произвел много шума и волнения среди соседей Валерьяна: все интересуются знать, кто этот новый писатель, выступивший с таким успехом; более всех заинтересован Тургенев, автор «Записок охотника»; он расспрашивает всех и каждого, нет

ли у Мари брата на Кавказе, который пишет, и говорит: если этот молодой человек будет продолжать так, как он начал, он пойдет далеко».

Вскоре Некрасов известил Ивана Сергеевича о намерении Льва Толстого посвятить ему, Тургеневу, свою повесть «Рубка леса». «Форма в этих очерках совершенно твоя, даже есть выражения, сравнения, напоминающие «Записки охотника». А один офицер так просто Гамлет Щигровского уезда в армейском мундире. Но все это далеко от подражания, схватывающего одну внешность».

И вот теперь в Спасском они говорили о новой повести «Отрочество», присланной Львом Николаевичем в «Современник». Она должна была появиться в десятой книжке журнала. Литераторы, близко стоявшие к редакции, уже успели прочитать ее и единодушно восторгались ею, отмечая самобытность и поэтичность этого произведения.

Некрасов заявил, что такие места в «Отрочестве», как описание летней дороги, картина грозы, рассказ о переживаниях наказанного мальчика показывают, что повести Толстого суждено навсегда остаться в литературе.

Уезжая из Спасского, поэт обещал Тургеневу тотчас же выслать из Петербурга экземпляр «Современника», в котором помещено «Отрочество».

Тургенев настойчиво просил Некрасова сообщать ему в письмах военные известия:

— Ведь письма все-таки дня на два раньше приходят сюда, чем газеты, — говорил он.

Вскоре к Тургеневу приехал из Покровского познакомиться с ним муж Марьи Николаевны, Валерьян Толстой, а затем Тургенев и сам отправился туда с ответным визитом.

29 октября 1854 года он писал Некрасову: «Я привезу с собою небольшую, но очень недурную повесть Каратеева (которого ты у меня видел) *. По-

* Прежде чем использовать повествование Каратеева для романа «Накануне», Тургенев безуспешно пытался напечатать его в журнале.

знакомился я с Толстым. Жена графа (Валерьяна. — *Н. Б.*) Толстого, моего соседа — сестра автора «Отрочества» — премилая женщина, умна, добра и очень привлекательна. Я узнал много подробностей об ее брате... Видел его портрет. Некрасивое, но умное и замечательное лицо...»

Лев Толстой, находившийся в крымской армии, узнав от родных, что Тургенев приезжал в Покровское, был несказанно обрадован этим и просил передать Тургеневу, что хотя он знает его лишь по повестям и рассказам, но чувствует потребность о многом говорить с ним... *

Наступил 1855 год. Общее внимание было приковано к далекому Севастополю, где шла беспримерная в истории героическая борьба.

В обществе открыто возмущались лживостью официальных реляций, отсутствием надлежащего вооружения войск, алчностью крупных чиновников и помещиков, наживавшихся на военных поставках. Даже люди, придерживавшиеся консервативных взглядов, становились в оппозицию к царскому правительству, приведшему Россию к такому положению, когда никакие жертвы, принесенные народом, уже не могли спасти ее от поражения.

18 февраля столицу облетело известие о внезапной смерти Николая I, последовавшей в самый разгар Севастопольской битвы и воспринятой всеми передовыми людьми в стране как знак неизбежного крушения самодержавно-крепостнического строя.

Чувство ликования и надежды охватило все прогрессивные слои русского общества. Начинался новый подъем освободительного движения. Реакция дрогнула — цензурные ограничения, дававшие пре-

---

* 21 марта 1855 года Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Получил восхитительное письмо от Маши, в котором она описывает свое знакомство с Тургеневым. Милое, славное письмо, возвысившее меня в собственных глазах и побуждающее к деятельности».

жде чувствовать себя на каждом шагу, теперь заметно ослабли.

На арену общественной борьбы вступала революционно настроенная разночинная интеллигенция, выражавшая интересы закабаленного народа.

Весной 1855 года в Петербургском университете состоялась защита диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», которой не давали хода около двух лет.

Она как бы положила начало заметному усилению классового размежевания сил в литературе. Чем острее выдвигалась историей задача освобождения крестьян от крепостного гнета, тем резче и явственней обозначалось это размежевание.

На всем протяжении «мрачного семилетия» (1848—1855) лагерь реакции стремился перечеркнуть заветы Белинского и гоголевские традиции критического реализма, противопоставляя им в различных вариациях теорию чистого искусства, уводившую литературу от жизни народа.

«Современник», руководимый Некрасовым, препятствовал, насколько то было возможно в ту пору, усилиям реакционных критиков, но самую полемику с ними по этим вопросам приходилось вести осторожно и глухо, потому что после дела петрашевцев даже имя Белинского было запрещено упоминать в печати.

Таким образом, свобода действий оставалась, в сущности, лишь за отрицателями идей Белинского и Гоголя. На это неравенство средств и указывал скрыто Некрасов, возражая в «Современнике» критику-славянофилу Аполлону Григорьеву, «знающему твердо, что те, которые бы хотели вступиться за того, на кого он нападает, не имеют в руках своих равного оружия».

Положение осложнялось еще и потому, что Некрасов не мог систематически выступать на страницах своего журнала в качестве критика и тем более теоретика, ибо его призвание заключалось в другом.

А те из сотрудников «Современника», которые могли бы претендовать на звание теоретиков (Ан-

ненков, Боткин, Дружинин), не были последователями Белинского. Напротив, они постепенно все более смыкались с провозвестниками реакционных течений в литературе и искусстве.

До самого прихода Чернышевского в «Современник» в критико-библиографическом отделе журнала не было человека, способного восстановить и развивать дальше в новых условиях традиции Белинского. Некрасов, превосходно понимавший всю важность этих традиций, был одинок, пока рядом с ним не начал работать Чернышевский.

Молодая аудитория Петербургского университета, слушавшая защиту Чернышевским тезисов его диссертации, встретила ее с воодушевлением. Работа эта открыла новую страницу в развитии русской философии и эстетики.

В ней утверждалось, что само понятие красоты не есть нечто раз навсегда данное для всех времен, классов и сословий, и подчеркивалась активная преобразующая роль искусства.

Вскрывая реакционную сущность идеалистических представлений об искусстве и действительности, Чернышевский провозгласил новые взгляды на него, вытекавшие из материалистического мировоззрения и одухотворенные революционным пафосом.

И в диссертации и в критических статьях Чернышевский восставал против искусства, оторванного от жизни народа, и призывал писателей и художников к воспроизведению действительности во всем ее многообразии. Необходимым условием для всякого большого художественного произведения, будь то картина, роман, скульптура или поэма, Чернышевский считал наличие в этом произведении ответа на самые насущные нужды эпохи. Истинный художник, говорил он, в основание своих произведений всегда кладет идеи современные. Писатель должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать вопросы, порождаемые ею, и тогда в его произведениях выразится стремление дать свою оценку, свой живой приговор изображаемым явлениям действительности.

Со свойственной ему проницательностью Некрасов сумел угадать по первым же статьям Чернышевского, что в его лице русская литература обретает достойного продолжателя дела Белинского.

Дружелюбный прием и доверие, оказанные поэтом Чернышевскому, сыграли важную роль и в жизни «Современника», и в развитии передовой русской литературы, и в личной судьбе великого революционного демократа. Критическое дарование его развернулось благодаря этому быстро и полно. Некрасов предоставлял ему все большие и большие возможности определять направление журнала.

Чернышевский оставил неизгладимый след в истории отечественной литературы, хотя критикой, собственно, занимался очень недолго. Встретив впоследствии надежного преемника в лице Добролюбова, Чернышевский с 1857 года стал гораздо реже выступать с литературно-критическими статьями, посвятив свои силы главным образом публицистике, экономике и философии.

С первых же своих шагов в «Современнике» он приступил к разработке животрепещущих тем и вопросов, волновавших широкие круги читателей, защищая принципы реализма и народности и выдвигая требование высокой идейности в литературе и искусстве.

Но прежде чем стать во главе журнала, он должен был преодолеть сопротивление известной части литераторов, группировавшихся вокруг «Современника».

Четкость общественно-политических позиций молодого критика и ясная направленность его эстетических взглядов смутили литераторов не только враждебного стана, но и некоторых либерально настроенных сотрудников некрасовского журнала.

Они с тревогой следили за тем, как росло влияние Чернышевского, и скоро среди них стали раздаваться голоса, обвинявшие Чернышевского в стремлении «перессорить журнал со всеми сотрудниками». Именно так формулировал свое обвинение Дружинин, более других недовольный прямотой, убежден-

ностью и боевым духом критических статей нового сотрудника «Современника».

Первоначально Тургенев относился к нему благожелательно и защищал его перед Григоровичем и Дружининым. Но к диссертации Чернышевского он проявил резко отрицательное отношение, не сумев оценить этого нового слова в материалистической эстетике.

Тургенев не принимал непосредственного участия в известной журнальной дискуссии между Чернышевским и либерально-дворянскими критиками о пушкинском и гоголевском направлениях в литературе. Но он неоднократно высказывался по этим вопросам в переписке с друзьями. Неверно было бы полагать, что он примкнул к лагерю защитников чистого искусства. Тургенев занял промежуточную позицию, он колебался, его отношение к вопросу было все время двойственным. С одной стороны, он отказывался признать правильность эстетической теории Чернышевского; с другой — от Тургенева как будто не ускользнула историческая правота движения шестидесятых годов. В письме к ярому противнику Чернышевского Дружинину он указывал, что Чернышевский «понимает... потребности действительной современной жизни... Я почитаю Чернышевского полезным; время покажет, был ли я прав».

Но вместе с тем он часто был несправедлив и пристрастен к «мужицким демократам». В этой двойственности, клонящейся все же к отрицанию, и сказывался дворянский либерализм Тургенева. Отрицая эстетику Чернышевского, он совершал тягчайшую историческую ошибку. Политические взгляды его были отсталыми по сравнению с взглядами революционных демократов. Он не признал в Чернышевском и Добролюбове замечательных критиков, потому что те были непреклонными борцами за дело крестьянской революционной демократии.

Положение Некрасова как редактора становилось затруднительным. Его связывали давние дружеские отношения с теми, кто выражал теперь недовольство растущим влиянием Чернышевского. Поэт видел, что

историческая правота на стороне последнего, но вместе с тем для него далеко не безразличным был вопрос об участии в журнале таких писателей, как Тургенев, Григорович, Островский.

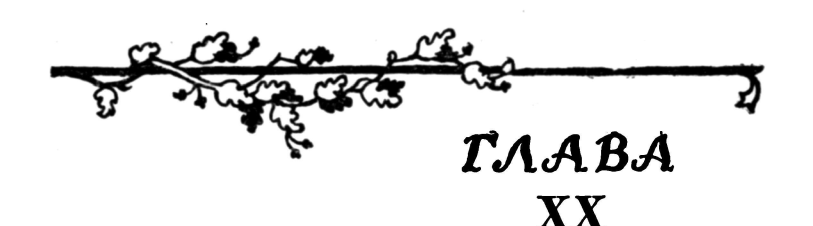
Он понимал, что разрыв с ними может стать неизбежным, если в критико-публицистической части журнала будет осуществляться Чернышевским революционно-демократическая программа, которой они не могли сочувствовать. «Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского» *, — говорит Ленин.

Желая закрепить связь названных писателей с «Современником», редакция заключила с ними обязательное соглашение об исключительном их участии в журнале. Однако оно не принесло желательных результатов.

Через несколько лет идейные противоречия между либералами и революционными демократами завершились окончательным расхождением.

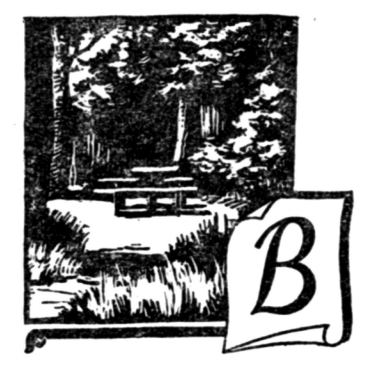
---

* *В. И. Ленин,* Соч., изд. 4-е, т. 18, стр. 287.



ГЛАВА XX

«РУДИН». ЗНАКОМСТВО И СБЛИЖЕНИЕ С Л. Н. ТОЛСТЫМ



Весну и лето 1855 года Тургенев провел в Спасском. Как всегда, с наступлением первых теплых дней его неудержимо потянуло из столицы в деревню. Манила возможность дальних поездок оттуда на охоту на берега Десны, Оки, Жиздры. После таких экскурсий работа за письменным столом шла гораздо успешней и была куда плодотворней, чем обычно.

Соприкосновение с природой, с землей, свидания с родными местами всегда пробуждали в нем творческую энергию. Он часто говорил друзьям, что, отрываясь от шумной городской жизни, он испытывает чувство умиротворения и что вообще настоящие, лучшие качества человеческого сердца ясней и полней раскрываются среди природы.

Здесь и работалось и думалось лучше.

А любимое занятие — охота — было своеобразным проявлением его любви к природе, к чисто поэтической стороне жизни.

Стоит вспомнить начало очерка «Лес и степь», чтобы почувствовать эту власть природы над душой художника, это радостное ощущение трепета жизни во всем: «Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной... Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами... Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает... Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом... Река вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то что летом. Как вольно дышит грудь, как быстро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..»

Поездка на берега Десны длилась на этот раз дней десять, а в середине мая в Спасское, в гости к Тургеневу, приехала шумная компания литераторов — Боткин, Григорович, Дружинин.

Гостили они долго и успели изрядно утомить хозяина.

Катанье на лодках, послеобеденные поездки в лес на длинных дрожках — «разлюли», прогулки верхом, бильярд, кегли, шахматы, вино, нескончаемые литературные споры до рассвета и, наконец, затея с домашним спектаклем, для которого сообща сочинили комедию под названием «Школа гостеприимства» и пародию на драму Озерова «Эдип».

Сюжет комедии сводился к злоключениям некоего помещика, легкомысленно зазвавшего к себе в имение множество гостей, которые убеждаются, что все его описания прелестей сельской жизни — пустословие. В его наследственном приюте полнейший упадок, разор, запустение. Комедия заканчивалась пожаром, во время которого добряк помещик (роль, предназначавшаяся Тургеневу) должен был восклицать: «Спасите, спасите меня — я единственный сын у матери!»

Спектакль поставили с декорациями, с занавесом, как в настоящем театре. Зрителями были соседние помещики, вряд ли догадывавшиеся о смысле всевозможных литературных намеков, рассеянных в тексте комедии.

А между тем «Школа гостеприимства» была одним из первых проявлений неприязненного отношения со стороны дворянских либеральных писателей к новой нарождающейся силе в лице Чернышевского. В этой буффонаде он был выведен под видом «желчного литератора».

Так пробовали отшутиться писатели либерального лагеря от важных вопросов, сведя их к мелким выпадам личного характера.

После отъезда гостей в Спасском наступила, как выразился Тургенев, великая, почти монастырская тишина.

И он был несказанно рад этому, потому что мысленно уже готовился к работе над «Рудиным».

А забавы, представление «глупейшего фарса», ликование, шаржи и шутки — все это напоминало чем-то пир во время чумы: в округе стояла засуха, пропали травы, горели хлеба, с юга надвигалась холера, и все с ужасом ждали голодного года,

«Живем мы в невеселое время, — писал Тургенев Сергею Тимофеевичу Аксакову. — Война растет, растет — конца ей не видать, лучшие люди (бедный Нахимов) гибнут — болезни, неурожай, падежи — у нас коровы и лошади мрут, как мухи... Впереди еще не видать никакого просвету. Надо терпеть. Еще разик, еще разик, как говорят бурлаки. Авось, все вознаградится с лихвою.

Читали ли Вы статью Толстого «Севастополь» в «Современнике»? Я читал ее за столом, кричал «ура!» и выпил бокал шампанского за его здоровье...»

Картина, нарисованная в этом письме, будет более полной, если вспомнить о повсеместных крестьянских волнениях и росте революционных настроений среди самых различных слоев русского общества.

Смерть Николая I удесятерила, по словам Герцена, надежды и силы. Ослабление цензурного пресса открыло перед писателями возможность более широкого изображения жизни России.

Отошедшая в прошлое эпоха сороковых годов еще ждала своего художника, хотя шла уже вторая половина следующего десятилетия. Литературе предстояло заполнить этот существенный пробел, вызванный сложными историческими условиями, главным из которых был гнет реакции, особенно усилившийся после 1848 года, вследствие чего круг тем, затрагиваемых писателями, все время вынужденно сужался.

Необыкновенная чуткость Тургенева к общественным веяниям, его способность угадывать потребности века подсказали ему, что настало время показать в художественных образах пройденный этап исторического развития, тесно связанный с настоящим и будущим родины.

Вот почему в самый разгар Крымской кампании Тургенев приступает к работе над романом «Рудин», посвященным людям сороковых годов.

Сначала он намеревался назвать этот роман «Гениальная натура».

Тщательно обдумав композицию романа, он в первый раз в своей практике набросал предвари-

тельно подробный план его. И хотя в дальнейшем писателю пришлось, вследствие настояний друзей, несколько раз браться за доработку романа, первоначальная композиция его осталась почти без изменений. Все усилия при доработках были направлены на более четкую обрисовку характера и действий главного героя, его общественной роли и взаимоотношений с окружающими.

Ряд предшествующих рассказов, начиная с «Гамлета Щигровского уезда» и «Дневника лишнего человека» и кончая «Перепиской» и «Яковом Пасынковым», служили как бы этюдами к этому будущему большому полотну. В каждом из этих рассказов Тургенев рисовал эволюцию образа «лишнего человека», то жалкую, то трагическую сторону его существования в условиях крепостнического строя.

Рудин должен был явиться, по мысли автора, завершающей типической фигурой передового дворянского интеллигента сороковых годов со всеми сильными и слабыми свойствами его натуры.

Никто из беллетристов не мог бы выполнить эту задачу так успешно, как Тургенев. Ведь он был не только внимательным свидетелем, но в известной мере и участником того идейного движения, в котором блистали имена друзей его юности: Станкевича, Грановского, Бакунина.

Казалось, все это было еще так недавно... А многое уже отошло в историю. Иных уж нет, а те далече... Нет Станкевича и Белинского, Герцен в изгнании, Бакунин в каземате Шлиссельбургской крепости. В год написания «Рудина» уходит из жизни Грановский.

В тяжелейших условиях николаевского царствования он сумел до конца жизни сохранить независимый образ мыслей, несгибаемую прямоту и честность, верность передовым идеалам. «Он поощрял людей быть честными — вот его заслуга! Его влияние далеко простиралось», — говорил Некрасов.

«Я теперь хочу только пожать тебе руку, как на сражении товарищ жмет руку товарищу, когда картечь вырывает лучших из рядов», — писал Тургенев

Некрасову. Оба они были потрясены смертью этого замечательного человека, имевшего «широкое и поистине чу́дное влияние» на людей своего поколения.

Оставшиеся из этого круга и те, что шли на смену им, обращаясь мысленно к недавнему прошлому, стремились показать современникам его связь с наступающим новым этапом освободительного движения в России.

В середине пятидесятых годов в «Современнике» почти одновременно появятся три крупных произведения, посвященных той эпохе: «Рудин» Тургенева, «Саша» Некрасова и «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского.

Работа Чернышевского в той ее части, где он рассказывал историю кружка Станкевича — Белинского—Бакунина, прямо перекликалась с некоторыми страницами романа Тургенева. Не случайно, заканчивая пятую статью «Очерков», Чернышевский адресовал читателей к этому произведению.

«И кто хочет перенестись, — писал он, — на несколько минут в их благородное общество, пусть перечитает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева».

Автору «Рудина» очень хорошо была знакома атмосфера философского кружка Покорского, в которой протекли молодые годы Рудина, где формировался его внутренний мир и закладывались основы его мировоззрения. «Когда я изображал Покорского, — говорит Тургенев, — образ Станкевича носился передо мной...»

А рядом вставал другой образ, образ главного героя романа, в котором писателю хотелось воплотить многие черты внешнего и внутреннего облика друга своей юности — Михаила Бакунина.

Годы, проведенные Тургеневым вместе с ним, раскрыли ему сложный характер этой яркой личности во всех ее противоречиях: он знал не только сильные, но и все отрицательные стороны его натуры.

«Я в Рудине представил довольно верно его портрет», — указывал позднее Тургенев. И это действи-

тельно блестяще удалось ему, если говорить о характере и о наружности, о манере поведения и привычках его героя. Но портрет не мог быть полным и законченным, потому что совершенно невозможно было показать Бакунина-революционера, нельзя было показать его в действии, даже смутно намекнуть на его революционную деятельность было опасно.

Многое должно было остаться недосказанным или завуалированным до неузнаваемости.

Путь биографического повествования неизбежно привел бы писателя к неразрешимым трудностям.

И он сознательно оставляет в стороне политическую деятельность Бакунина, рисуя Рудина идеалистом-просветителем, обреченным на мучительное бездействие в николаевской России.

Теряя биографическое сходство с Бакуниным, образ Рудина, в который автор привнес черты и некоторых других деятелей той эпохи, приобретал благодаря этому типический характер. («Ведь... Рудин — это и Бакунин, и Герцен, и отчасти сам Тургенев, а эти люди недаром прожили свою жизнь и оставили для нас превосходное наследство», — замечает Максим Горький.)

Рассматривая роман как искусство жизни, которое должно быть ее историей, Тургенев в своей творческой работе мог отталкиваться только от жизни. «Я никогда не мог творить из головы. Мне для того, чтобы вывести какое-нибудь вымышленное лицо, необходимо избрать себе живого человека, который служил бы мне как бы руководящей нитью».

Это признание Тургенева поразительно совпадает с тем, что писал Гоголь в «Авторской исповеди»: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мною из действительности».

Но сырой материал живых наблюдений художник подвергал творческому фильтрованию, отбрасывая лишнее и добавляя необходимое для создания цельного образа. В этой искусной переработке жизненного материала с исключительной силой проявлялось мастерство Тургенева. Он не рабски следовал по

пятам прототипов, но свободно и смело создавал из отдельных элементов новый образ.

Не просто «правда», а художественная правда, смысл которой в том, что «образ, взятый из недр действительности, выходит из рук писателя типом».

— Торжество поэтической правды в типизации, — часто говорил Тургенев.

Вот почему имя его героя стало нарицательным, и Рудин, подобно Онегину и Печорину, вошел в галерею образов, созданных русской классической литературой.

Он знаменовал собой следующий этап в развитии общества. «В нем все ново, от его идей до его поступков, от его характера до его привычек», — писал Чернышевский.

Духовная жизнь Рудина гораздо разностороннее и богаче по сравнению с внутренним миром его предшественников. Он широко образован, эстетически развит, он впитал в себя главнейшие веяния философской мысли того времени и проникнут важными интересами современного общества. Вера в науку, в необходимость широких знаний, стремление к истине и свободе возвышают Рудина над окружающей его средой.

Он обладает замечательным даром красноречия, способностью заражать окружающих своим энтузиазмом и увлекать возвышенными идеями. «Этот человек умел не только потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал тебя», — так отзывался о Рудине его страстный поклонник, студент-разночинец Басистов.

Общение с Рудиным раскрыло и Наталье Ласунской глаза на пустоту окружающего ее общества, на косность и рутину, в которые погружен был круг провинциального дворянства.

Ее стала тяготить власть предрассудков и предубеждений. Полюбив Рудина и поверив в него, она ждала только призыва, чтобы вступить рука об руку с ним на новый путь. Но тут ее герой оказался малодушным фразером.

Коренные стремления Рудина были враждебны царству крепостничества. Но он не знал, как претворить в жизнь свои идеи, да и в самих идеях его не было полной ясности.

Богатые задатки его натуры, его ум, способности, знания пропадали впустую. Он не умел найти им правильного применения, не умел бороться.

Это была не его вина; а его беда.

«Нас бы очень далеко повело, — говорится в романе, — если бы мы хотели разобраться, отчего у нас являются Рудины».

Их создавала эпоха, среда, исторические условия. Несчастье людей типа Рудиных заключалось в том, что они были оторваны от народа, задавленного рабством и нищетой.

И все же они сыграли свою положительную роль. Разбирая этот роман, Максим Горький говорит: «Приняв во внимание все условия времени — и гнет правительства, и умственное бессилие общества, и отсутствие в массах крестьян сознания своих задач, — мы должны будем признать, что мечтатель Рудин, по тем временам, был человеком более полезным, чем практик, деятель. Мечтатель — он является пропагандистом идей революционных, он был критиком действительности, он, так сказать, пахал целину, — а что, по тому времени, мог сделать практик?»

В письмах к друзьям Тургенев не раз подчеркивал, что ни над одним из прежних своих произведений он не хлопотал и не трудился с таким усердием, с такой «любовью и обдуманностью», как над «Рудиным».

Роман, явившийся плодом долгих раздумий, был написан в необычайно короткий срок — в семь недель.

Когда однажды уже в семидесятых годах Тургенева спросили, правда ли, что Жорж Санд писала необыкновенно легко, излагая свои идеи прямо набело, он ответил:

— Да, но она долго вынашивала их в себе...

И характерно, что он тут же вспомнил о своей работе над «Рудиным»:

— У каждого писателя своя манера работать. Со мной бывает разно. Чаще всего меня преследует образ, а схватить его я долго не могу. И странно: часто выясняется мне прежде какое-нибудь второстепенное лицо, а затем уже главное. Так, например, в «Рудине» мне прежде всего представился Пигасов, представилось, как он заспорил с Рудиным, как Рудин отделал его — и после того и Рудин передо мной обрисовался...

Первыми слушателями только что написанного романа были Марья Николаевна Толстая и ее муж. Тургенев приехал к ним в Покровское с рукописью спустя несколько дней после того, как «Рудин» был закончен.

Роман произвел на них сильное впечатление. Понравилась им и самая манера Тургенева читать — просто, вдумчиво, как бы беседуя со слушателями.

По совету Марьи Николаевны Тургенев внес некоторые изменения в одиннадцатую главу романа. Последний разговор Дарьи Михайловны Ласунской с Рудиным и сцена, где она читает наставление дочери, подверглись переработке.

«В делах сердца женщины — непогрешительные судьи — и нашему брату следует их слушаться...» — заметил ей тогда Тургенев.

Направляясь осенью из Спасского в столицу, он снова завернул по дороге в Покровское. В тот день там получили из Крыма письмо от Льва Николаевича, сообщавшего, что он, может быть, приедет в отпуск из армии. Обрадованный этим известием, Тургенев тотчас же решил написать Толстому:

«Я давно собирался затеять с Вами хотя письменное знакомство... за невозможностью—пока—другого; теперь, уезжая из дома Вашей сестры в Петербург, — хочу привести в исполнение это давнишнее намерение... Ваша сестра, вероятно, писала Вам, какого я высокого мнения о Вашем таланте и как много от Вас ожидаю — в последнее время я особенно часто думал

о Вас. Жутко мне думать о том, где Вы находитесь. Хотя, с другой стороны, я и рад для Вас всем этим новым ощущениям и испытаниям, но всему есть мера — и не нужно вводить судьбу в соблазн... Очень было бы хорошо, если б Вам удалось выбраться из Крыма — Вы достаточно доказали, что Вы не трус, а военная карьера все-таки не Ваша, Ваше назначение — быть литератором, художником мысли и слова... Ваше орудие — перо, а не сабля... Я бы много хотел вам сказать о Вас самих — о Ваших произведениях... Отлагаю все это до свидания личного...»

Друзья по «Современнику» с нетерпением ждали приезда Тургенева. Они уже знали, что, воспользовавшись летним уединением, он написал роман, и горели желанием скорее услышать его.

После чтения «Рудина» в редакционном кружке «Современника» (а состоялось оно в первые же дни приезда Тургенева в Петербург) все единодушно признали, что «Рудин» новый и очень важный шаг в его творчестве.

Некрасову и другим литераторам был ясен и подтекст романа, и сложность исторического фона, на котором развертывался сюжет, и значение деятельности тех лиц, которые послужили автору прототипами.

Роман обещал быть подлинно общественным событием, и поэтому у друзей Тургенева возникли пожелания, чтобы он отчетливее оттенил историческую роль главного героя.

Дружеские советы помогли многое уяснить Тургеневу. И он принял их, как всегда, «без признака самолюбивого укола». Исключительная требовательность писателя к себе, его постоянная готовность проверять себя сказывались, в частности, в том, что он редко печатал свои произведения, не выслушав мнения тех, кому доверял.

Прежде всего он стал перерабатывать страницы, посвященные студенческим годам Лежнева и Рудина, а затем эпилог романа. Работа увлекла его и снова пробудила воспоминания юных лет.

Время от времени он прочитывал Некрасову главы и страницы, написанные заново, встречая с его

стороны горячее одобрение: «Тургенев славно обделывает «Рудина», — писал Некрасов друзьям, — выйдет замечательная вещь».

В один из ноябрьских дней, когда Тургенев весь ушел в работу над романом, на квартиру к нему явился вдруг, прямо с вокзала, только что приехавший из армии Лев Толстой. Они радостно обнялись и «сейчас же изо всех сил расцеловались».

Остановившись у Тургенева, Лев Николаевич в первый же день попросил познакомить его с Некрасовым, и они вместе поехали к нему. У Некрасова они пробыли весь остаток дня, обедали, потом провели несколько часов за шахматной доской. Из трех сыгранных в тот раз партий с Толстым Тургенев две выиграл и одну проиграл.

«Что это за милый человек, а уж умница какой! — писал поэт Боткину под впечатлением этой встречи с Толстым. — И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша-сокол!.. а может быть, и орел... Приехал он только на месяц, но есть надежда удержать его здесь совсем. Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился».

Двадцатисемилетний артиллерийский офицер рассказал в этот день Тургеневу и Некрасову много из пережитого и виденного им в Крыму.

— Столько переиспытал, перечувствовал, что решительно не знаешь, с чего начать, да и сумеешь ли передать хоть малую долю того, что видел воочию изо дня в день.

Он говорил о простоте, с какой совершались русскими солдатами невиданные в истории подвиги.

— Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «Здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята! Умрете?» И войска кричали: «Умрем, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что

взаправду исполнит свое обещание... И сколько десятков тысяч исполнили!

Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали французскую батарею, и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась из-за того, что их хотели сменить с батареи, на которой они стояли тридцать дней под бомбами. Женщины, рискуя жизнью, носили воду на бастионы для солдат. В одной бригаде сто шестьдесят человек раненых не вышли из фронта...

Что же заставляло их так поступать? Это чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине. Мы с меньшими силами, с одними штыками дрались с неприятелем многочисленнейшим и имеющим флот, вооруженный тремя тысячами орудий. Вечно будут помнить в России об этой великой эпопее, героем которой был русский народ...

Лев Толстой тогда же дал слово Некрасову написать безотлагательно для «Современника» в дополнение к своим севастопольским очеркам очерк о последних днях осажденной крепости.

Ведь он сам видел мачты кораблей, медленно погружавшихся в воду в зареве пожара, видел линию севастопольских бастионов, внезапно опустевших после стольких месяцев грозной борьбы.

«По изрытой свежими взрывами обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях... Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, всего облитого его кровью, — от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага».

Потом Лев Толстой читал им первые главы своей «Юности» и начало «Казаков», в которых Тургенев и Некрасов отметили много превосходных страниц.

Молодой офицер чувствовал себя свободно и просто в этой совершенно новой для него обстановке. Лучшие русские писатели приняли его как равного в свою среду, приветствуя силу и самобытность его дарования.

Литературная репутация Толстого успела прочно установиться еще до его приезда в Петербург, сразу же после появления его первых автобиографических повестей и военных рассказов.

Некрасов не скрывал от молодого автора, что смотрит на него как на великую надежду русской литературы. «Не хочу говорить, как высоко я ставлю... направление Вашего таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе... Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать... и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с Вами того, что с большей частью из нас: не убили в Вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России».

Тургенев также считал, что в самом близком будущем Лев Толстой займет первое место в русской литературе, что оно «принадлежит ему по праву и ждет его».

Через несколько дней после приезда Толстого в Петербург зашел к Тургеневу прибывший из-под Дерпта Фет. Вспоминая впоследствии об этом дне, Фет писал: «Когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар,

указывая налево в коридор.— Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот все время так,— рассказывал с усмешкой Тургенев,— вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою...»

Тургенев почти с отеческой нежностью полюбил Толстого с первых дней знакомства. Он горячо расхваливал его друзьям, называл Льва Николаевича милым, замечательным человеком.

В это время Тургенев вместе с Толстым появляется то на литературном вечере, то на обеде в Шахматном клубе, то в опере, то на любительском концерте.

Тургенев вводит Толстого в круг петербургских литераторов и журналистов, знакомит с Гончаровым, Писемским, Майковым, Полонским, Боткиным, Дружининым, Анненковым.

В конце года они особенно часто встречались с поэтом Огаревым, приехавшим в Петербург хлопотать о заграничном паспорте для себя и для своей второй жены, урожденной Тучковой, с которой Тургенев подружился еще в Париже в 1848 году.

Ходатайствуя о заграничном паспорте, Огарев указывал, что ему необходимо ехать на воды для лечения. Как друг Герцена, Тургенев, может быть, знал или догадывался об истинной причине предстоящего отъезда Огарева, который стремился соединиться с Герценом, звавшим его в Лондон для общей революционной работы по созданию вольной русской прессы за границей *.

На литературном вечере у Тургенева, устроенном им у себя 14 декабря, в день, когда исполнилось три-

---

* Ранней весной 1856 года Огаревы уехали в Лондон, где с ними встречался потом и Тургенев.

дцать лет со времени восстания декабристов, Огарев читал свою поэму «Зимний путь».

Тургенев и Толстой и прежде слышали, как Огарев читал эту поэму — она каждый раз производила на них сильное впечатление. Иван Сергеевич назвал «Зимний путь» истинным шедевром, в котором автор «совместил всю свою поэзию, всего себя со всей своей задумчивой прелестью.

Мы с Толстым уже три раза упивались этим нектаром».

Так приобщал Тургенев своего младшего друга ко всему лучшему и передовому в русской литературе того времени. Его интеллектуальное воздействие на автора «Детства» и «Отрочества» сказалось и в том, что Лев Толстой стал вскоре с увлечением изучать статьи Белинского, о которых прежде отзывался с пренебрежением.

Тургенев заинтересовал Толстого и судьбою Станкевича. Об этом красноречиво свидетельствуют два письма. Одно из них было написано Тургеневым Анненкову весною 1857 года: «...издайте, ради бога, скорее эти письма (Станкевича. — *Н. Б.).* Я уже их обещал Толстому, который будет упиваться ими, за это я ручаюсь».

Анненков исполнил просьбу Тургенева, и скоро появились письма Станкевича в приложении к его биографии. И вот что написал тогда Лев Толстой Б. Чичерину: «Читал ли ты переписку Станкевича? Что это за прелесть. Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы в глазах — я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать... И зачем? За что мучилось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо!..»

Мы увидим, что в дальнейшем Тургенев способствовал также пробуждению у Толстого глубокого интереса к творчеству и личности Герцена.

Эти факты показывают, каким важным событием в жизни молодого Толстого была его дружба с Тургеневым.

Правда, радостное волнение, с которым они встретились, весело и свободно пожав друг другу руки и

расцеловавшись, скоро сменилось некоторой настороженностью. Что-то мешало настоящей близости, к которой оба они, казалось, стремились, и никак не могла установиться между ними полная душевная откровенность.

Скоро они убедились, что, несмотря на глубокую обоюдную симпатию, им невозможно тесно сойтись, что они «из разной глины слеплены», что между ними как бы овраг.

Сказались тут и различие во взглядах, и разница в возрасте, и резко выраженные противоположности натур.

Лев Толстой в то время поражал окружающих противоречивостью своих еще не установившихся убеждений, отрицанием всяких традиций, парадоксальностью оценок тех или иных общественных явлений. К тому же в нем еще заметны были тогда следы того «барского и офицерского влияния», которые отметил Некрасов, высказывавший опасения, что они могут помешать развитию таланта Толстого.

Тургенев и Некрасов понимали, что вино перебродит, «блажь уходится», эксцентричности исчезнут. Толстой еще не сформировался, в нем происходила большая душевная ломка, его взгляды претерпевали серьезные изменения в процессе нравственного роста.

Вскоре между Толстым и Тургеневым пошли споры, недоразумения и ссоры, то мимолетные и легкие, то оставлявшие глубокий след.

Однако и после размолвок они снова тянулись друг к другу и опять возобновляли отношения, не теряя надежды на сближение.

Так продолжалось до 1861 года, когда серьезная ссора разъединила их на долгие годы и едва не закончилась дуэлью.

Однако даже и этот конфликт, чуть было не приведший их к барьеру, не положил конца отношениям. С течением времени Л. Н. Толстой понял, как много хорошего было в их дружбе. «Я помню, — написал он в 1878 году Ивану Сергеевичу, — что Вам я обязан своей литературной известностью, и помню,

как Вы любили и мое писанье и меня. Может быть, и Вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил Вас».

В первых двух книгах «Современника» за 1856 год был напечатан «Рудин», вызвавший много толков и споров в литературных кругах и среди читателей.

Критик «Отечественных записок» Дудышкин рассматривал Рудина лишь как бледную копию предшествующих героев русской литературы — Онегина, Печорина, Бельтова. Ему возражал Чернышевский в «Современнике», отмечая, что Тургенев в образе Рудина сумел показать человека новой эпохи общественного развития. Это энтузиаст, указывал он, совершенно забывающий о себе и всецело поглощенный общими интересами. Сопоставив Рудина с Бельтовым и Печориным, Чернышевский подчеркнул, что это «люди различных эпох, различных натур,—люди, составляющие совершенный контраст один другому».

Одним из первых откликнулся на выход романа Некрасов. В своем кратком, но интересном отзыве он раскрыл глубокий идейный смысл тургеневского романа, в котором писатель изобразил лучших людей, «стоявших еще недавно во главе умственного и жизненного движения... Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны. Они, вообще говоря, оказывались несостоятельными при практическом приложении своих идей к делу, — отчасти потому, что еще недостаточно приготовлена была почва к полному осуществлению их идей, отчасти потому, что, развившись более помощью отвлеченного мышления, нежели жизни, которая давала для их воззрений и чувств одни отрицательные элементы, они действительно жили более всего головою... Эту отрицательную сторону полно и прекрасно изобразил г. Тургенев. Не столь ясно и полно выставлена им положительная сторона в типе Рудиных».

Почему же это произошло? Некрасов знал, какие

РУДИНЪ.

ПОВѢСТЬ.

―――

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Было тихое лѣтнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистомъ небѣ; но поля еще блестѣли росой, изъ недавно проснувшихся долинъ вѣяло душистой свѣжестью и въ лѣсу, еще сыромъ и не шумномъ, весело распѣвали раннія птички. На вершинѣ пологаго холма, сверху донизу покрытаго только что зацвѣтшею рожью, виднѣлась небольшая деревенька. Къ этой деревенькѣ, по узкой проселочной дорожкѣ, шла молодая женщина, въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, круглой соломенной шляпѣ и съ зонтикомъ въ рукѣ. Казачекъ издали слѣдовалъ за ней.

Она шла не торопясь и какъ бы наслаждаясь прогулкой. Кругомъ, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, съ мягкимъ шелестомъ бѣжали длинныя волны; въ вышинѣ звенѣли жаворонки. Молодая женщина шла изъ собственнаго своего села, отстоявшаго не болѣе версты отъ деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездѣтна и довольно богата, жила вмѣстѣ съ своимъ братомъ, отставнымъ

Страница журнала «Современник» с повестью «Рудин».

рифы должен был обойти Тургенев при создании центрального образа романа. Ведь поэт был в известной мере свидетелем последнего этапа творческой истории «Рудина». Он дал понять в своей рецензии, что не все тут зависело от авторской воли.

Некрасов высказал предположение, что автор романа, «сознавая в себе очень сильное сочувствие к своему герою, опасался увлечения, излишней идеализации и вследствие того иногда насильственно старался смотреть на него скептически. Оттого характер Рудина действительно не столь отчетливо представлен... Но неясность его, однако же, не так велика, чтобы трудно было читателю угадать и те его черты, которые оставлены несколько туманными».

Здесь Некрасов имел в виду финальную часть романа, где Рудин предстает бесприютным скитальцем, когда различные планы и замыслы его рушились один за другим. Он на подозрении у властей, его отправляют на жительство в деревню, но проступок, за который он подвергается гонению, преднамеренно затушеван, остается не вполне ясным для читателя.

«Мы не все стороны его жизни знаем одинаково хорошо; но тем не менее он живой является нам, и появление этой личности, могучей при всех слабостях, увлекательной при всех своих недостатках, производит на читателя впечатление чрезвычайно сильное и плодотворное, какого очень давно уже не производила ни одна русская повесть».

Заканчивая рецензию, Некрасов выражал уверенность, что для Тургенева «начинается новая эпоха деятельности, что его талант приобрел новые силы, что он даст нам произведения, еще более значительные, нежели те, которыми заслужил в глазах публики первое место в нашей новой литературе после Гоголя».

«Рудин» положил начало ряду замечательных социальных романов, в которых Тургенев явился летописцем большой полосы русской жизни.

С этим романом, воскресившим юношеские воспоминания автора о минувшей эпохе, закончилась его молодость.



ГЛАВА XXI

ПАРИЖ. РИМ. ПОВЕСТИ.



Почти одновременно с появлением «Рудина» в журнале у Тургенева уже возник замысел второго романа. Но он долго не принимался за работу над «Дворянским гнездом», обдумывая его общий план и детали.

Как и в первом случае, подготовительная стадия отняла значительно больше времени, чем само осуществление замысла.

Обстоятельства сложились так, что вплотную к писанию «Дворянского гнезда» Тургенев приступил лишь через два с половиной года после того, как задумал его.

Подав просьбу о выдаче ему заграничного паспорта, Тургенев в начале мая 1856 года отправился в Спасское. Перед отъездом он созвал друзей на прощальный обед. И тут произошла ссора со Львом Тол-

стым, который в пылу спора наговорил неприятностей и хозяину и гостям.

Правда, он тотчас и пожалел о своей вспыльчивости — запись в его дневнике, касающаяся этого инцидента, заканчивается словами: «Тургенев уехал. Мне грустно...»

В конце месяца они снова свиделись — Лев Толстой оказался в тех же краях, где и Тургенев. Побыв у себя в Ясной Поляне, а потом у своей сестры в Покровском, он приехал оттуда верхом в Спасское к Тургеневу.

Примирение состоялось, хотя ссоры не могли, конечно, проходить бесследно и накладывали каждый раз известный отпечаток на их дальнейшие отношения.

«Дом его, — записал тогда в дневнике Л. Толстой, — показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним».

Еще яснее говорится в письме Толстого к Некрасову от 12 июня: «Его (Тургенева. — *Н. Б.*) надо показывать в деревне. Он там совсем другой, более мне близкий, хороший человек».

Из Спасского Лев Николаевич на другой день увез Тургенева в гости к сестре.

Иван Сергеевич испытывал к Марье Николаевне с самого начала их знакомства глубокую искреннюю симпатию. Ее несчастливый брак не был для него тайной.

Именно в это лето был написан Тургеневым рассказ «Фауст», навеянный знакомством с М. Н. Толстой, отдельные черты которой запечатлены в образе Веры Ельцовой.

Вспоминая обстоятельства, при которых был создан этот рассказ, Тургенев через год признавался: «Фауст» был написан на переломе, на повороте жизни — вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости...»

Проникнутый глубоким лирическим чувством, рассказ этот как-то особенно понравился Некрасову. Он говорил, что в «Фаусте» Тургенева разлито «море поэзии могучей, благоуханной и обаятельной...»

Вскоре Тургенев получил из Петербурга известие, что заграничный паспорт ему уже выписан.

На этот раз он готовился к путешествию, одолеваемый невеселыми мыслями о том, что не за горами его сорокалетие и что эта поездка опять обрекает его на скитальческую жизнь. Эти настроения отразились и в литературных произведениях и в письмах Тургенева той поры. «Позволение ехать за границу меня радует... И в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать...»

Угадывая его колебания, Некрасов писал ему в эти дни: «За границу едем *, но, думая о тебе, что-то вспоминаю стихи:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой...

Эх, голубчик, мало, что ли, тебя поломало? И каково-то будет уезжать?..»

Чувство раздвоенности у Тургенева было вызвано тем, что глубокая привязанность и неугасавшая любовь к Полине Виардо неудержимо влекли его во Францию, а с другой стороны, ему тягостно было покидать родину.

Он не знал, как сложатся его отношения с любимой женщиной после долгой разлуки, как будет протекать его жизнь в Париже.

В семье Виардо воспитывалась его дочь, которой исполнилось теперь четырнадцать лет. Надо было позаботиться о ее дальнейшей участи.

Билет на пароход был заказан Тургеневым заранее на 21 июля. За несколько дней до этой даты он возвратился в Петербург, где друзья накануне отъезда дали в его честь большой обед. На этом обеде один из участников (кто именно, так и остается неизвестным) провозгласил короткий тост: «За покойников и отсутствующих». И хотя никаких пояснений

---

* Некрасов предполагал выехать вместе с Тургеневым, но из-за болезни несколько задержался.

не последовало, все гости поняли, что подразумеваются, с одной стороны, Белинский и Грановский, а с другой — Герцен...

21 июля друзья проводили Тургенева до Кронштадта. Он ехал пароходом до Штеттина, затем по железной дороге до Берлина, оттуда в Париж и в Куртавнель.

Как обрадовалась дочь при встрече с ним после долгой разлуки!

Не предупредив ее о своем приезде в Париж, он явился прямо в пансион госпожи Аранг, куда Полину поместили незадолго до этого.

Когда Иван Сергеевич вошел, Полина сидела за роялем. Она быстро обернулась, услышав шаги, и сразу узнала отца.

За пять лет Полина очень изменилась и выросла.

Еще из России отец писал ей: «Я говорю с тобой, как с ребенком...» (Каждое письмо к дочери заканчивалось советами и наставлениями хорошо учиться, быть послушной, рассудительной и терпеливой, хотя Полина уже вышла из детского возраста — ей шел пятнадцатый год.) «Мадам Виардо пишет мне, что ты почти одного роста с ней... Ты не представляешь себе, как я буду рад услышать сонату Бетховена в твоем исполнении...»

Возможно, что у Тургенева были какие-нибудь поручения к Герцену из России, — он очень недолго пробыл в Куртавнеле, спеша попасть в Лондон, чтобы повидать Герцена после многолетней разлуки.

В течение нескольких вечеров он рассказывал Герцену о жизни в России, об общих друзьях и знакомых. Предметом их долгих бесед и споров были судьбы Запада и Востока, пути исторического развития России, а более всего — близившееся освобождение крестьян, неизбежность которого становилась все очевидней.

Откликом на эти беседы явилась потом статья Герцена в «Полярной звезде» — «Еще вариация на старую тему», обращенная «к любезному другу», имя

которого в рукописи было скрыто под инициалами И. С. В печати, однако, даже и буквы эти были затем из осторожности устранены, чтобы не скомпрометировать как-нибудь невзначай Тургенева.

Заканчивая статью, Герцен писал: «Не станем спорить о путях, цель у нас одна, будемте же делать все усилия... чтоб уничтожить все заборы, мешающие у нас свободному развитию народных сил... заключаю мое длинное письмо к тебе словами: На работу, на труд, — на труд в пользу русского народа, который довольно, в свою очередь, поработал на нас!»

Около недели длилось на этот раз пребывание Тургенева в Лондоне. В один из вечеров он прочитал Герцену и Огареву свой рассказ «Фауст».

8 сентября, в день отъезда Ивана Сергеевича в Париж, Герцен сообщил своим друзьям: «Он нам рассказал много интересных вещей и, между прочим, что пылкая петербургская молодежь питает ко мне настоящую страсть...»

По возвращении из Лондона Тургенев снова поселился на время в Куртавнеле, предполагая к зиме перебраться в Париж и работать там над романом «Дворянское гнездо».

Первоначально он чувствовал себя в этой атмосфере счастливым и довольным: «Мне здесь очень хорошо, — писал он Льву Толстому 25 сентября, — я с людьми, которых люблю душевно и которые меня любят».

Каждый день казался ему подарком и радовал его разнообразием. Вот готовят домашний спектакль, и отцовское сердце Тургенева радуется, когда он слышит, как выразительно читает его дочь звучные стихи из трагедии Расина «Ифигения» или из комедии Мольера «Мизантроп». Плохо только, что она совсем позабыла родной язык, воспитываясь вместе с дочерьми Виардо.

Фет, навестивший Тургенева осенью в Куртавнеле, слышал, как он спрашивал свою дочь:

— Полина, неужели ты ни слова русского не помнишь? Ну, как по-русски «вода»?

— Не помню.

— А хлеб?

— Не знаю.

— Это удивительно!..

Часто в высокой и просторной гостиной в два света раздаются звуки сонат Бетховена, Моцарта — это играет на рояле Полина Виардо.

По вечерам, собравшись за круглым столом, хозяева и гости с увлечением занимаются игрой в «портреты»: кто-либо (чаще всего Тургенев) рисует несколько профилей, и каждый участник игры пишет под портретом свое толкование его, дает характеристику изображенного лица.

«Словом, нам было хорошо, как форелям в светлом ручье, когда солнце ударяет по нем и проникает в волну. Видал ты их тогда? Им очень тогда хорошо бывает — я в этом уверен», — рассказывал Тургенев Боткину об этой быстро промелькнувшей осени в Куртавнеле.

Иногда пробовал он развлекаться еще и охотой, хотя из-за скудости дичи она была очень посредственной и однообразной. Вечные куропатки и зайцы! Никакого сравнения с охотой на родине!..

Из Лондона он привез вторую книгу «Полярной звезды», где были напечатаны начальные главы «Былого и дум».

«Кончил я твои мемуары... — писал Тургенев Герцену 22 сентября. — Это прелесть... ты непременно продолжай эти рассказы: в них есть какая-то мужественная и безыскусственная правда, и сквозь печальные их звуки прорывается как бы нехотя веселость и свежесть. Мне всё это чрезвычайно понравилось, — и я повторяю свою просьбу — непременно продолжать их... Странное дело! В России я уговаривал старика Аксакова продолжать свои мемуары — а здесь — тебя. И это не так противоположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары — правдивая картина русской жизни, только на двух ее концах и с двух различных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна, — она и широка — и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу!»

Перебравшись на зиму вместе с дочерью в Париж, Тургенев подыскал ей в воспитательницы пожилую англичанку. Он намеревался здесь много работать, надеясь закончить к началу следующего года не только «Дворянское гнездо», первые сцены которого были уже набросаны, но также еще и большую статью «Гамлет и Дон-Кихот».

Тургенев твердо обещал Панаеву поддерживать «Современник» собственными трудами, сообщать о новинках западной литературы и подыскивать новые произведения для перевода. Он брался также воздействовать на Толстого и Григоровича, чтобы и они не забывали об интересах журнала, с редакцией которого у них всех было заключено «обязательное соглашение».

Но это бодрое, деловое настроение продолжалось недолго. Вскоре два обстоятельства словно бы надломили Тургенева, лишив его душевного равновесия и покоя. Он заболел невралгией, а зима, как на грех, выдалась во Франции в тот год чрезвычайно суровая, и это еще более ухудшало его состояние.

Камины плохо обогревали квартиру. Однажды Фет, зайдя к Тургеневу, застал его за письменным столом в нескольких одеждах и в шинели.

— Не понимаю, — сказал поэт, — как возможна умственная работа в таких доспехах...

А кроме того, с некоторого времени какая-то тень легла на отношения Тургенева и Полины Виардо, и работа не шла ему на ум.

Почти в каждом письме, которое Тургенев отправлял тогда на родину, прорывалась безграничная тоска по России.

На чужбине он чувствовал еще острее, как дорого ему все русское. «Пребывание во Франции произвело на меня свое обычное действие, — писал он С. Т. Аксакову, — все, что я вижу и слышу, как-то теснее и ближе прижимает меня к России, все родное становится мне вдвойне дорого — и если бы не особенные, от меня точно не зависящие обстоятельства, я бы теперь же вернулся домой».

А в письме к Льву Толстому он замечал: «Нико-

гда еще Париж не казался мне столь прозаически плоским...»

И, вспоминая о февральских днях 1848 года, он добавлял: «Я видел его в другие мгновения — и он мне тогда больше нравился.

Меня удерживает здесь старинная неразрывная связь с одним семейством и моя дочка, которая мне очень нравится: милая и умная девушка...»

Острое чувство тоски по родине несколько скрашивали встречи с друзьями и соотечественниками: почти одновременно с Тургеневым отправились за границу Фет, Некрасов, а затем через некоторое время Лев Толстой, Гончаров, Боткин, Анненков.

В то время как мучимый приступами болезни Тургенев томился и скучал в Париже, Некрасов и Фет, встретившиеся в Риме, настойчиво звали его к себе. «Если бы ты знал, как мы с Фетом ждем тебя! У нас только и речи, что о тебе...» — писал ему Некрасов.

Не дождавшись Тургенева, он сам приехал в Париж в январе 1857 года.

Этот приезд еще более укрепил их взаимное расположение. Они были очень откровенны между собой, говоря о своих личных переживаниях.

Знакомя Некрасова со столицей Франции, Тургенев не разлучался с ним по целым дням.

Вскоре пришло письмо из Ясной Поляны от Льва Толстого: он сообщал, что собирается приехать в Париж, а весной побывать в Италии.

Известие это очень обрадовало Тургенева. Он хотел скорее увидеть здесь Толстого. «Скажите ему, — просил Иван Сергеевич Дружинина, — чтобы он спешил, если хочет застать меня... По письмам я вижу, что с ним совершается самая благодатная перемена, и радуюсь тому, «как нянька старая».

Отношения их все еще не могли войти в колею. Если они бывали вместе, то между ними всегда начинали возникать размолвки и трения, приводившие обычно к какой-нибудь вспышке. Но стоило им расстаться, как они опять искали встреч, надеясь снова восстановить утраченное равновесие.

В письмах к Толстому из-за границы Тургенев не раз принимался анализировать свои отношения с ним. «Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразумения, — говорится в первом же его письме из Куртавнеля, — это случилось именно оттого, что я не хотел ограничиться с Вами одними простыми дружелюбными сношениями — я хотел пойти далее и глубже; но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил Вас и, заметивши свою ошибку, отступил, может быть, слишком поспешно; вот отчего и образовался этот «овраг» между нами...»

Тургенев выражал сомнение в том, что они смогут сделаться друзьями в самом глубоком смысле этого слова, «но каждый из нас, — добавлял он, — будет любить другого, радоваться его успехам — и когда Вы угомонитесь, когда брожение в Вас утихнет, мы, я уверен, так же весело и свободно подадим друг другу руки, как в тот день, когда я в первый раз увидел Вас в Петербурге».

Лев Толстой выехал за границу в самом конце января 1857 года. Отправился он в мальпосте, то есть на почтовых лошадях, держа путь на Варшаву через Вязьму, Смоленск, Минск.

Из Варшавы он телеграммой запросил Тургенева, долго ли тот пробудет в Париже, и через несколько часов получил ответ: Тургенев сообщал, что не намеревается в ближайшее время покидать Париж и что вместе с ним там находится и Некрасов.

Приехав 9 февраля в Париж, Лев Толстой застал их обоих в невеселом настроении. И для Тургенева и для Некрасова это была пора тяжелых переживаний, связанных с мыслями о дальнейшем устройстве их личной жизни. «Оба они блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь», — писал Толстой Дружинину.

На следующий день Некрасов уехал в Рим. А накануне они втроем ходили смотреть традиционный бал-маскарад, устраиваемый в залах Grand Opera в субботний вечер на масленице.

Теперь Тургенев стал гидом Льва Николаевича. Они видались ежедневно, вместе бродили по париж-

ским улицам, осматривали достопримечательности старинного города, посещали театры, музеи, оперу, консерваторию, картинные галереи.

«Толстой здесь и глядит на все, помалчивая и расширяя глаза, — писал Тургенев Боткину, — поумнел очень, но все еще ему неловко с самим собою, а потому и другим с ним не совсем спокойно. Но я радуюсь, глядя на него: это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы...»

Много лет спустя Лев Толстой вспоминал, как в бытность свою в Париже, возвращаясь однажды с Тургеневым из театра, он завел с ним разговор о форме и содержании художественных произведений. Толстой высказал тогда мысль, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Тургенев согласился с ним. Они стали вспоминать лучшие образцы русской прозы, такие, как «Герой нашего времени», «Мертвые души»; далее Толстой назвал «Записки охотника», а Тургенев напомнил о «Детстве». И они пришли к единодушному заключению, что во всех этих произведениях форма совершенно оригинальна.

У Тургенева было тогда намерение познакомить Льва Николаевича с Герценом: они предполагали вместе посетить его в Лондоне. В середине февраля он написал Герцену: «Я вылечусь только тогда, когда брошу Париж. А брошу я его через месяц и покачу в Англию, в Лондон, к тебе. А оттуда в Россию и засяду там навеки веков... Толстой тоже будет в Англии *; ты его полюбишь, я надеюсь, и он тебя».

«Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым, — отвечал Герцен. — Поклонись ему от меня, как от искреннего почитателя его таланта. Я читал его «Детство», не зная, кто писал, и читал с восхищением... Если ему понравились мои «Записки», то я вам здесь прочту выпущенную главу о Вятке и главу о Грановском и Кетчере».

---

* Однако поездка Льва Толстого к Герцену состоялась лишь в 1861 году, во время его второго заграничного путешествия.

Тургенев сообщил Герцену, что Толстой обрадован его приветом. Он «велит тебе сказать, что давно желает с тобой познакомиться, и заранее тебя любит лично, как любил твои сочинения (хотя он NB далеко *не красный)»*.

В начале марта Тургенев предложил Толстому съездить в Дижон, город, расположенный юго-восточнее Парижа. Толстой охотно согласился, обрадовавшись возможности уединиться, чтобы продолжать работу над повестью «Альберт».

Выехали они рано утром 9 марта. Дорогой осматривали большой заповедный лес под Фонтенбло.

В гостинице, где они остановились, было так холодно, что, по словам Тургенева, им приходилось усаживаться у камина на самом пылу огня. Несмотря на это, Толстой весь ушел в работу, исписывая страницу за страницей. «Я радуюсь, глядя на его деятельность», — писал Тургенев Анненкову.

А сам он в это время работал над статьей «Гамлет и Дон-Кихот» и над очерком «Поездка в Полесье»; писал он их урывками и с тяжелым сердцем. Очерк совсем не удовлетворял его, представлялся бесцветным и скучным.

Тургенев в ту пору проникся неверием в свои творческие силы. Это состояние, по-видимому, было связано с тягостными переживаниями, вызванными кризисом, наступившим в личных его отношениях с Полиной Виардо.

Он жалуется друзьям на смутное душевное состояние, чувствует себя несчастным, подавленным, готовым все бросить, даже литературную деятельность.

«Сочувствовать поэзии я никогда не перестану, потому что в этом и жизнь моя, но мне как-то странно подумать, что я когда-нибудь возьмусь за перо сам. Так все это далеко от меня теперь...»

Когда Лев Толстой прочитал свой рассказ Тургеневу, ему показалось, что на Ивана Сергеевича «Альберт» не произвел никакого впечатления. Однако он ошибся: в письмах своих Тургенев отзывался об этом рассказе самым благожелательным образом, указы-

вая, что после небольшой доработки получится отличнейшая вещь.

Через несколько дней друзья вернулись в Париж, где Лев Николаевич предполагал прожить по крайней мере еще месяца два. Он продолжал с жадностью наслаждаться искусствами, посещал Лувр и Версаль, слушал лекции в Коллеж де Франс и в Сорбонне. Но вскоре произошло то, что в корне изменило все его планы. День 6 апреля 1857 года остался для Толстого памятным на всю жизнь. В этот день он стал свидетелем публичной казни на гильотине.

Потрясенный до глубины души этим зрелищем, Лев Толстой решил немедля покинуть Францию. Он говорил Тургеневу, что гильотина неотступно стоит у него перед глазами, что он видит ее во сне, ему снится, что казнят его самого.

8 апреля, в день своего отъезда из Парижа, он записал в дневнике: «Заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека».

Из Женевы он писал Тургеневу, что беспрестанно думает о нем. За время своего полуторамесячного пребывания в Париже Лев Толстой ясно почувствовал, что Тургенев страдает и морально и физически. «Его несчастная связь с мадам Виардо и его дочь держат его здесь, в климате, который вреден ему, и на него жалко смотреть. Я никогда не думал, чтобы он мог так любить», — писал Л. Толстой Т. А. Ергольской.

Да Тургенев и сам признавался тогда Полонскому, что ему было всячески скверно — «и физически и нравственно», что «солон» ему пришелся на этот раз Париж.

Начиная с мая, в течение целого года, до самого возвращения на родину, Тургенев переезжает с места на место, из города в город, из страны в страну: Лондон, Париж, Берлин, Зинциг, Баден-Баден, Булонь, Париж, Марсель, Генуя, Рим, Неаполь, Флоренция, Вена, Дрезден, Лейпциг, Париж, Лондон...

Тургенев и раньше много ездил по свету, но во всей жизни его это был, пожалуй, самый насыщенный поездками год.

То ли искал он забвенья от горьких мыслей, то ли хотел переменой обстановки и климата облегчить свой недуг и восстановить душевное равновесие.

Он с готовностью принял совет врачей отправиться летом 1857 года на воды в маленький немецкий городок на левом берегу Рейна, неподалеку от Бонна — в Зинциг; он надеялся, что там в уединении сумеет совместить работу с лечением.

И действительно, спустя неделю после приезда в Зинциг на письменном столе его появились первые страницы новой повести «Ася».

«Странно мне было приниматься за перо после почти годового бездействия — и сначала трудно было, потом пошло полегче», — признавался Тургенев в письме к Панаеву.

Местом действия «Аси» автор выбрал Зинциг и Линц, а повествование вел от лица человека лет сорока пяти, вспоминающего о далекой поре своей юности.

Подготавливая читателей к встрече героя повести с Асей и к описанию ее первой любви, Тургенев дает поразительный по своей колоритности ночной городской пейзаж, «когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах».

Старинный немецкий городок в легкой романтической дымке оживает на страницах повести.

Самый тон повествования и картина ночного города, озаренного луной, невольно заставляют вспомнить о такой же картине итальянской ночи в «Трех встречах». Сопоставив эти два описания, проникнутые лирической задушевностью, мы увидим, как внимательно отнесся Тургенев к совету Некрасова, данному ему перед самой его поездкой в Зинциг.

«Я читал недавно кое-что из твоих повестей, — писал Некрасов Тургеневу из Рима 7 апреля 1857 года. — «Фауст» точно хорош. Еще понравился весь

«Яков Пасынков» и многие страницы «Трех встреч». Тон их удивителен — какой-то страстной глубокой грусти».

И, как бы призывая Тургенева продолжить и углубить линию лирической повести типа «Трех встреч», Некрасов обращался к нему с просьбой еще раз перечитать это произведение, уйти в себя, «в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски» и написать что-нибудь в этом духе.

«Ты сам не знаешь, — восклицал Некрасов, — какие звуки польются, когда раз удастся прикоснуться к этим струнам сердца, столько жившего, — как твое — любовью, страданием и всякой идеальностью...»

И Тургенев откликнулся на призыв Некрасова: «Ася» написана в том самом ключе, о котором говорится в письме поэта.

Иван Сергеевич предполагал быстро закончить ее и уже к осени вернуться с готовой повестью на родину. Ему страшно не хотелось возвращаться «с пустыми руками». Он знал, с каким нетерпением ждали его нового произведения и редакция «Современника» и читатели.

Но закончить «Асю» в Зинциге ему все-таки не удалось. Он завершил повесть только в Риме, куда неожиданно для друзей отправился в октябре 1857 года вместе с Боткиным, отложив на много месяцев возвращение в Россию.

В августе Тургенев приехал в Куртавнель. «Ты видишь, что я здесь, то есть, что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня, — пишет он Некрасову, — но поступить иначе было невозможно. Впрочем, результатом этой глупости будет, вероятно, то, что я раньше приеду в Петербург, чем предполагал. Нет, уж точно: этак жить нельзя. Полно сидеть на краюшке чужого гнезда. Своего нет — ну и не надо никакого».

В Париже Иван Сергеевич бывал тогда наездами. В один из августовских дней его разыскал там Фет, приехавший справить в Париже свою свадьбу. Его

невеста, сестра В. П. Боткина, находилась в это время во Франции.

Поэт хотел, чтобы Тургенев был шафером на этой свадьбе.

«Я решился попробовать счастья, отыскивая Тургенева в rue de l'Arcade, — писал он потом в воспоминаниях. — На мой боязливый вопрос привратник отвечал: «Господина Тургенева нет дома».

— Где же он? — спросил я тоскливо.

— Он отправился в кофейню пить кофе.

— В какую кофейню?

— Он постоянно ходит в одну и ту же.

Привратник дал мне адрес кофейни. Вхожу, не замечая никого из посетителей, и во второй комнате вижу за столом густоволосую седую голову, заслоненную большим листом газеты.

— Pardon, monsieur, — говорю я, подходя.

— Боже мой, кого я вижу! — восклицает Тургенев и бросается обнимать меня.

Мы отправились к нему в rue de l'Arcade и сговорились в этот день вместе отобедать.

— Вот, — говорил Тургенев, — обыкновенно поэтов считают сумасшедшими; в конце концов посмотришь на их действия, и дело выходит не так безумно, как надо бы ожидать».

Сняв номера в «Отеле де Бразиль» для себя, для своей невесты и ее родственников, Фет занялся приготовлениями к свадьбе. Венчание было назначено на 16 августа в посольской церкви. В этот день к подъезду гостиницы подкатила карета, запряженная парою прекрасных серых лошадей, с лакеем и кучером в одинаковых ливреях.

Усевшись в карету, Фет и Тургенев отправились в церковь. Хотя поэт давно находился в отставке, он тем не менее, не желая тратить денег на фрак, оделся в этот день в полную уланскую форму.

Свадебный обед, заказанный в ресторане, прошел оживленно и весело. «Прекрасного вина, в том числе и шампанского, было много, и под конец обеда Тургенев громко воскликнул: «Я так пьян, что сейчас сяду на пол и буду плакать!»

В тот день, когда друзья веселились на свадьбе Фета, в Париж ехал скорым поездом И. А. Гончаров, только что закончивший курс лечения на водах в Мариенбаде. Его влекло сюда желание повидать Тургенева и посоветоваться с ним по поводу «Обломова», над окончанием которого он так упорно работал в Мариенбаде.

Гончаров сам говорил, что всегда сомневался и все не верил себе, все «справлялся с мнением и впечатлением других». Особенно дорожил он советами Тургенева.

Оставив чемодан в «Отеле де Бразиль», Гончаров в десятом часу вечера уже сидел под открытым небом в кафе Тортони на Итальянском бульваре в своем дорожном сереньком сюртучке, рассеянно поглядывая на оживленный поток прогуливающихся парижан.

Возвратившись в гостиницу, он узнал от гарсона, что здесь живет много русских, в том числе Фет и Боткин, разместившиеся этажом ниже. На следующий день, встретившись с ними, он условился, что 19 августа будет читать «Обломова» им и Тургеневу.

«Я читал им свой роман, — сообщил потом Гончаров сослуживцу и другу И. И. Льховскому, — необработанный, в глине, в сору, с подмостками, с валяющимися инструментами, со всякой дрянью. Несмотря на то, Тургенев разверзал объятия за некоторые сцены, за другие яростно пищал: «Длинно, длинно; а к такой-то сцене холодно подошел» — и тому подобное».

Чтение продолжалось и на следующий день. Но читать было трудно — стояла изнурительная жара, в небольшом номере было нестерпимо душно. Гончаров замечал, что по временам то Боткина, то Фета клонило ко сну. «Боткин задремал, — говорится в письме, — но при одной страстной сцене очнулся. «Перл! Перл!» — кричал он...»

Тургенев, говоря о своем впечатлении от прочитанного, заметил, что это вещь отличная, но посоветовал Гончарову сделать в некоторых главах романа

сокращения — иные из диалогов показались ему несколько растянутыми.

Автор «Обломова» сказал, что он и сам видит, как много еще предстоит работать над романом: «Поеду в Дрезден и там в тишине и в одиночестве буду его заканчивать...»

Расставаясь с Гончаровым перед своим возвращением в Куртавнель, Тургенев условился с ним, что в первых числах октября они съедутся в Варшаве, чтобы оттуда вместе двинуться в Россию.

Но через неделю планы Тургенева коренным образом изменились. Вместо того чтобы ехать в Петербург, он вдруг решил отправиться с Боткиным в Рим.

Более всего Тургеневу хотелось теперь уединиться и работать. «После всех моих треволнений и мук душевных, после ужасной зимы в Париже тихая, исполненная спокойной работы зима в Риме просто душеспасительна, — писал он Анненкову перед выездом в Италию, — в Петербурге мне было бы хорошо со всеми вами, друзья мои; но о работе нечего было бы и думать; а мне теперь после долгого бездействия предстоит либо бросить мою литературу совсем и окончательно, либо попытаться: нельзя ли еще раз возродиться духом? Я сперва изумился предложению (Боткина), потом ухватился за него с жадностью, а теперь я и во сне каждую ночь вижу себя в Риме».

Они избрали путь через Марсель и Ниццу, а далее берегом моря в Геную. Делясь потом своими впечатлениями от этой поездки, Боткин говорил: «Я с разных сторон въезжал в Италию, но ниоткуда не являлась она в таком чарующем виде, как с своей горной стороны... И рощи пальм, и огромные олеандры, и сады апельсинных деревьев, и возле всего этого голубое море. Есть места, перед которыми остаешься в немом экстазе...»

Стояла необычайно теплая, яркая осень. И хотя был конец октября, но расцветали розы, зеленели дубы и пинии.

«Каждый день совершается какой-то светлый праздник на небе и на земле. Каждое утро, как толь-

ко я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне в окно», — писал Тургенев из Рима.

Его душевная тревога постепенно стала здесь стихать. Правда, по-прежнему нет-нет да и проскальзывали в его письмах сетования на судьбу, но от них уже не веяло, как бывало, безысходностью, в них звучали ноты примирения: «Рим — такой город, где легче всего быть одному. А захочешь оглянуться, не пустые рассеяния ожидают тебя, а великие следы великой жизни, которые не подавляют тебя чувством твоей ничтожности перед ними, а, напротив, поднимают тебя и дают душе настроение несколько печальное, но высокое и бодрое».

«Под этим небом самое запустение носит печать изящества и грации; здесь понимаешь смысл стиха: «Печаль моя светла».

«Что за удивительный город! Вчера я более часа бродил по развалинам дворца цезарей и проникся весь каким-то значительным чувством...»

Снова, как в дни юности, ходил он по улицам Вечного города, посещал музеи, храмы, дворцы, залы Ватикана, знаменитые виллы — Боргезе, Альбани, Фарнезина, Дориа...

Однажды забрел он и на улицу Феличе, где в доме 126-м квартировал когда-то Гоголь. Здесь все изменилось с того времени — хозяин был другой, и никто не мог ничего рассказать о Николае Васильевиче.

В греческой кофейне встречался Тургенев с русскими художниками, жившими в Риме, чаще всего с Александром Ивановым, автором замечательной картины «Явление Христа народу».

Этому произведению Иванов отдал все свои силы. С упорством средневекового отшельника работал он над нею более двадцати пяти лет. Его так и называли затворником студии Викколо дель Вантажжио, по названию переулка, в котором она помещалась.

Иванов был другом Гоголя и первоначально подобно автору «Выбранных мест из переписки с друзьями» находился под влиянием религиозного мировоззрения. Но впоследствии Иванов пережил глубо-

кий душевный кризис, который изменил его взгляды на жизнь и на роль искусства.

Начало этому кризису было положено еще революционными событиями 1848 года. Однако понадобилось несколько лет, чтобы художник решительно отошел от религиозных взглядов.

Часто встречаясь в Риме с Александром Ивановым, Тургенев проникся к нему чувством большой симпатии.

Он сразу же подметил, что замечательно глубокий ум сочетался у Иванова с какой-то детской наивностью. Художник был мягок и очень добр, пугался резкостей и заразительно искренне смеялся, когда бывал в хорошем настроении.

Душевная чистота и открытость странно соединялись у него с мнительностью, которую Тургенев объяснял долгой жизнью в уединении.

Во всем его внешнем облике, в усталых добрых глазах, в плечистой, приземистой фигуре и даже в походке, по словам писателя, было много чисто русского. «Вся его фигура дышала Русью».

Иванов открыл на несколько дней свою студию для Тургенева и Боткина, предоставив им возможность внимательно знакомиться со своей картиной и подготовительными этюдами к ней.

В письме к Полине Виардо Тургенев писал о картине Иванова как о великом и возвышенном произведении искусства, хотя чисто живописные качества ее не были им вполне оценены по достоинству.

Однажды Иванов повел Тургенева и Боткина осматривать художественные сокровища Ватикана. Он был в хорошем расположении духа, охотно и много говорил о различных школах итальянской живописи, изученной им глубоко и подробно.

А на следующий день они втроем ехали в старенькой наемной карете с дребезжащими стеклами по шоссе, ведущему в Альбано *. «Воздух был прозрачен и мягок, солнце сияло лучезарно, но не жгло, ветерок залетал в раскрытые окна кареты и ласкал

* Городок в двадцати километрах к юго-западу от Рима.

наши, уже немолодые, физиономии — и мы ехали, окруженные каким-то праздничным осенним блеском — и с праздничным, тоже, пожалуй, осенним чувством на душе...» — так описывал потом Тургенев поездку в обществе Иванова и Боткина по окрестностям Рима.

В очерке, посвященном памяти великого художника, он вспомнил и о последней своей встрече с ним через несколько месяцев в Петербурге, в ветреный июньский день на площади Зимнего дворца. Иванов только что вышел из Эрмитажа. «Морской ветер крутил фалды его мундирного фрака; он щурился и придерживал двумя пальцами свою шляпу. Картина его уже была в Петербурге и начинала возбуждать невыгодные толки...»

Так постояли они недолго, поговорили и разошлись. А в Спасском, куда поспешил тогда уехать Тургенев, он получил спустя недели две известие о преждевременной смерти Иванова.

Друзья и собратья звали Тургенева на родину. В эти дни Фет писал в стихотворном послании к нему:

...вечно радужные грезы
Тебя несут под тень березы,
К ручьям земли твоей родной.
Там все тебя встречает другом:
Черней бразда бежит за плугом,
Там бархат степи зеленей,
И верно чуя, что просторней, —
Смелей, и слаще, и задорней
Весенний свищет соловей.

Тургенев отвечал поэту-земляку: «Вы говорите, что часто мечтаете о нашем общем житье в деревне в нынешнем году... Я мечтаю о нем даже здесь, среди величавых развалин, в длинных мраморных залах Ватикана. Недаром же судьба поселила нас всех, Вас, Толстого, меня, в таком недальнем расстоянии друг от друга!»

Звал Ивана Сергеевича на родину и Лев Толстой, не скрывавший своего огорчения тем, что Тургенев остался на зиму в Италии.

«Ежели вы верите в мою дружбу к Вам, напишите мне, как можно искреннее, что Вы делаете? что думаете? Зачем Вы остались? Эти вопросы сильно мучают меня...»

В декабре Тургенев отправил в редакцию «Современника» повесть «Ася» и вскоре получил письма от Панаева и Некрасова. Оба горячо благодарили его за повесть и сообщали, что она всем чрезвычайно понравилась. «От нее веет душевной молодостью, вся она чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась вся эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету, и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте. Даже Чернышевский в искреннем восторге от этой повести», — писал Некрасов Ивану Сергеевичу.

Когда новая повесть Тургенева была напечатана в 1858 году в первом номере «Современника», Чернышевский откликнулся на нее статьей «Русский человек на rendez-vous», носившей подзаголовок «Размышления по прочтении повести Тургенева «Ася».

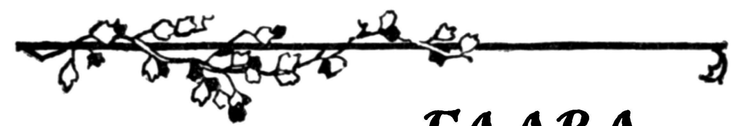
Отметив поэтические достоинства этого произведения, Чернышевский остановился на рассмотрении характера и поведения главного ее героя, родственного таким фигурам, как Бельтов, Рудин, Агарин и другие. «Он не привык понимать ничего великого и живого, — указывает Чернышевский, — потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе — он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спутается все его искусство...»

Статья писалась в ту пору, когда крестьянский вопрос сделался «единственным предметом всех мыслей, всех разговоров».

Это позволило Чернышевскому придать герою «Аси» значение символической фигуры, как бы олицетворяющей малодушие тех, кто, расточая фразы о свободолюбии, на деле оказались пособниками крепостников.

Критик безошибочно предсказал, как будут вести себя либералы в дни решительных классовых схваток.

Впоследствии Добролюбов в своих статьях «Что такое обломовщина?» и «Когда же придет настоящий день?» развил идеи, заложенные в статье Чернышевского, и дал глубокий анализ типических черт героев дворянской литературы.



ГЛАВА XXII

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»



В июне 1858 года Тургенев вернулся на родину. Два года отсутствовал он, и за это время произошли заметные и очень важные сдвиги в общественно-политической жизни страны. Явные признаки разложения феодально-крепостнического уклада самодержавной России проявлялись еще задолго до Крымской войны, финал которой с непререкаемой ясностью показал гнилость и бессилие крепостной России. В середине пятидесятых годов создались предпосылки революционной ситуации, которая четко обозначилась затем в период 1859—1861 годов.

Глубочайший кризис крепостнической системы развивался с нараставшей все время быстротой, создавая чрезвычайно напряженную обстановку в стране. Крестьянские волнения вспыхивали одно за другим. Они исчислялись уже сотнями. Ленин, характеризуя этот исторический этап, писал, что

даже «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» *.

Когда в 1856 году был подписан Парижский мир, главнокомандующий русской армии князь Горчаков сказал Александру II: «Хорошо, что мы заключили мир, дальше воевать мы были не в силах. Мир дает нам возможность заняться внутренними делами, и этим должно воспользоваться. Первое дело — нужно освободить крестьян, потому что здесь узел всяких зол».

Проблема освобождения крестьян стала выражением исторической неизбежности. Двумя путями могло произойти это освобождение.

Один путь, намеченный крепостниками и поддержанный либералами, — это реформа «сверху», предполагающая сохранение помещичьего землевладения.

Другой путь — уничтожение крепостничества и свержение царизма. Этот путь указывали революционные демократы, во главе которых стоял Чернышевский, призывавший народ под знамена крестьянской революции.

Правительство Александра II решило в 1856 году приступить с «благоразумной постепенностью», «осторожно и тихо» к подготовке отмены крепостного права при полном сохранении помещичьего землевладения.

Эта сделка либералов с крепостниками за счет «освобождаемых» без земли крестьян вызвала гневное возмущение Чернышевского, который разоблачал истинный смысл этой реформы.

Представители революционной демократии последовательно отстаивали интересы многомиллионных масс угнетенного крестьянства.

Шеф жандармов Долгоруков в докладе Александру II в 1858 году писал, что крестьяне «в ожидании переворота в их судьбе находятся в напряжен-

---

* *В. И. Ленин,* Соч., изд. 4-е, т. 5, стр. 27.

ном состоянии и могут легко раздражаться от какого-либо внешнего повода».

Внимание всей страны было приковано к крестьянскому вопросу. Волна общественного возбуждения вынесла его из стен правительственных комитетов и комиссий на страницы газет и журналов.

В эти дни Чернышевский писал: «Все здесь (в Петербурге. — *Н. Б.*), как и по всей России, заняты исключительно рассуждениями об уничтожении крепостного права».

Революционный образ мыслей Чернышевского и его союзников был чужд дворянским писателям, и логика борьбы не могла не привести впоследствии к решительному размежеванию сил в литературе.

К 1858 году положение Чернышевского в редакции «Современника» окончательно упрочилось. Влияние его чувствовалось во всем. Теперь уже несколько его единомышленников — Добролюбов, Михайлов, Сераковский, Шевченко и другие — систематически сотрудничали в журнале.

Некрасов, вернувшийся из-за границы значительно раньше Тургенева, сразу же с увлечением отдался редакционной работе в новых условиях. Наряду с Чернышевским ближайшим его помощником стал Добролюбов.

Уже при первом знакомстве с Николаем Александровичем поэт сказал ему, что просит его писать для журнала как можно чаще и больше. Некрасов сразу же оценил блестящие способности и обширные знания молодого критика.

Втроем намечали они теперь программу каждого номера. С осени 1858 года Добролюбов всецело взял на себя ведение раздела критики и библиографии, а Чернышевский занялся вопросами политики, философии, истории и политической экономии. У них созрел план перестройки «Современника» в соответствии с новыми задачами.

Либерально настроенные писатели, сотрудничавшие в журнале, упрекали Некрасова за его приверженность к Чернышевскому и Добролюбову.

Как-то раз за обедом у Николая Алексеевича Тургенев сказал:

— Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом — что ни статья, то автор-семинарист!

— Не все ли равно, кто написал статью. Была бы дельная, — возразил ему Некрасов.

— Да, да! Но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе? — вмешался в разговор Анненков.

— Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, — иронически заметила Авдотья Яковлевна Панаева, в подобных спорах всегда защищавшая Чернышевского и Добролюбова от нападок со стороны литераторов-дворян. — Как видите, не бесследна была деятельность Белинского: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.

— Вот, оказывается, господа, какого мнения здесь о нас, — заметил Тургенев, горько улыбнувшись.

Ополчаясь против Чернышевского и Добролюбова, писатели-либералы тем не менее нередко вынуждены были признавать их огромную интеллектуальную и моральную силу, обширность их знаний.

«Между сотрудниками «Современника», — пишет А. Панаева, — Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой. Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! И какая чертовская память!

— Я тебе говорил, что у него замечательная голова! — ответил Некрасов. — Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... утешительный факт, который показывает силу

русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как и Белинский.

Тургенев рассмеялся и воскликнул:

— Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в «Современнике»!

— Увидишь, — сказал Некрасов.

— Меня удивляет, — возразил Тургенев, — как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы можно было его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда! Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному! Я даже намекал на этот недостаток Добролюбову в своих разговорах с ним и уверен, что он примет это к сведению.

— Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то, сам сознайся, это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего».

Все чаще и чаще возникали подобные споры в редакции «Современника».

Тщетно пытались дворянские литераторы склонить Некрасова к отказу от сотрудничества с «публицистами-отрицателями» — Некрасов не уступал им. Все его симпатии были на стороне Чернышевского и Добролюбова, четко определивших политические позиции журнала.

Разрыв либералов с революционными демократами назревал с каждым днем, но еще не вылился в открытый конфликт. Новая обстановка, создавшая-

ся в редакции «Современника», Тургеневу была еще не вполне ясна, потому что он очень скоро покинул Петербург, отправившись в Спасское.

За границей работа над «Дворянским гнездом» шла медленно и трудно, хотя сюжет и композиция романа были тщательно продуманы.

В Спасском дело сразу двинулось вперед. Роман стал «вырабатываться», и у Тургенева явилась уверенность, что он закончит его к началу зимы. «Я пишу с удивительным спокойствием, — отмечает он в одном из писем, — только бы оно не отразилось на моем произведении. Ибо холодность — это уже посредственность».

Хотя время действия в «Дворянском гнезде», как и в «Рудине», отнесено к сороковым годам, печать живых, еще не остывших впечатлений от возвращения на родину лежит на описании пути Лаврецкого в свое родное Васильевское.

Читая это описание, мы чувствуем, что оно создавалось человеком, пережившим недавно после долгой разлуки грустную радость свидания с родными местами, что в эти строки вложена вся сила чувства любви автора к родине.

Васильевское, так поэтически изображенное в «Дворянском гнезде», списано, по свидетельству Фета, с «заглазного» тургеневского имения Топки в Малоархангельском уезде Орловской губернии. Сюда поэт приезжал с Тургеневым в летние месяцы 1858 года охотиться за болотной дичью.

Старый слуга Антон, о котором так тепло и участливо говорится в «Дворянском гнезде», — живое лицо: он прислуживал Тургеневу и Фету в Топках, принарядившись в серый сюртучок и надев белые вязаные перчатки. В романе сохранено его настоящее имя, не забыл Иван Сергеевич также и о нанковом сюртучке и вязаных перчатках Антона.

Ни в одном из романов Тургенева не прозвучали с такой ясностью автобиографические ноты, как звучат они в «Дворянском гнезде». Тургенев и сам не скрывал этого. Так, поздравляя через несколько лет Анненкова с женитьбой, он писал: «То, о чем я иногда

мечтал для самого себя, что носилось передо мною, когда я рисовал образ Лаврецкого, — свершилось над вами...»

Роман явился как бы продолжением рассказа «Фауст» и повести «Ася», написанных на переломе, когда душа писателя, по его собственному выражению, «вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости...».

Эти произведения связаны между собою и общностью настроения и сходством некоторых мотивов. Эпиграф из Гёте, взятый для повести «Фауст»: «Entbehren sollst du, sollst entbehren» *, мог быть предпослан и роману «Дворянское гнездо».

И само название романа отчасти перекликается с начальными строками рассказа «Фауст»: «Вот я опять в своем старом *гнезде,* в котором не был — страшно вымолвить — целых девять лет».

В судьбе Лаврецкого и Лизы есть общее с участью Павла Александровича и Веры: в «Фаусте» жизненная драма завершается смертью героини, в романе — ее уходом в монастырь, то есть полным отрешением от жизни.

И в «Дворянском гнезде» и в «Фаусте» не могло быть счастливого исхода, потому что свободу любящих сковывали непреодолимые условности и вековые предрассудки тогдашнего общества.

Замужняя Вера полюбила Павла Александровича. Он «разбудил ее душу». Но мысль о беззаконности этого чувства убивает ее: она заболевает и гибнет. Точно так же одно сознание «преступности» чувства к женатому Лаврецкому заставляет Лизу Калитину покинуть родной дом и уединиться в монастырской келье.

Ситуация и развязка в этих двух произведениях как будто различны, но сущность коллизии там и тут одинакова.

Перечитывая письма Тургенева той поры, мы яснее почувствуем атмосферу, в которой рождались замыслы двух повестей и «Дворянского гнезда».

---

* «Отказывай себе, смиряй свои желанья».

Он часто говорит в этих письмах о своей бесприютности, одиночестве и обреченности на скитальческую жизнь.

«Мне было горько стареться, не изведав полного счастья — и не свив себе покойного гнезда. Душа во мне была еще молода и рвалась и тосковала... Все это теперь изменилось... я окончательно махнул на все это рукой. Все затихло, неровности исчезли, внутренние упреки умолкли — к чему вздувать пепел? Огня все-таки не добудешь...»

Все это как-то перекликается с настроениями героя «Дворянского гнезда», когда его мечта о личном счастье была разрушена.

В размышлениях Лаврецкого о любви к родине, к ее людям, к природе тех мест, где прошло его детство и юные годы, много общего с подобными же мыслями самого Тургенева. Незадолго до своего возвращения в Россию он писал: «Но весна придет, и я полечу на родину, где еще жизнь молода и богата надеждами. О! с какой радостью я увижу наши полустепные места!»

Рассказывая о собственном творческом методе, Тургенев всегда подчеркивал, что он в своей литературной работе мог отталкиваться только от жизни, что при описании действующих лиц ему необходимо было постоянно «возиться» с людьми, «брать их живьем».

«Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности, — говорил он. — Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью...»

Успех создания типического образа зависел, по убеждению Тургенева, от умелого и наиболее полного отбора общих характерных черт, свойственных определенной категории лиц. Мы видели, что в Рудине изображены были не только некоторые стороны характера Бакунина и его внешний облик, но и собственные черты автора и черты ряда других деятелей того времени.

Вместе с тем, давая такой обобщенный образ, Тургенев должен был иметь перед собою «исходную точку», «живое лицо», к которому постепенно «примешивались и прикладывались подходящие элементы».

Беря характерные особенности разных лиц и тонко комбинируя их, Тургенев стремился добиться наибольшей жизненной убедительности и типичности.

Черновые бумаги, конспекты, формулярные списки героев и некоторые письма Тургенева показывают, что при создании центральных образов в своих произведениях — Рудина, Базарова, Нежданова — он использовал отдельные черты таких людей, как Бакунин, Добролюбов, Писарев. Но вместе с тем ни одно из этих исторических лиц не может считаться прямым и единственным прототипом того или иного образа. Большею частью тут было, по наблюдениям исследователей, соединение черт, заимствованных у разных «моделей».

Таким сложным обобщением явился и образ Лаврецкого; автобиографические мотивы переплелись в нем с чертами современников Тургенева, а «исходной точкой» в некоторых отношениях послужил, как нам представляется, Н. П. Огарев.

В описание наружности главного героя романа Тургенев внес ряд характерных черт, позволяющих говорить о внешнем сходстве Лаврецкого с Огаревым, хотя это, конечно, имеет лишь второстепенное значение.

«От его чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, навыкате и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно...»

Близко знавшие Огарева современники при описании его внешности говорят о его высокой широко-

плечей фигуре, о задумчивом выражении его глаз, о густых кудрявых волосах, о ровном мягком голосе, оставлявшем какое-то особенное впечатление.

Наклонность к созерцанию, чистосердечие и безыскусственность, спокойствие и уравновешенность — эти качества, свойственные Огареву, нашли отражение в обрисовке характера Лаврецкого. Но и этим уже не внешним, а психологическим сходством не ограничивается дело.

«Дворянское гнездо» задумано и начато в ту пору, когда Тургенев часто встречался с Огаревым и находился под живым впечатлением событий, связанных с личной жизнью друга Герцена. Своеобразно преломляясь и видоизменяясь в сознании художника, они-то, вероятно, и легли в основу сюжета романа. Ситуация, описанная в XII—XVI главах «Дворянского гнезда», из которой рождается завязка романа, во многом напоминает историю несчастливого брака Огарева с Марьей Львовной Рославлевой. Рассказывая в «Былом и думах» историю женитьбы своего друга, Герцен говорит: «Весть о его женитьбе испугала меня; все это случилось как-то скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу». Сатин, ближайший после Герцена друг Огарева, говоря о его женитьбе, заметил: «С той стороны, разумеется, не были упускаемы разные ловушки, которые не остались без успеха».

В первый раз после ареста Герцен встретился с Огаревым в 1839 году, когда друг его приехал к нему во Владимир вместе с женой. «Тут было не до разбора: помню только, что в первые минуты ее голос провел не хорошо по моему сердцу».

В короткой, одностраничной XIV главке «Дворянского гнезда» рассказана недолгая и несложная история сватовства Лаврецкого, не замечавшего расставляемых родителем невесты ловушек. Там сказано также, что «от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но

что трогало и возбуждало, — и уж, конечно, возбуждало не робость».

Невеста Огарева была бедной родственницей пензенского губернатора, взяточника и казнокрада, стремившегося сбыть свою племянницу на руки богатому жениху.

Отец Варвары Павловны Коробьиной, невесты Лаврецкого, отставной генерал, едва отвертелся от истории, когда раскрылось придуманное им средство пускать «в оборот» казенные деньги. Чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого он выведывал у его приятеля Михалевича, сколько у того душ. «Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновенье признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат».

О такой же точно расчетливой трезвости, сдержанности и холодном самообладании Марьи Львовны говорится в XXV главе «Былого и дум».

Но Огарев был ослеплен в то время. «Да, — пишет Герцен, — это были те дни полноты и личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия, молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергия...»

«Петербург и две-три аристократические гостиные вскружили ей голову, — продолжает свой рассказ Герцен о Марье Львовне. — Ей хотелось внешнего блеска, ее тешило богатство... Много бед могло развиться из такой противоположности вкусов. Но ей было ново и богатство, и Петербург, и салоны... Она насильно увлекала Огарева в пустой мир, в котором он задыхался от скуки».

Как все это похоже на развитие событий в романе, когда Варвара Павловна увезла Лаврецкого в Петербург, где они провели две зимы «в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире, много завели знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки.

Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь...»

Он уединялся, ища спасения от салонной скуки в своем кабинете за книгами.

Затем Варвара Павловна порадовала Лаврецкого рождением сына, «но бедный мальчик жил недолго; он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья... Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко...».

С некоторыми вариациями, но примерно так же сложились обстоятельства и для Марьи Львовны. Несколько лет она вела в высшей степени рассеянную жизнь львицы модных курортов, затем поселилась в Париже.

Разрыв Огарева с женой произошел за границей. Там же порывает с Варварой Павловной и Лаврецкий. Убедившись в ее измене, он покидает ее, определив ей солидное ежегодное содержание, подобное тому, какое было выделено Марье Львовне.

П. В. Анненков в статье «Идеалисты тридцатых годов» рассказывает, что, задержавшись за границей еще на год после окончательного разрыва с женой, Огарев «посвятил это время на то, чтобы явиться в Россию с новой физиономией, убить в себе старого романтического человека, выйти через науку к реальной жизни и деятельности, убежать, как он сам говорил, aus dem Blauen hinaus * и показаться на родине преобразованною и определившеюся личностью. В 1846 году он вернулся домой действительно в новом виде, хотя и не в том, за которым гнался, но давшем ему особенное типическое выражение, которое он и сохранил уже до конца жизни».

* Вон из мечты.

Печально в угол из угла
Бродя один в своей квартире,
Решил он, что пора пришла,
Чтоб *дело делать* в этом мире:
Начать воспитывать крестьян,
В их нравах делать улучшенья,
Зерно ума и просвещенья
Посеять в глушь далеких стран.
Решил — и в путь пустился дальний,
В свою деревню, край печальный.

Так претворил поэтически свои мысли и настроения Огарев после случившейся личной драмы.

Любопытно, что это выражение «дело делать» мы найдем и в романе Тургенева. «На женскую любовь ушли мои лучшие годы, — продолжает думать Лаврецкий, — пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша «делать дело».

И в эпилоге романа, в мысленном обращении к молодому поколению Лаврецкий снова повторяет: «Вам надо дело делать».

О долге передовых людей перед народом напомнил в свое время Лаврецкому его университетский друг, честный и восторженный разночинец Михалевич. Образ «сеятеля ума и просвещения», встречающийся в приведенном здесь стихотворном отрывке, мы находим и в описании последнего разговора Михалевича с Лаврецким. «И когда же, где же вздумали люди обайбачиться?.. У нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед богом, перед народом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит...»

«Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким... умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян... Даже сидя в тарантасе... он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия...»

Слова его упали на благодатную почву. Они «неотразимо вошли в душу Лаврецкого, хоть он и спорил с ним».

Лаврецкий и его друг понимали под словами «дело делать» как раз то самое, о чем говорится в стихотворном отрывке Огарева. Мы знаем из эпилога романа, что в Лаврецком в конце концов совершился тот перелом, «которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца...». Он «не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности... сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян».

Подробнее об этом ничего не сказано, но, коснувшись бегло самого вопроса, автор сделал необходимую и ясную оговорку: «насколько мог».

В конце 1846 года Огарев принялся за хозяйство— и безуспешно (из-за полнейшей непрактичности, свойственной ему) пытался осуществить свою старую мысль об улучшении быта крестьян через вольнонаемный труд на заводах.

Таким образом, и здесь можно говорить о некоторой общности устремлений героя «Дворянского гнезда» и Н. П. Огарева при всем различии их политических взглядов, их дальнейшей деятельности и судьбы.

Возможность возрождения и личного счастья открылась на короткое время для Лаврецкого после того, как до него дошло газетное известие о смерти Варвары Павловны. Последующее развитие жизненной драмы, изображенной в романе, основывалось на ошибочности этого известия.

Варвара Павловна неожиданно предстала перед Лаврецким в те дни, когда он снова полюбил и, с трудом преодолевая горькие сомнения, уже начинал верить в возможность внутренней гармонии и нового счастья.

Убедившись в том, что полюбил Лизу, Лаврецкий сначала не испытывал никакого радостного чувства. «Неужели, — подумал он, — мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чета *той*: она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не от-

влекала бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед, к прекрасной цели...»

Для Огарева луч надежды на возрождение загорелся в 1848 году, когда из Франции на родину вернулись Тучковы. Они были соседями по имению с Огаревым. Последний, живя в своем старом Акшине, часто наезжал к ним в Яхонтово. Его связывала многолетняя дружба с Алексеем Алексеевичем Тучковым, дочери которого — Елена и Наталья относились к Огареву с большой симпатией, особенно младшая, Наталья.

Еще прежде Огарев затронул детское воображение Натальи Тучковой. Молодой человек, которому было тогда двадцать три года, садился иногда полушутя играть в шахматы с семилетней девочкой, изредка случалось ему принимать участие в домашних спектаклях в Яхонтове, он охотно ходил на прогулки с сестрами, забавлял их, шутил с ними.

Потом он надолго исчез с горизонта — это был период его заграничных путешествий. Затем поехали путешествовать за границу Тучковы.

Когда они снова встретились в родных местах, Огареву было тридцать пять лет, а Наталье Алексеевне девятнадцать. Это был возраст Лаврецкого и Лизы Калитиной.

Тучковой приходилось часто слышать разговоры о несчастной женитьбе Огарева, и, может быть, она тогда уже прониклась состраданием к нему, а сострадание бессознательно перешло потом в чувство любви.

И в Париже, где Тучковы жили вместе с Герценами, они также часто говорили о своем общем друге. Позднее Н. А. Тучкова-Огарева прямо писала: «После разговоров с Натальей Герцен об Огареве, после чтения с ней его стихов моя душа была полна мыслей о нем... Когда мы приехали из чужих краев, Огарев был уже в деревне. Как он услышал, что мы возвратились, он приехал тотчас, но он не был весел, а смотрел как-то озабоченно...»

Огарев действительно мог сказать, подобно Лаврецкому, что в нем разрушился целый мир, к которому он был привязан.

Мой путь уныл, сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море...

Наезды поэта в Яхонтово с той поры стали учащаться, и вскоре все разъяснилось. Уже в начале февраля 1849 года Огарев и Наталья Тучкова в письме к Герценам признались, что любят друг друга. «Вы этого желали, моя Тата», — обращалась Тучкова к Наталье Герцен.

Впрочем, друзья их догадывались об этом и сами. «Еще за то Вам жму руку, — писала потом Н. Тучкова Наталье Герцен, — что Вы отгадали, что люблю Огарева, я думала, что Вы это знали, я не скрывала, но и не говорила... оттого не сказала, что Вы меня об этом спросили в Риме, вскоре после нашей встречи (в 1847 г.), и я сконфузилась страшно, если Вы помните. Потом я не хотела быть задавленной никаким чувством и поэтому стремилась выработать светлую, прочную дружбу, но взялась не за свое дело...»

Совсем как у Лизы Калитиной: любовь, родившаяся из дружеского участия и сострадания.

Не только Наталья Александровна Герцен, но и Тургенев в Париже был конфидентом Натальи Тучковой. Об этом ясно говорят приписки в ее письмах, касающиеся его. «Если увидите Тургенева, скажите ему, что я ему крепко жму руку и желала бы его видеть, потому что я счастлива и еще более любви имею в душе, чем когда он меня знал (в Париже, в 1848 году. — *Н. Б.*). Я помню его теплое участие ко мне...»

Затем еще более ясная приписка: «Тургеневу пожмите руку; скажите ему, что я, наконец, в реальности и помню наши разговоры, и раскрываю его книжечку...»

Становится понятно, что автор комедии «Где тонко, там и рвется», написанной в Париже в 1848 году и напечатанной в том же году в «Современнике»

с посвящением *Наталье Алексеевне Тучковой,* в разговорах с нею указывал ей на нереальность ее мечтаний о любви к Огареву.

Теперь Тучкова возражает ему и просит передать, что она счастлива, что в душе у нее «еще больше любви» (к Огареву) и что это уже не мечта, а реальность. Решение принято, жребий брошен — она может спокойно заглядывать в записную книжечку, подаренную Тургеневым в Париже на прощанье в 1848 году, в которой он просил ее не принимать какого-либо жизненно важного решения, не взглянув «на эти строки и не вспомнив, что есть на свете человек, который ее никогда не забудет...».

И при всем том в Наталье Тучковой было, по-видимому, очень мало сходства с Лизой Калитиной. Она могла быть ее «прототипом» только по контрасту. Да так и должно было быть, ибо Тургенев, разумеется, хотел в конце концов устранить возможность прямых аналогий.

Лиза Калитина с детства была погружена в мир религиозных представлений и преданий, недаром ее комнатку Марфа Тимофеевна называет кельей, недаром ее учитель музыки сочиняет для нее духовную кантату. Все как-то незаметно и незримо клонит к тому, что она покинет дом и уйдет в монастырь. Полюбив, она втайне надеялась «привести Лаврецкого к богу».

Атеистически мысливший Огарев, напротив, надеялся привести Наталью Тучкову к материалистическому мировоззрению и успел в этом.

Наталья Алексеевна в пору сближения с Огаревым смотрела на самый обряд венчания как на безразличный факт, который разве что спасет ее и Огарева от притеснений общества и властей.

А эти притеснения скоро дали почувствовать себя со всей силой.

Покидая летом 1850 года Париж и надолго расставаясь с Герценом, Тургенев обещал обнять от его имени всех его друзей в России. «Мы много будем говорить о тебе с ними. Постараюсь также доставить тебе сведения об Огареве и пр.».

Вероятно, сведения об Огареве и Тучковых легко и в изобилии были получены Тургеневым — ведь у них было много общих друзей и хороших знакомых (Анненков, Сатин, Кетчер, Боткин).

Но сведения эти не могли порадовать Герцена.

Мы не будем прослеживать, какие биографические элементы могли дать и дали в той или иной мере материал для ткани тургеневского художественного произведения (например, гувернантка Натальи Тучковой француженка Моро так и перешла в роман как гувернантка Лизы со своим именем — Моро. Знаменитый композитор Ф. Лист посещал салон Марьи Львовны Огаревой. В романе отмечена эта деталь: «Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост — прелесть!»).

Все это может быть предметом особой работы. В данном случае интересен другой вопрос: в чем личная драма Лаврецкого и Лизы была похожа на то, что было пережито Огаревым и Тучковой до их отъезда в Лондон в 1856 году?

Сущность происходившей драмы сама Тучкова определила как «невозможность легального брака». Чувства полюбивших друг друга Огарева и Тучковой подвергались тягостнейшим испытаниям из-за того, что Марья Львовна отказывалась дать согласие на развод. Тщетно просил Огарев Наталью Герцен «похлопотать» на этот счет «осторожно около Марьи Львовны.»

Только смерть этой женщины могла снять и сняла с них тягость безысходного положения.

В жизни произошло то, что в романе показано как неосуществленная возможность, поманившая на минуту Лизу и Лаврецкого миражем личного счастья. Но мираж быстро рассеялся — оказалось, что известие о смерти Варвары Павловны было ошибочным.

А в жизни тоже случилась ошибка, но иного характера. Не зная, что в марте 1853 года жена его умерла в Париже, Огарев просил своего поверенного возбудить дело о разводе с нею. Только в сентябре до него дошла весть, что Марьи Львовны нет в живых.

В романе Варвара Павловна жива, но ее считают умершей. А в жизни Марья Львовна умерла, а ее продолжают считать живой.

Новизна содержания «Дворянского гнезда» заключалась прежде всего в трагическом столкновении Лаврецкого с лживой моралью тогдашнего общества.

Тургенев впервые в русской литературе поставил в «Дворянском гнезде» очень важный и острый вопрос о церковных путах брака. Но сделано это было автором так тонко и незаметно, что не сразу угадывалось. Писарев, а затем Добролюбов с присущей им проницательностью разгадали настоящий подтекст «Дворянского гнезда». Однако, не имея возможности подробно разбирать роман под таким углом зрения, они ограничились лишь глухим указанием на данное обстоятельство. Но об этом в своем месте.



ГЛАВА XXIII

ИНЦИДЕНТ С ГОНЧАРОВЫМ. «НАКАНУНЕ». РАЗРЫВ С «СОВРЕМЕННИКОМ»



Закончив роман, Тургенев стал собираться в Петербург.

30 октября 1858 года он написал Фету, который в это время уже перебрался на зиму в Москву: «Пишу к Вам две строки, чтобы, во-первых, попросить позволения поставить у Вас на дворе на несколько дней мой тарантас, а, во-вторых, чтобы предуведомить Вас о моем приезде в Москву не ранее пятого или шестого ноября. До скорого свидания».

«Действительно, — вспоминал Фет, — 5 ноября не успели мы окончить кофею, как у нашего крыльца прогремел знакомый мне тарантас и в дверях передней я встретил взошедшего по лестнице Тургенева. Входя в отведенный ему кабинет мой, он сказал, что, оправившись с дороги, выйдет пить чай к хозяйке.

За чаем он был, чувствуя себя здоровым, весел и сказал, что сегодня никуда не поедет со двора, а уся-

дется писать письма и будет обедать дома и разве вечером куда-нибудь сбегает. Когда через несколько времени я вошел к нему, то не узнал своего рабочего стола.

— Как вы можете работать при таком беспорядке? — говорил Иван Сергеевич, аккуратно подбирая и складывая бумаги, книги и даже самые письменные принадлежности.

За исключением С. Т. Аксакова, не выезжавшего из дому по причине мучительной болезни, кто только не перебывал из московской интеллигенции за три дня, которые провел он в нашем доме».

Между прочим, в Москве издатель «Русского вестника» М. Н. Катков просил Тургенева отдать «Дворянское гнездо» в его журнал. Но Тургенев отказался от предложения Каткова, не желая нарушать слово, данное Некрасову.

Приехав в Петербург, он все еще занимался окончательной отделкой романа. Наконец чтение «Дворянского гнезда» в дружеском кругу литераторов было назначено на 28 декабря.

Но читать сам Тургенев не мог, потому что сильно простудился и потерял голос. Он просил Анненкова заменить его на этот раз, на что последний охотно согласился.

Слушать чтение романа явились Некрасов, Дружинин, Писемский, Панаев, Боткин, Никитенко, Гончаров и несколько приятелей Тургенева не из писательской среды: И. Маслов, Н. Тютчев, М. Языков.

Чтение заняло два вечера и прошло с необыкновенным подъемом — все единодушно признали роман новой огромной удачей автора.

Петербургские писатели, слушавшие «Дворянское гнездо», собираясь после этого чтения на литературных обедах то у Гончарова (в канун нового года), то у Некрасова (2 января), продолжали подробно и оживленно обсуждать новый роман.

Многие предсказывали Тургеневу, что его ждет овация со стороны читателей, но никто не предвидел, какой она примет характер по выходе журнала.

Впоследствии Тургенев и сам отметил в предисловии к романам, что «Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпадал на его долю.

Из последовавших многочисленных критических откликов значительный интерес представляют высказывания Писарева и Добролюбова.

В пору написания статьи о «Дворянском гнезде» Писареву было девятнадцать лет, однако его разбор романа отличался редкой зрелостью и самостоятельностью мысли, глубиной и мастерством анализа.

Он показал, что в произведениях Тургенева очень силен национальный колорит и велико всестороннее знание русской жизни, притом не книжное, а вынесенное из действительности. В «Дворянском гнезде», которое Писарев назвал самым стройным и законченным из созданий Тургенева, это знание, по мнению критика, выразилось особенно ярко.

Писарев указал, что «в положении главных действующих лиц, в самой завязке романа много горькой жизненной истины» и что тема «Дворянского гнезда» не могла не возбуждать в сознании передовых читателей протест против понятий, принятых в обществе и освященных временем.

Уже в этой ранней статье критика отмечена главная особенность и своеобразие писательской манеры Тургенева, избегавшего обнаженных приемов и подчеркнутого задания.

Заключая свои рассуждения о романе, Писарев говорит: «Как истинный художник, Тургенев не мог и не должен был высказать свою мысль резко: он показал в личности Лизы недостатки современного женского воспитания, но он выбрал свой пример в ряду лучших явлений, обставил выбранное явление так, что оно представляется в самом выгодном свете. От этого идея автора не бросается прямо в глаза. Ее надо искать, в нее надо вдуматься, но зато она тем полнее и неотразимее подействует на ум читателя».

Добролюбов не выступил с развернутым разбором «Дворянского гнезда», вероятно, по причинам.

о которых уже говорилось выше. Не подвергая анализу роман, высказываясь о нем лишь мимоходом, он, как и Писарев, отметил, что «самое положение Лаврецкого, самая коллизия, избранная Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должны наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью».

Добролюбов не стал расшифровывать, что̀ он подразумевал под огромным отделом понятий, но нет никакого сомнения, что речь шла о религиозно-моральных устоях тогдашнего общества.

Революционные демократы единодушно признали большую идейную ценность и исключительные художественные достоинства «Дворянского гнезда».

Салтыков-Щедрин говорил, что после прочтения таких произведений легко дышится, легко верится, тепло чувствуется.

Светлый, чистый образ Лизы, глубина патриотического чувства Лаврецкого, которого Писарев назвал «сыном своего народа», непревзойденные по красоте описания русской природы — все это позволило критике безоговорочно отнести «Дворянское гнездо» к разряду классических произведений русской литературы.

Непредвиденный и странный эпизод отчасти омрачил тогда радость Тургенева по поводу успеха его романа. Виновником этого оказался Гончаров.

На протяжении долгого времени он делился с Иваном Сергеевичем своими творческими планами и замыслами. Ценя критическое чутье Тургенева и доверяя его литературному вкусу, он охотно читал ему свои произведения то целиком, как «Обломова», то в отрывках, как то было с «Обрывом». Этот роман был пока еще почти весь в замысле, и даже само название его не установилось окончательно — сначала Гончаров думал озаглавить его «Художник».

Иногда за разговором Гончаров принимался с увлечением рассказывать Тургеневу задуманные сцены, эпизоды и главы, как бы отдавая их на проверку тонкому знатоку и мастеру.

В такие минуты он говорил волнуясь, торопливо, отрывисто, сам захваченный красотою встававших перед ним картин родной Волги, обрывов, заросших бурьяном, рисовал сцены свидания Веры с Волоховым в лунные ночи на дне оврага и в саду, ее прогулки, разговоры с Райским...

Кристаллизовались замыслы Гончарова всегда очень долго, сложно. Он сам признавался, что любая вещь вырабатывалась у него в голове медленно и тяжело, поэтому писались его романы с необычайной медлительностью и были отделены один от другого десятилетиями.

Эта особенность Гончарова стала одной из причин его авторской подозрительности. Первая открытая вспышка ее проявилась тотчас же после чтения «Дворянского гнезда».

Как только чтение закончилось и со всех сторон посыпались похвалы автору, у Гончарова от волнения сжалось сердце.

Прежде Тургенев был в его глазах непревзойденным рассказчиком, миниатюристом и автором небольших повестей, теперь вдруг с таким успехом, даже триумфом выходил на поприще романиста.

Гончарову показалось, что в «Дворянском гнезде» и в планах его собственного будущего романа, о котором столько было разговоров с Тургеневым, есть ряд схожих ситуаций и фигур, несколько совпадающих мотивов, что именно по канве его изустных рассказов Иван Сергеевич набросал сжато и кратко лучшие места в своем романе.

Дождавшись, пока разойдутся гости, Гончаров начал свои объяснения, заявив изумленному Тургеневу, что прочитанная повесть представляется ему слепком с романа «Обрыв».

В дальнейшем разговоре Гончаров упорно настаивал на сходстве некоторых деталей в «Дворянском гнезде» и в планах «Обрыва».

Тогда Тургенев со свойственной ему мягкостью и уступчивостью согласился даже устранить из своего романа сцену второго объяснения Марфы Тимофеевны с Лизой, показавшуюся Гончарову похожей на

аналогичный эпизод объяснения Веры с бабушкой в «Обрыве».

Но это было ошибкой со стороны Тургенева: успокоив на время возбуждение Гончарова, он вместе с тем дал ему повод считать необоснованные подозрения хотя бы в какой-то мере оправданными.

Несмотря на размолвку, Гончаров по-прежнему продолжал встречаться с Тургеневым, хотя отношения их стали заметно суше и сдержаннее.

Время от времени Гончаров возвращался к наболевшей теме. Тургенев, желая положить этому конец, предлагал передать вопрос на решение третейского суда. Но Иван Александрович уклонялся, ссылаясь на то, что подобное дело может подлежать лишь суду двух совестей, а что свидетели тут не нужны и вряд ли возможны.

Когда Тургенев отправлялся весною 1859 года ненадолго в Спасское перед отъездом за границу, Гончаров провожал его на вокзал, и даже здесь они все еще продолжали разговор на прежнюю тему, начатый накануне.

— Надеюсь, хоть теперь вы убедились, наконец, что не правы, — говорил Иван Сергеевич, прощаясь с Гончаровым и становясь на подножку вагона.— Спросите у Анненкова, ведь вот когда еще рассказывал я ему о плане моего романа...

Поезд тронулся...

Через несколько дней вдогонку Тургеневу, в Спасское было отправлено пространное письмо, в котором Гончаров настойчиво продолжал убеждать адресата в том, что его ошибка заключается в непонимании своих свойств, что сколько бы он ни написал еще повестей и романов, он не превзойдет своей «Илиады», своих «Записок охотника», где нет ошибок, где все так просто, высоко, классично и блистательно.

Он призывал Тургенева идти своим путем, окончательно уяснить, определить самому себе свои свойства, силы и средства.

«Я... рою тяжелую борозду в жизни, потому что другие свойства заложены в мою натуру и в мое воспитание... Мы оба любим искусство, оба — смею

сказать — понимаем его, оба тщеславны, а Вы, сверх того, не чужды в Ваших стремлениях и некоторых страстей... которых я лишен по большей цельности характера, по другому воспитанию и еще... не знаю почему, — по лени, вероятно, и по скромности мне во всем на роду написанной доли. У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я много служу искусству, как запряженный вол, а вы хотите добывать призы, как на course au clocher» *.

Снова и снова убеждал Гончаров Тургенева: «Вам дан нежный, верный рисунок и звуки, а Вы порываетесь строить огромные здания или цирки... для зодчества нужно упорство, спокойное объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно, и в таланте...»

И хотя Гончаров уже убедился, что «Дворянское гнездо» произвело «огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал», он в этом письме все же писал так:

«Дворянское гнездо»... про него я сам ничего не скажу, но вот мнение одного господина, на днях высказанное в одном обществе. Этот господин был под обаянием впечатления и между прочим сказал, что когда впечатление минует, в памяти остается мало; между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказывается история барыни (Варвары Павловны), но что, очевидно, автора занимает не она, а картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость взятого круга жизни; но что гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске у кареты, ночная беседа двух приятелей — совершенство, и они-то придают весь интерес и держат под обаянием, но ведь они могли бы быть и не в такой большой раме, а в очерке и действовали бы живее, не охлаждая промежутками...

Сообщаю Вам эту рецензию учителя (он — учитель) не потому, чтоб она была безусловная правда,

* Скачках с препятствиями.

а потому, что она хоть отчасти подтверждает мой взгляд на Ваше произведение...»

И опять стремился Тургенев успокоить взволнованного и мнительного корреспондента: «Скажу без ложного смирения, что я совершенно согласен с тем, что говорил «учитель» о моем «Дворянском гнезде». Но что же прикажете мне делать. Не могу же я повторять «Записки охотника» ad infinitum! * А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на цельность, ни на крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать, что мне приходит в голову...»

Перед отъездом в Спасское Тургенев рассказал Гончарову сюжет своего следующего романа, героиней которого должна была быть восторженная девушка, покидающая родной дом и отправляющаяся вместе с болгарином, которого полюбила, на его родину, чтобы бороться за ее освобождение из-под власти турок.

И Гончарову уже мнилось, «нет ли тут еще *гнезда,* продолжения его, то есть одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром...»

Рецензируя в февральском номере «Современника» 1859 года пьесу А. Н. Островского «Воспитанница», Добролюбов уделил в рецензии несколько слов и «Дворянскому гнезду». Он писал: «...высокое и чистое наслаждение, испытанное нами при чтении этой повести, давно уже, конечно, разделили все читатели, и без сомнения все согласны, что одного такого произведения было бы уже достаточно, чтобы сделать очень замечательным литературное начало нынешнего года».

Но начало это было ознаменовано не только появлением «Дворянского гнезда». Одновременно с ним в другом журнале, в «Отечественных записках», был напечатан «Обломов» Гончарова.

---

* До бесконечности!

Оба эти произведения, каждое по-своему, показали, что тема «лишнего человека» уже окончательно исчерпана.

Появление романа Гончарова вызвало вскоре статью Добролюбова «Что такое обломовщина?», напечатанную в «Современнике». В ней критик, между прочим, уделил также место и сравнительному анализу типов, выведенных в повестях, рассказах и романах Тургенева.

На ряде литературных примеров Добролюбов показал, как возникает и все сильнее дает себя чувствовать разрыв между требованиями жизни и внутренним миром героев дворянской литературы. Он прослеживает и отмечает «родовые черты обломовского типа» в образах Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, Чулкатурина, Василия Васильевича — Гамлета Щигровского уезда.

Статья Добролюбова, как и «Русский человек на rendez-vous» Чернышевского, со всей остротою ставила перед современными писателями, и особенно перед Тургеневым, вопрос о дальнейшем творческом пути.

Тургенев, отличавшийся исключительной чуткостью к общественным веяниям, не остался глух к призывам передовой критики. Он, по-видимому, очень внимательно прочитал статью Добролюбова.

Как ни велик был успех «Дворянского гнезда» у читателей, Тургенев отлично понимал, что героями его последующих произведений должны быть люди, не похожие на Рудина и Лаврецкого, на Наталью и Лизу.

На смену им жизнь выдвигала людей, обладающих «широкой решимостью» и «благородным риском», стремившихся посвятить себя общественному служению. Литература еще не дала портретов этих новых людей.

Роман Тургенева «Накануне» явился первой попыткой такого рода.

Едва успел дойти до подписчиков номер «Современника» с «Дворянским гнездом», как Тургенев уже принялся за составление плана нового романа, кото-

рый в черновой редакции он назвал сначала по имени главного героя — «Инсаров», а потом зачеркнул это название и заменил его символическим многозначительным заголовком — «Накануне».

«Повесть названа мною так ввиду времени ее появления. Новая жизнь началась тогда в России — и такие фигуры, как Елена и Инсаров, являются провозвестниками этой новой жизни», — писал Тургенев.

Давно, уже на протяжении нескольких лет, созревал в сознании писателя замысел этого романа, но только теперь, после того как были написаны «Рудин» и «Дворянское гнездо», он почувствовал, что может приступить к его осуществлению.

Создавая свои романы, Тургенев с каждым разом подходил все ближе к решению самых важных вопросов современности. Он хотел последовательно, этап за этапом, показать жизнь русского общества в предреформенную эпоху, обрисовать типы «лишних людей», которые являлись представителями лучшей части дворянского общества, рассказать об их чаяниях и стремлениях и лишь после этого перейти к изображению следующего исторического периода, выдвинувшего новых деятелей и новые задачи.

«В основание моей повести, — писал Тургенев И. Аксакову, — положена мысль о необходимости *сознательно*-героических натур... для того, чтобы дело подвинулось вперед».

Вот когда пригодилась, наконец, Тургеневу тетрадь, давным-давно переданная ему соседом по имению Василием Каратеевым. Ведь еще в 1854 году Тургенев, прочитав ее, воскликнул: «Вот тот герой, которого я искал!»

Но в ту пору не пришло еще, по-видимому, время воплощения этого замысла.

В записках Каратеева было намечено беглыми штрихами то, что составило потом содержание романа «Накануне».

«Рассказ, впрочем, не был доведен до конца, — говорит Тургенев, — и обрывался круто: Каратеев во время своего пребывания в Москве влюбился в одну

девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, познакомившись с болгарином Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине) — полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре и умер. История этой любви была передана искренно, хотя и неумело. Каратеев действительно не был рожден литератором. Одна только сцена, именно: поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — я в моем романе сохранил ее главные черты».

Тургенев читал приятелям эту рукописную повесть Каратеева, носившую название «Московское семейство». Всем она казалась очень слабой и не заслуживающей внимания. Однако писатель не переставал раздумывать над ней, смутно чувствуя, что сюжетная схема повести Каратеева еще послужит ему при решении задачи, поставленной в новом романе.

В работе над большими произведениями у Тургенева складывалась постепенно своя система, вырабатывались свои правила и навыки, свой стиль и метод.

Характеризуя их, известный французский исследователь его жизни и творчества профессор Андре Мазон говорит: «Тургенев организовывал свою работу спокойно, как человек вкуса и порядка, не зная ни нервности, ни торопливости в работе. Он трудился много, но спокойно и размеренно».

О том, как протекал у него обычно первоначальный этап творческого процесса, Тургенев рассказал однажды своему знакомому — А. Половцеву:

«Сперва начинает носиться в воображении одно из будущих действующих лиц, в основе которых у меня почти всегда лежат реальные лица».

Вспомним, как создавались образы Рудина, Лаврецкого, вспомним о прототипах «Первой любви», «Пунина и Бабурина» и других произведений Тургенева.

«Часто лицо, которое занимает вас, — продолжал писатель, — не главное, а одно из второстепенных, без которого, однако, не было бы и главного».

Так возникла сначала, как мы знаем, фигура Пигасова, и только после этого вырисовался окончательно облик Рудина.

«Задумываешься над характером, его происхождением, образованием; около первого лица группируются мало-помалу остальные».

Подготовительный период, «когда в воображении носятся, всячески переплетаясь, туманные образы», Тургенев считал самым приятным для художника временем. Мы знаем, впрочем, что и на этой стадии работы существует своя особая сложность, напоминающая игру в шахматы à l'aveugle *, ибо еще ничего не закреплено на бумаге, а все надо держать в памяти.

В конце марта 1859 года Тургенев писал Е. Ламберт: «Я теперь занят составлением плана для новой повести; эта работа довольно утомительная, тем более что она никаких видимых следов не оставляет: лежишь себе на диване или ходишь по комнате да переворачиваешь какой-нибудь характер или положение».

Когда план романа уже сложился в общих чертах и наметился весь состав действующих лиц (а Тургенев обычно шутливо называл их своим персоналом), он завел особую тетрадь, озаглавив ее «Формулярные списки действующих лиц новой повести».

Сюда он заносил главные факты из их «биографий», давал им короткие характеристики, отмечал их психологические особенности, их повадки, привычки и т. п.

Любопытно, что и в самом романе мы встречаем этот термин — в главе XII Шубин говорит: «...вот формулярный список господина Инсарова...» — и далее дает его характеристику.

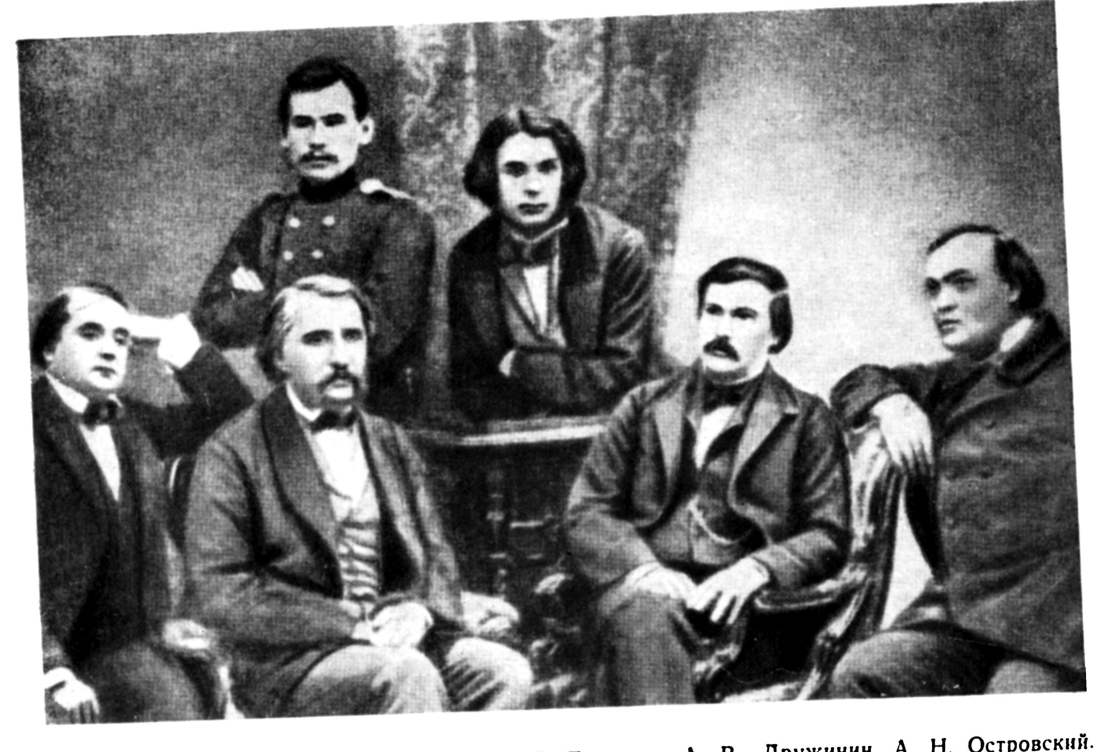
Вплотную к работе над романом Тургенев приступил в Виши летом 1859 года.

Она захватила и увлекла писателя до такой степени, что он почти ни с кем не виделся и не знал, что творится вокруг. Иногда он уподоблял себя вои-

* Вслепую.

Н. П. Огарев.

А. И. Герцен.



В первом ряду: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский.
Во втором ряду: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович.

ну, который, находясь в дыму сражения, не знает, победил он или разбит. Порою сравнивал себя с каменотесом — кругом пыль столбом, а он работает киркой до изнеможения.

«Я беспрестанно вожусь с моими лицами, даже во сне их вижу»,— писал он в июле 1859 года Е. Ламберт.

Немалой трудностью для автора было то, что образ Инсарова создавался без живого прототипа. Тем не менее Тургеневу удалось нарисовать запоминающийся портрет главного лица.

Недаром в одной из прокламаций народовольцев говорилось о героях «Накануне», что «это живые и выхваченные из жизни образы...», что это «типы, которым подражает молодежь и которые сами создавали жизнь...».

Закончил свой роман Тургенев поздней осенью 1859 года, по возвращении в Спасское.

Исключительно важное значение «Накануне» заключалось в том, что это был первый роман о герое-разночинце, о герое-революционере, посвятившем свою жизнь борьбе за благо народа.

Современная Тургеневу критика сразу же отметила большую общественную значимость его произведения, выдающуюся роль автора в развитии русского социально-политического романа.

«Накануне» всколыхнуло широкие круги русских читателей, искавших ответа на вопросы о будущем России, о роли женщины в тогдашнем обществе, о политическом деятеле новой формации.

Действие «Накануне» отнесено к тому времени, когда «события быстро развивались на Востоке, занятие княжеств русскими войсками волновало все умы; гроза росла, слышалось уже веяние близкой неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится; старые обиды, давние надежды — все зашевелилось...».

В это время болгарский патриот Никола Филипповский готовил восстание в Тырнове, болгарский революционер Г. Раковский с собранной им дружиной намеревался соединиться с русскими войсками.

Но не только в тылу у турок пробудились старые обиды и давние надежды. В самой России готовились к борьбе люди, страстно ненавидевшие произвол и ждавшие народного восстания против «внутренних турок» — против самодержавного правительства.

События, описанные в романе, связаны с началом Крымской войны 1853—1855 годов, однако в нем явственно отразились идеи и настроения, возникшие в русском обществе в канун революционной ситуации шестидесятых годов, то есть как раз в то время, когда создавалось произведение Тургенева,

За эти пять лет в России произошли колоссальные сдвиги. Все жили предчувствием смены одной формы общества другой. В народных массах и среди передовой интеллигенции, главным образом среди студенческой молодежи, росли революционные настроения. Крестьяне жили в напряженном ожидании воли, среди них росло недовольство, вспыхивали волнения и бунты.

Жизнь выдвигала новые задачи, новые вопросы, самым важным из которых был вопрос о путях дальнейшего развития страны. Как произойдет освобождение крестьян? Революционным путем или в результате реформы? Как сложится будущее общественное устройство России? Вокруг этих проблем разгорались страсти, кипели споры, велась полемика на страницах газет и журналов.

Начинался разночинно-демократический период русского революционно-освободительного движения. В борьбе с реакционерами и либералами выковывалась новая общественная сила, заявлявшая о своих правах на руководящую роль в исторической жизни страны.

Тургенев, быстро угадывавший, по определению Добролюбова, новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, попытался первым отразить в художественном произведении этот перелом.

Главный герой его романа разночинец Инсаров противопоставлен мягкому и кроткому Берсеневу и беспечному, избалованному Шубину.

Инсаров олицетворяет непреклонную волю к борьбе с поработителями родины. Он непоколебимо верит в успех и правоту своего дела. У Инсарова «настоящий, живой жизнью данный идеал». Ему свойственны молчаливая настойчивость, прямота, точность, он не меняет своих решений и не откладывает исполнения данного обещания. «Он знает, за что готов сложить свою голову, знает, с чем и с кем он идет на борьбу».

Все это и привлекло к Инсарову Елену с ее хотя и смутным, но сильным стремлением к свободе. «О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да; это главное в жизни. Но как делать добро? О, если б я могла овладеть собою! Не понимаю, отчего я так часто думаю о господине Инсарове...»

Отец Елены, гордившийся ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она «какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого».

В Елене «ярко отразились, — по словам Добролюбова, — лучшие стремления русской современной жизни». Под стать Инсарову Елена отличается сильным характером, решимостью и бесстрашием — она смело порывает со средой, ее воспитавшей, чтобы посвятить свою жизнь великой идее.

Важные общественно-политические вопросы ставились и в прежних романах Тургенева, но там они звучали не с такой определенностью.

О любви к родине, о народе рассуждали и герои первых романов Тургенева. Рудин в салоне Ласунской отстаивал от нападений Пигасова «знание, науку и веру в нее», говорил, что людям «...нельзя жить одними впечатлениями, им грешно бояться мысли и не доверять ей». «Если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, — говорил Рудин, — нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа, как может он знать, что он должен сам делать...»

И Лежнев говорил:

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись... Вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет».

И в «Дворянском гнезде» Тургенев показал, как глубоко и сильно было чувство родины в Лаврецком, как велика была его тяга к родной земле и к народной правде. Недаром в жилах Лаврецкого текла и крестьянская кровь.

В споре с Паншиным он горячо и искренне говорил о молодости и самостоятельности России, заступался за новых людей, за их убеждения, желания, требовал признания народной правды и смирения перед нею.

Когда Паншин спросил его:

— Вот и вы вернулись в Россию — что же вы намерены делать?

— Пахать землю, — отвечал Лаврецкий, — и стараться как можно лучше ее пахать...

По-иному, гораздо более энергично и проникновенно, звучали слова о любви к родине в новом романе Тургенева.

Само название его показывало, что Россия находится накануне появления людей инсаровского типа, потому что возникла в самом обществе потребность живого дела.

Эпоха, описываемая в романе, была для них кануном подвигов и героической борьбы. Доказательством истинного патриотизма, по убеждению Инсарова, могла быть только готовность пожертвовать своею жизнью за родину.

«Любовь к родине у Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении, — писал Добролюбов, — она у него во всем организме... Оттого он стоит неизмеримо выше Шубина и Берсенева».

Анализируя поступки героев дворянской литературы, Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» писал, что у них не было общей цели, что эти передовые люди оставались всегда одиночками, не умели соединиться для общего дела, не умели образовать

«тесный союз для обороны от враждебных обстоятельств».

Говоря так, критик подразумевал под «враждебными обстоятельствами» самодержавие и крепостнический строй России.

Тургенев хорошо запомнил эти слова революционного демократа и, может быть, поэтому заставил одного из героев своего романа задуматься над разобщенностью лучших людей того времени.

В разговоре с Шубиным Берсенев говорит:

— Каждый из нас желает счастья. Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их не мало; и ты их знаешь.

— Ну-ка? Какие это слова?

— Да хоть бы искусство... родина, наука, свобода, справедливость.

Работая над романом «Накануне», Тургенев в то же время обдумывал идею и план большой статьи «Гамлет и Дон-Кихот», посвященной сравнительному анализу двух типов в мировой литературе.

Закончив статью, Иван Сергеевич в январе 1860 года с большим успехом прочитал ее на вечере в Пассаже в пользу Литературного фонда.

Современная Тургеневу критика сразу уловила прямую связь между романом «Накануне» и этим его выступлением, служившим во многом комментарием к роману.

Критик журнала «Русское слово» писал, что Инсаров — это тот Дон-Кихот, которого Тургенев недавно противопоставил Гамлету в своей статье «Гамлет и Дон-Кихот».

Необычайный успех выступления Тургенева объяснялся тем, что он раскрыл образ Дон-Кихота как личности героической, как самоотверженного борца

за свободу, противодействующего «враждебным человечеству силам... то есть притеснителям...»

«Когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! В ней нечего будет читать», — говорилось в очерке «Гамлет и Дон-Кихот».

Добролюбов в статье о «Накануне» писал, что Тургенев, столь хорошо изучивший «лучшую часть нашего общества», не нашел возможности сделать героем романа русского человека. Это объяснялось тем, говорит критик, что одна из самых важных причин (тут он имел в виду цензурные условия. — *Н. Б.*) не зависела от Тургенева, и поэтому не может быть места упрекам.

Но, конечно, не только из-за цензурных условий Тургенев не показал читателю в полной мере «величие и красоту идей Инсарова» — тут сказались также либеральные политические взгляды писателя.

Через три года после выхода в свет «Накануне» Чернышевский из каземата Петропавловской крепости ответил в романе «Что делать?» на вопросы, которые ставились в романах Тургенева и рассматривались в статьях Добролюбова «Что такое обломовщина?» и «Когда же придет настоящий день?».

При всем различии идейных позиций и творческих методов Тургенева и Чернышевского роман «Накануне» послужил в *некоторых* отношениях ступенью к роману «Что делать?».

В облике Инсарова есть черты, роднящие его с Рахметовым. У Чернышевского Рахметов назван «особенным человеком». В глазах окружающих Инсаров также «необыкновенный человек».

Когда Елена спрашивает у Берсенева об Инсарове:

— У него, должно быть, много характера?

Тот отвечает:

— Да, это железный человек.

А вместе с тем в нем не было ничего напускного, никакого позерства. Он не в мантии героя, его героизм скромен и прост.

Елене «не преклоняться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку, и она недоумевала: не такими воображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев».

Так же точно удивлена была и Вера Павловна, убедившись, что Рахметов, казавшийся ей «мрачным чудовищем», в сущности, простой, милый и порою даже веселый человек.

Инсаров обрисован почти аскетом. Еще более подчеркнуто в романе «Что делать?» спартанское поведение Рахметова, обуздание им в себе каких бы то ни было прихотей, стремление подавить в себе чувство любви, сознательное отречение от личного счастья.

Инсарову, как и герою романа «Что делать?», свойственно знание конечных целей его стремлений. Ему чужда раздвоенность между «должным» и «желаемым», между личным и общественным.

Все его мысли поглощены не своими заботами и делами, а думами об общем деле, более всего о «народном отмщении».

О Рахметове Чернышевский говорит в романе, что люди его породы «сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняет их жизнь, заменяет для них личную жизнь».

Доверие окружающих к Инсарову и к Рахметову велико и безусловно: они всегда избирают их судьями в важных делах, при решении спорных вопросов.

У Елены тоже есть черты, сближающие ее с героиней романа «Что делать?». Обе они решительно покидают родительский дом для новой жизни, для борьбы, обе умеют сильно чувствовать — любить и ненавидеть.

Прием, с помощью которого Тургенев показал развитие чувства любви у Елены к Дмитрию Инсарову, мы находим и в романе «Что делать?».

«А ведь странно, однако, — пишет в своем дневнике Елена, — что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Дмитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте...»

Что это была за мечта, мы узнаем из того же дневника. Когда Инсаров говорит об освобождении своей родины, он «растет, лицо его хорошеет, и голос, как сталь, и нет, кажется, на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит — он делал и будет делать... Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся».

Теперь возьмем «дневник» Веры Павловны. В нем есть строки, на первый взгляд удивительно совпадающие с дневником Елены:

«...Сегодня я в первый раз говорила с Д. и полюбила его. Я еще ни от кого не слышала таких благородных, утешительных слов. Как он сочувствует всему, что требует сочувствия, хочет помогать всему, что требует помощи, как он уверен, что счастье для людей возможно, что оно должно быть, что злоба и горе не вечны, что быстро идет к нам новая, светлая жизнь».

Невольно возникает вопрос: случайно ли это сходство? Не хотел ли Чернышевский как раз подчеркнуть этим внешним «совпадением» гораздо более существенное внутреннее отличие своего подхода к изображаемому явлению? Ведь «дневник» Веры Павловны — вообще условность, символ. Она только во сне читает вслух строки своего воображаемого дневника, в которых предсказана ее другая, настоящая любовь.

Действующие лица герценовского романа «Кто виноват?» и тургеневских романов и повестей «Рудин», «Дворянское гнездо», «Ася» в трудные и важные минуты жизни растерянно спрашивали себя и других: что же им делать? И не находили ответа.

«Я не знаю, что мне делать», — записывала в своем дневнике Любовь Круциферская.

И Крупов с каким-то отчаянием спрашивал Бельтова:

— Да что же делать?

— Не знаю, — отвечал Бельтов.

Точно так же, когда в решительную минуту Наталья Ласунская говорила Рудину: «Как вы думаете, что нам надобно теперь делать?» — Рудин не на-

шел ничего лучше, как предложить Наталье покориться судьбе, добавив: «Что же делать?».

Даже в романе «Накануне» Елена в последнем письме к родным заявляет, что она не может вернуться на родину, потому что не знает, что делать в России.

В программных своих статьях «Что такое обломовщина?», «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов резко осудил героев дворянской литературы за их нерешительность и безволие.

«Нам нужен человек, как Инсаров, — но русский Инсаров», — писал он. И, словно бы предчувствуя, что в самом близком будущем Чернышевским будет создан его знаменитый роман, Добролюбов восклицал: «И мы все ищем, жаждем, ждем, чтобы нам кто-нибудь объяснил, *что делать?»*

Ответить на этот вопрос по-настоящему могли не Рудины и не Бельтовы, а те «новые люди», которых избрал Чернышевский в герои своего романа. Автор «Что делать?» стоял в гуще российской действительности. Все слои русского общества были перед его глазами. Он воочию видел народ, изнемогавший под гнетом крепостничества. Он верил в народ и звал его к пробуждению, тогда как Тургенев принадлежал к помещичье-барской среде, и ему, как указывает Ленин, «претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского».

Тургенев чувствовал, что он с каждым днем теряет прежнее свое влияние в редакции. Теперь он уже не скрывал, что прямолинейность и последовательность критических оценок Добролюбова и Чернышевского чужды ему.

Он все более и более отходил от редакции «Современника». «Дворянское гнездо» было последним романом, который Тургенев поместил здесь. Последующие романы и повести он отдавал уже в другие журналы.

После напечатания в январском номере «Современника» за 1860 год статьи «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев окончательно и бесповоротно порвал все связи с этим журналом.

Одним из поводов к разрыву послужила как раз статья «Когда же придет настоящий день?», с которой Некрасов ознакомил Тургенева еще до появления ее в журнале.

Выводы Добролюбова, трактующие «Накануне» как предвестие близкой революции в России, и необычайно энергическая концовка статьи, звучавшая скрытым призывом к революции, смутили и встревожили Тургенева. Он ультимативно потребовал от Некрасова, чтобы статья не появлялась на страницах «Современника». «Или я, или Добролюбов», — заявил Тургенев.

Однако ультиматум его был отклонен Некрасовым.

Еще ранее Тургенева отошли от журнала Григорович, Островский и Лев Толстой. Обязательное соглашение об исключительном участии этих писателей в «Современнике» действовало недолго, оно быстро утратило смысл и силу.

Последовательность революционно-демократической линии, проводимой в журнале во второй половине пятидесятых годов, должна была привести и привела к расколу внутри редакции. Но это не поколебало решимости Чернышевского и Некрасова оставить неизменным направление журнала. В объявлении об издании «Современника» на 1862 год говорилось, что хотя редакция и сожалеет о том, что Тургенев, Толстой, Григорович и Островский отошли от журнала, однако же она не может жертвовать ради их сотрудничества «основными идеями издания, которые кажутся ей справедливыми и честными».

Репутация передового журнала, созданная «Современнику» трудами Чернышевского и Добролюбова, стала уже настолько прочной, что даже уход из него названных крупнейших писателей не мог поколебать ее. Ликование беспринципных реакционных журналистов по поводу этого разрыва оказалось напрасным — влияние журнала продолжало неуклонно расти.

В статье «Полемические красоты» Чернышевский так объяснил отход Тургенева от журнала: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настоль-

ко, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись».

Единодушие, с каким было принято читателями и критикой «Дворянское гнездо», не повторилось по выходе в свет «Накануне». Напротив, в оценке этого романа читатели как бы разделились на два стана: в одном «Накануне» было встречено с горячим сочувствием, в другом — с тревогой и недоумением. Учащаяся молодежь и передовая интеллигенция приветствовали роман, но в светских салонах и гостиных к нему отнеслись более чем холодно, удивляясь «настроениям автора», поставившего в своем произведении в канун крестьянской реформы «страшные вопросы о правах народа...».

Отмечая это противоречивое отношение читателей к роману, поэт-петрашевец А. Плещеев писал, что нашлось немало отсталых порицателей, но «все молодое и мыслящее» было на стороне автора романа.

Тургеневу казалось, что энтузиастов было значительно меньше, чем недовольных, но самые споры, вызванные романом, он считал явлением положительным — «молчание было бы хуже».

ГЛАВА XXIV

«ОТЦЫ И ДЕТИ»



Прочитав для узкого круга слушателей две лекции о Пушкине и выступив на первом публичном чтении в Петербурге в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым, Тургенев повторил это выступление и в Москве, где его также приняли по свидетельству Плещеева, «с страшным энтузиазмом».

Этими выступлениями было положено начало чтениям в пользу Литературного фонда, в которых участвовали Гончаров, Островский, Некрасов и другие писатели.

С Гончаровым Тургенев по-прежнему продолжал встречаться, и они читали иногда друг другу свои произведения, делились замыслами.

Так, 22 февраля Тургенев сообщил Фету из Петербурга, что Гончаров прочитал ему и Анненкову удивительный отрывок, вроде «Сна Обломова».

По-видимому, это были VII—XI главы «Обрыва», вскоре появившиеся в журнале «Отечественные записки».

Закончив повесть «Первая любовь», Тургенев решил прочитать ее «ареопагу», состоявшему из Островского, Писемского, Гончарова, Анненкова, Дружинина и Майкова.

Но приглашенный Гончаров пришел на чтение пять минут спустя после того, как оно было окончено.

Когда первый номер «Русского вестника», где было напечатано «Накануне», вышел в свет, Тургенев послал один из журнальных оттисков романа Гончарову с просьбой прочитать его и высказать свое мнение.

Очень скоро оттиск был возвращен с письмом, из которого явствовало, что прежние подозрения Гончарова не рассеялись. Он писал, что прочел из романа всего страниц сорок, а остальные дочитает «когда-нибудь после».

Очевидно, начало романа, где обрисована фигура художника Шубина, сразу навело Гончарова на мысль о сходстве этого лица с Райским из «Обрыва».

Встретив однажды на Невском проспекте критика Дудышкина и узнав от него, что он идет на обед к Тургеневу, Гончаров бросил неосторожную и грубую шутку.

— Это на мои деньги будете обедать, — сказал он, имея в виду гонорар, полученный Тургеневым за роман.

— Сказать ему? — спросил, усмехаясь, Дудышкин.

— Скажите, скажите! — посмеялся Гончаров, не предполагая, вероятно, что его шутливое пожелание будет выполнено.

Дудышкин не удержался и передал слова Гончарова Тургеневу, и это переполнило чашу терпения последнего. Он отправил Гончарову письмо, назвав его заявление клеветой, и требовал третейского суда или дуэли.

По обоюдному соглашению судьями были избраны Анненков, Дружинин, Дудышкин и Никитенко. По словам Анненкова, это были «люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени».

Суд происходил 29 марта 1860 года на квартире Гончарова. Описывая это событие в своем дневнике, Никитенко отметил, что Тургенев был очень взволнован, но держался просто и «без малейших порывов гнева. Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи».

Формулируя выводы суда, Анненков писал: «Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны.

Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью, он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее:

— Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено, но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло с нами, показывает мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже

не может с этого дня. — И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты».

Весной 1860 года, в самый разгар споров о романе «Накануне», Тургенев отправился, по настоянию врачей, на воды за границу из-за обострившейся болезни горла.

В русских журналах в это время не переставали появляться статьи и рецензии, посвященные его роману. «Это нечто вроде эпидемии. Пора бы оставить эту штуку в покое», — писал Иван Сергеевич Фету.

Всякий раз, когда Тургенев пересекал границу, он спешил установить почтовую связь с Герценом или навестить его в Лондоне. Писатель привозил ему из России важные новости и различные документы, часто служившие материалом для «Колокола», а у Герцена обычно узнавал подробности крупнейших европейских событий.

Он и теперь предполагал не откладывать свидания со своим другом. «Мне нужно много с тобой переговорить», — писал он ему 21 мая из Парижа.

В том же письме он благодарил его за доставку 71-го номера «Колокола», где в одной из заметок Герцен дал блестящий (по определению самого Тургенева) отзыв о нем в связи с его переводами украинских рассказов Марко Вовчка, ярко обличавших крепостное право и вышедших в 1859 году.

«Рассказы эти, — писал Герцен, — остановили нас именем переводчика. Прочитавши, мы поняли, почему величайший современный русский художник И. Тургенев перевел их».

«Мне было совестно, — замечает Иван Сергеевич в письме, — и не мог я этому поверить, но мне было приятно».

Повидаться ему с Герценом сразу по приезде за границу все же не довелось. Свидание их состоялось лишь в августе, после того как Иван Сергеевич закончил лечение на водах в Содене.

Несомненно, что Тургенев, находившийся под живым впечатлением недавнего разрыва с «Современником», в этот свой приезд к Герцену не однажды

обсуждал с ним причины происшедшего конфликта. Это были наболевшие для обоих вопросы о *«лишних людях и желчевиках»* *, о деятелях сороковых и шестидесятых годов, о двух поколениях, об *отцах и детях*...

Темы эти глубоко волновали и Герцена, который еще годом ранее начал спор с «Современником», напечатав в «Колоколе» статью «Very dangerous!!!» **

Что же явилось причиной этого выступления Герцена? Как могло случиться, что лондонский изгнанник, сыгравший такую огромную роль в развитии русского революционного движения, ополчился на самый передовой русский журнал?

Это было следствием временных либеральных колебаний Герцена. В годы подготовки крестьянской реформы он не разделял революционной тактики руководителей «Современника». В это время он еще не утратил надежды на то, что улучшения в жизни русского народа возможны по доброй воле царя и дворянства. Вскоре, правда, он осознал беспочвенность этих надежд, но в описываемое время у него не было четкой и последовательной линии.

Подобные иллюзии были чужды Чернышевскому и его соратникам. Это расхождение в главном вопросе порождало и другие частные разногласия.

Незадолго до появления названной статьи Герцена редакция «Современника» ввела в журнале новый сатирический раздел под названием «Свисток».

На страницах «Свистка», а также в своих критических статьях Добролюбов высмеивал входившую тогда в моду «обличительную» литературу, которая была не чем иным, как дозволенной «сверху» критикой частностей и мелочей. Она не только не подрывала устоев самодержавно-помещичьей власти, но напротив, отвлекала внимание читателей от существа дела, ибо сатира такого рода «не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который ста-

---

* «Лишние люди и желчевики» — так называлась статья Герцена.

** «Очень опасно!!!»

рались исправить». Процветание такого рода литературы, совершенно безобидной и безвредной для власти, создавало видимость гласности, видимость свободного участия печати в общественной жизни страны.

Герцен не сумел оценить революционную направленность сатиры «Свистка». Он бросил обвинение редакции «Современника» в том, что она посягает на основы зарождающейся гласности в России. В полемическом пылу он поставил знак равенства между реакционерами, стремившимися душить свободное слово в стране, и авторами «Современника», бичевавшими либеральных болтунов.

Когда известие об этой обвинительной статье Герцена дошло до Добролюбова, он записал в дневнике: «Однако хороши наши передовые люди! Успели уже пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности...»

Защита либерального обличительства была центральной темой статьи Герцена. Но есть основание предполагать, что он был задет не столько осмеянием обличительного направления, сколько проводившейся в статьях Чернышевского и Добролюбова общей переоценкой роли людей сороковых годов. Еще в рецензии на «Стихотворения» Огарева, напечатанной в 1856 году, Чернышевский поставил вопрос об отношении революционного поколения шестидесятников к дворянской революционности.

«Онегин сменился Печориным, Печорин — Бельтовым и Рудиным. Мы слышали, — писал Чернышевский, — от самого Рудина, что время его прошло; но он не указал нам еще никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника. Мы ждем этого преемника, который, привыкнув к истине в детстве, не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нас; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слы-

шались бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить со своими убеждениями».

С еще большей ясностью и прямотой высказал аналогичные мысли Чернышевский в статье «Русский человек на rendez-vous». Излюбленные герои дворянской литературы, так называемые «лишние люди», почитавшиеся в своей среде «солью земли», ни в какой мере не могли служить примером для «новых людей», которые готовились к смертельной схватке с ненавистным им общественно-политическим строем царской России.

Противопоставление «новых людей» прекраснодушным и бездеятельным мечтателям, пережившим свое время и только мешающим теперь движению вперед, заняло большое место в литературно-критических работах Добролюбова. Как бы предугадывая в общих чертах портреты людей нового времени, нашедших через несколько лет отражение в романе Чернышевского «Что делать?», Добролюбов подчеркивал твердость, спокойствие и решительность «новых людей», их чуждость туманным абстракциям, их вражду ко всякому фразерству и самолюбованию, их крепкую связь с окружающей жизнью.

В силу цензурных условий «Современник» не мог открыто полемизировать с Герценом и заставить его признать ошибочность занятой им позиции вообще и ошибочность его статьи в частности. Поэтому Чернышевский поехал для личных переговоров с Герценом в Лондон.

Он пробыл там несколько дней. Свидание не принесло ему удовлетворения, ибо он ясно понял, что собеседник его все еще находится в плену либеральных иллюзий.

Поездка Чернышевского в Лондон была все же не напрасной. Вскоре Герцен в одной из заметок в «Колоколе» косвенно признал ошибочность своего выступления против «собратий».

Прошло полгода. И кто-то из единомышленников Чернышевского, а быть может даже он сам, прислал

Герцену для напечатания в «Колоколе» «Письмо из провинции» за подписью: «Русский человек». В нем говорилось, что не следует верить в «добрые намерения» царей, так как подобная вера не оправдывается ни историей, ни современным положением в стране.

Обращаясь к Герцену, автор заканчивал письмо призывом:

«Вы сделали все, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, — перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь!»

Ответ Герцена на «Письмо из провинции» еще раз показал, как серьезны были в то время его расхождения с революционными демократами.

«К топору, этому ultima ratio * притесненных», он отказывался звать до тех пор, пока останется хоть одна радужная надежда на развязку без топора.

И только беспощадное подавление правительством крестьянских бунтов, вспыхнувших с новой силой после осуществления реформы 1861 года, раскрыло Герцену глаза, и он, отбросив колебания, твердо стал на сторону революционной демократии.

Тургенев был очень заинтересован поездкой Чернышевского к Герцену. 16 сентября 1859 года он написал ему: «Милый друг, Александр Иванович, я уезжаю завтра в Россию... Собственно пишу я к тебе, чтоб узнать, правда ли, что тебя посетил Чернышевский, и в чем состояла цель его посещения и как он тебе понравился?..»

Теперь, по прошествии года, Герцен и Тургенев снова возвращались к этим важным темам.

И, может быть, уже в этих беседах смутно рисовались Ивану Сергеевичу образы его будущего романа.

В самом деле, едва успел он расстаться с Герценом и поселиться в Вентноре — маленьком городке на острове Уайт, как у него уже возникла мысль об «Отцах и детях».

---

* Последнему доводу.

Анненков, приехавший сюда же через несколько дней, рассказывал потом, что Тургенев и с ним проводил целые вечера в разговорах об обстоятельствах разрыва с «Современником» и о том, как преодолеть возникшие расхождения или хотя бы ослабить их.

«Разговоры эти, — добавляет Анненков, — не прошли даром: в возражениях и объяснениях сформировался как план нового романа, так и облик главного лица».

Прошло месяца два, фабула романа сложилась до мельчайших подробностей, все материалы были готовы, «но еще не вспыхнула та искра, от которой... понемножку все должно загореться...».

Как и при создании прежних своих романов, Тургенев, разрабатывая образ главного героя, исходил от живого лица, к которому «постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы».

Это означало, что к портрету определенного прототипа писатель присоединял характерные особенности других лиц такого же внутреннего склада и, мастерски сочетая их, стремился придать такому обобщенному образу наибольшую выразительность и типичность.

Кто же послужил писателю прототипом Базарова? Некоторые современники Тургенева считали, что это был Добролюбов.

Такого мнения держался, например, Писарев, полагавший, что сильное впечатление, произведенное Добролюбовым на Тургенева, внушило ему первую мысль о характере Базарова.

Считаясь с существованием других версий на этот счет, А. Пыпин тем не менее утверждал, что «нет никаких оснований сомневаться, что, изображая Базарова, Тургенев (хотя и имел в виду другой живой оригинал, как говорят) вложил в это изображение некоторые черты Добролюбова: Базаров, в собственном представлении Тургенева, был натура почти героическая, суровая, честная и непреклонная».

Сам Тургенев указывал в статье «По поводу «Отцов и детей», что в основание главной фигуры,

Базарова, он взял вовсе не Добролюбова, а поразившую его личность молодого провинциального врача, скончавшегося в 1860 году. «В этом замечательном человеке воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета...»

Образ Базарова был подсказан писателю самой жизнью, и он стремился воплотить в нем типические черты мировоззрения передовой разночинной интеллигенции шестидесятых годов. В основу ряда высказываний Базарова по общефилософским, эстетическим и другим вопросам были положены мысли, развиваемые в тех или иных статьях Добролюбова.

Желая как можно глубже «вжиться» в изображаемый им тип, Тургенев завел в процессе работы над романом условный «дневник» Базарова, где записывал мысли и высказывания своего героя о тех или иных событиях текущей общественно-политической жизни.

Вероятно, как всегда, были заведены предварительно и «формулярные списки» действующих в романе лиц, с их биографиями, краткими характеристиками, заметками и наблюдениями.

По возвращении из Вентнора в Париж писание романа долгое время подвигалось очень медленно.

Поэтому и не удалось закончить его к весне, как предполагалось сначала.

В марте 1861 года в письме к Льву Толстому *, выражавшему желание послушать главы из «Отцов и детей», Тургенев обещал при случае сделать это, но вообще жаловался, что в Париже работается ему плохо и что роман застыл на половине; «я надеюсь на деревню, — добавлял он, — на деревенскую тишину и скуку, которая вернее всего приводит к труду

---

* Толстой совершал тогда свое второе заграничное путешествие.

нашего брата, удоборассеиваемого и непостоянного славянина».

В Россию в это время тянуло Тургенева не только стремление увидеть снова родное Спасское, друзей и земляков, не только надежда закончить там «Отцов и детей», но и горячее желание воочию видеть совершающиеся на родине важные события.

— Никогда еще разложение старого не происходило так быстро, — говорил он в эти дни.

Свершившееся падение ненавистного крепостного права Тургенев пережил с большим волнением и подъемом. Но уяснить себе сразу истинный характер этого события и его настоящие предпосылки он не мог главным образом в силу своих либеральных воззрений и отчасти из-за того, что находился вдали от родины.

В Россию Тургенев выехал только в апреле 1861 года. Объясняя эту свою задержку Герцену и как бы оправдываясь перед ним, он писал: «Что же мне делать, коли у меня дочь, которую я должен выдавать замуж и потому поневоле сижу в Париже? Все мои помыслы, весь я в России...»

Как всегда, вдали от родины его охватывало обостренное чувство любви к ней, к своим пускай и невзрачным, но до боли знакомым и дорогим местам степной полосы.

«Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенно пленительного, а мне весело. Это и есть чувство родины».

Письма земляков-соседей (Льва Толстого, Фета, Борисова) доставляли ему на чужбине ни с чем не сравнимую радость, потому что «от них веяло» вспаханной уже холодноватой землей, только что посаженными кустами, овином, дымком, хлебом, ему чудился «стук сапогов старосты в передней, честный запах его сермяги...».

Когда Тургенев вернулся в Спасское, работа над романом в деревенской тиши пошла очень успешно.

Правда, спокойное течение ее было прервано однажды нежданным образом.

В конце мая приехал к нему Лев Толстой, и они вместе отправились к Фету в его имение Степановку, расположенное верстах в семидесяти от Спасского.

Первый день гости провели в оживленной дружелюбной беседе, а на следующее утро, когда сошлись в столовой за завтраком, внезапно разыгралась бурная сцена между Толстым и Тургеневым, описанная Фетом в его воспоминаниях.

Тургенев сидел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую, когда та спросила Ивана Сергеевича, доволен ли он гувернанткой, которая занимается воспитанием его дочери.

Тургенев стал усердно расхваливать ее и сказал, что она со свойственной ей пунктуальностью просила определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей.

— Теперь англичанка требует, чтобы моя Полина забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив ее, возвращала по принадлежности.

— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой.

Потеряв самообладание и бледный от волнения, Тургенев воскликнул:

— Так я заставлю вас молчать оскорблением!

«С этими словами он вскочил из-за стола, — рассказывает Фет, — и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через се-

кунду он вернулся к нам и сказал, оборащаясь к моей жене:

— Ради бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь.

С этим вместе он снова ушел».

Тургенев тотчас же уехал в Спасское, а Толстой — в Новоселки, имение Борисова.

В письме, отправленном Тургеневым Толстому из Спасского в день их ссоры, он еще раз признал себя виновным в происшедшем и просил у него извинения.

Ссора эта, едва не окончившаяся дуэлью, на целых семнадцать лет разъединила Тургенева с Толстым.

В разгаре лета Иван Сергеевич записал в дневнике: «30 июля, воскресенье. Часа полтора тому назад я кончил, наконец, свой роман. Не знаю, каков будет успех. «Современник», вероятно, обольет меня презрением за Базарова и не поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение».

Такие фигуры, как Инсаров и Базаров, могли вызывать у автора уважение, но не чувство задушевной близости, которое так явственно ощущается в обрисовке Лаврецкого или Рудина.

Едва только успел Тургенев поставить точку в рукописи «Отцов и детей», как слухи о его новом произведении, а вместе с ними и различные догадки о содержании романа проникли в печать.

Разноречивые оценки «Отцов и детей» автору пришлось услышать еще до опубликования романа в журнале, как только он начал читать друзьям осенью 1861 года свой роман в рукописи. Тургенев умел спокойно выслушивать от друзей правду и потому не боялся знакомить их с новыми своими произведениями, когда те находились у него еще «в пяльцах».

Предугадать, кому роман понравится и у кого, напротив, вызовет протест, на этот раз было осо-

бенно трудно. Так и случилось: одни советовали Тургеневу немедленно бросить рукопись в огонь, другие готовы были считать «Отцов и детей» его лучшим созданием.

Тургенев, несомненно, сделал гактическую ошибку, решив печатать роман в «Русском вестнике». Этот журнал в глазах передовых читателей все более приобретал тогда репутацию реакционного издания.

Получив от автора рукопись романа, редактор журнала Катков ужаснулся, усмотрев в Базарове «апофеозу «Современника».

— Как не стыдно было Тургеневу спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином, — говорил Катков.

Не довольствуясь теми поправками, которые сделал под его давлением автор, Катков, кроме того, самовольно внес ряд исправлений и дополнений в характеристику главного героя. Впоследствии они были устранены Тургеневым при подготовке отдельного издания.

Одно время Тургенев хотел даже надолго отложить печатание романа — он думал все в нем пересмотреть и «перепахать» его заново.

Писатель понимал, что в такой ответственный и острый момент, когда реакция начала переходить в наступление, рискованно было выступать с произведением, в котором недостаточно четко определены симпатии автора.

Озадаченный разноречивыми мнениями об «Отцах и детях», он принялся за переработку своего произведения. Роман появился лишь через полгода после окончания — в февральской книжке «Русского вестника» за 1862 год.

За это время обстановка в стране еще более осложнилась. Реформа ни в малейшей мере не удовлетворила крестьян, ожидавших освобождения с землею и без выкупа, а на деле опять попавших в зависимость от помещиков, у которых они принуждены были геперь, согласно «Положению», арендовать земли на кабальных условиях.

Новая волна бунтов явилась ответом обманутых крестьян на реформу. Сорок пять губерний из сорока семи в Европейской России были охвачены волнениями. Брожение, вызванное реформой, распространилось и на студенческую молодежь, которая все настойчивее напоминала о себе правительству демонстрациями протеста.

Революционная ситуация, создавшаяся в стране, была настолько очевидна, что даже в правящих кругах признавали, что Россия стоит на пороге «пугачевщины».

Гнев народа против угнетателей грозил вылиться в широкое революционное движение, идейным вдохновителем которого был Чернышевский.

Власти готовили отпор революционному движению и вынашивали план расправы с Чернышевским и его окружением.

Лагерь революционных борцов понес в 1861 году большие утраты: не стало Шевченко и Добролюбова, были арестованы М. Михайлов и В. Обручев.

Правительство закрывало воскресные школы, народные читальни, приостанавливало издание газет и журналов. На восемь месяцев был запрещен «Современник».

Тургенев в эти дни писал: «Мое старое литературное сердце дрогнуло, когда я прочел о запрещении «Современника». Вспомнилось его основание, Белинский и многое...»

Ни в одном из прежних своих романов (не исключая даже и «Накануне») писатель не подходил так близко к решению самых насущных вопросов, выдвинутых современностью.

Время действия в «Отцах и детях» — 1859 год. Роман, создававшийся в атмосфере все возраставшего общественного подъема, отразил картину острой идейной борьбы, делившей общество на два лагеря.

Ожесточенные споры среди читателей разгорелись сразу же после напечатания романа в журнале. Одни укоряли автора за то, что он осмеял «отцов», честно действовавших когда-то на арене общественной жиз-

ни, и слепо идеализировал молодежь, пришедшую им на смену.

Другие утверждали прямо противоположное, усматривая в романе злую сатиру на молодое поколение и апологию отцов.

Реакция читателей была на этот раз необыкновенно бурной. Разразился, в сущности, настоящий литературный скандал.

Автор романа получал многочисленные письма, в которых одни извещали, что «с хохотом презрения» сжигают его фотографические карточки за оскорбление молодого поколения, другие яростно обвиняли писателя в низкопоклонстве перед этим молодым поколением.

Столь же противоречивы были отклики на роман в журнальной критике и в литературных кругах. Противоречивы и порою совершенно неожиданны.

По мнению Каткова, Базаров в романе «как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет все окружающее. Все перед ним или ветошь, или слабо и зелено.

Такого ли впечатления нужно было желать?» — спрашивал автора реакционный публицист.

М. Антонович выступил в «Современнике» с гневной статьей «Асмодей нашего времени», где истолковал роман как панегирик «отцам» и клевету на «детей», как памфлет, направленный против разночинной демократии, а образ Базарова — как карикатуру на демократическую молодежь: «Это не человек, а какое-то ужасное существо, просто дьявол, или, выражаясь более поэтически, Асмодей».

Антоновичу казалось, что автор питает к главному своему герою «какую-то личную ненависть и неприязнь» и что пристрастное изображение Базарова было своеобразной местью писателя авангарду демократической молодежи.

Другой критик демократического лагеря, Писарев, напротив, считал, что Тургенев, рисуя разночинца Базарова, «вдумался в этот тип и понял его так верно, как не поймет ни один из наших реалистов».

Писарев ставил в заслугу автору «Отцов и детей» то, что он сумел исторически верно воссоздать колорит современной эпохи, мастерски показать психологию и характеры своих героев и убедить читателей, что будущее принадлежит новым людям, а не уходящему со сцены дворянству.

«Кто прочел в романе Тургенева эту прекрасную мысль, тот не может не изъявить ему глубокой и горячей признательности, как великому художнику и честному гражданину России».

Писарев понимал, как трудно было порою писателю отрешаться от своих личных пристрастий и классовых предрассудков.

«Тургенев не любит беспощадного отрицания, и между тем личность беспощадного отрицателя * выходит личностью сильной и внушает каждому читателю невольное уважение. Тургенев склонен к идеализму, а между тем ни один из идеалистов, выведенных в его романе, не может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера».

В этом произведении талант Тургенева достиг полной зрелости и силы. «Отцы и дети» по праву считаются вершиной его творчества, по праву стоят в первом ряду лучших русских социальных романов.

Глубина содержания и мастерство психологического анализа сочетаются здесь с новизной темы и яркостью красок.

Разночинец Базаров, по словам автора, восторжествовал в его романе над аристократией.

Тургенев имел все основания сказать, что его произведение «попало в настоящий момент нашей жизни, словно масло в огонь, точно нарочно ее (повесть. — *Н. Б.)* подогнали в самый раз...».

---

* Под этим словом Тургенев подразумевал революционеров. Перечисляя в письме к Случевскому «истинных отрицателей», которых он знал лично, Тургенев назвал Белинского, Бакунина, Герцена, Добролюбова, Спешнева. Он подчеркнул, что деятельность этих людей была обусловлена вовсе не чувством какой-нибудь личной обиды, личного негодования, а лишь чуткостью к требованиям народной жизни.

Однако Тургеневу не удалось все же в образе Базарова воплотить типические черты революционного деятеля, чего так ждала от писателя в ту пору русская демократическая молодежь.

Внутренняя противоречивость этого образа была обусловлена отсталостью политических идеалов Тургенева по сравнению с политическими идеалами его современников — революционных демократов.

Творческий объективизм, отстаиваемый Тургеневым, играл, несомненно, положительную роль в борьбе с ходульностью романтической поэзии и с догматизмом славянофильства, но когда он сталкивался с целеустремленной эстетикой революционных демократов, он мог играть и обратную роль.

Тургеневу, конечно, не вовсе чуждо было диалектическое понимание развития и задач искусства. «Бывают эпохи, — писал он, где литература не может быть *только* художеством, а есть интересы выше поэтических интересов. Момент самопознания и критики так же необходим в народной жизни, как и в жизни отдельного лица».

Писатель постоянно проверял свою работу, сопоставляя созданное им с теми общими задачами, какие ставились эпохой перед литературой и перед художниками. Именно в силу этого он ясно отдавал себе отчет в своих творческих целях и стремился осветить свои литературные позиции, определить свой творческий метод.

Когда Тургенев писал немецкому профессору-филологу Фридлендеру: «Я — реалист и дитя своего времени», — это была не просто фраза, а результат долгих раздумий над своим художническим опытом после написания основных произведений.

Подробнее эту тему он развил в больших автокритических статьях «По поводу «Отцов и детей» и в «Предисловии автора к собранию его романов».

В первой из них Тургенев ввел читателей в свою творческую лабораторию и на конкретных примерах показал им, как движется его творческая мысль от образа к идее, как повелительно *жизнь* диктует ему содержание и ход романа, как сталкиваются в душе

автора его личные симпатии, убеждения, наклонности с логикой жизненной правды, которая в конечном счете должна победить, если художник честен, талантлив и ставит своей единственной целью быть верным правде — «точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями».

Лейтмотивом названных статей была та мысль, что художник должен идти не от заранее заданной темы или программы к образу, а от живого лица, от образа к идее, к теме.

Писатель должен изображать, а не проповедовать. Уклонение от этого правила связывает автора и ведет его к поражению. Но этот отказ от проповедничества вовсе не был равнозначен отказу от публицистичности. Напротив, Тургенев считал, что задачи публициста и поэта могут быть совершенно одинаковы. Все дело в различии средств.

Противопоставляя социальный («зандовский» и «диккенсовский») роман историческому («вальтерскоттовскому»), Тургенев отдавал предпочтение тем писателям, которые не уклоняются от изображения современности, и осуждал тех, которые избегали злободневной тематики.

«Мне кажется, — писал Тургенев, — главный недостаток наших писателей — и преимущественно мой — состоит в том, что мы мало соприкасаемся с действительной жизнью, то есть с живыми людьми...»

Автокомментарии Тургенева к «Отцам и детям» особенно интересны, между прочим, еще и потому, что являются ярким подтверждением одного из высказываний Энгельса о реализме: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем это лучше для произведения искусства. Реализм, который я имею в виду, проявляется даже независимо от взглядов автора» *.

Тургенев отмечает, что при создании образов в романах личные его наклонности ничего не значили.

---

* *К. Маркс и Ф. Энгельс,* Соч., т. XXVIII, стр. 27—28.

В качестве примера он приводит героев «Дворянского гнезда» и «Отцов и детей».

Почему, спрашивал Тургенев, я «вывел в лице Паншина все комические и пошлые стороны «западничества», я, заклятый враг славянофильства, заставил Лаврецкого разбить Паншина на всех пунктах? Потому, что в данном случае таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым».

То же и с Базаровым: «Это жизнь так сложилась — опять говорил мне опыт... и я должен был именно *так* нарисовать его фигуру».

Энгельс подтверждает свой тезис примером Бальзака, легитимиста по убеждениям, который принужден был как художник идти против своих классовых симпатий и политических предрассудков. Энгельс усматривал величайшую победу реализма в том, что Бальзак *«видел* неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи...» *

Анализируя расстановку сил в «Отцах и детях», Тургенев пришел к выводу, что роман «направлен против дворянства, как передового класса», что честный, правдивый Базаров, «демократ до конца ногтей», подавляет все остальные лица романа.

Тургеневу казалось, что он в лице Базарова создал тип революционера, — в письме к Случевскому он так прямо и называет своего героя.

Возникновение образа Базарова осталось для самого писателя загадочным: «тут был... какой-то фатум, что-то сильнее самого автора, что-то независимое от него», — писал он Салтыкову-Щедрину.

Разве не ясно, что имя этому фатуму — *реализм,* ибо победу жизненной правды над личными предрасположениями, пристрастиями и предрассудками автора, о которой говорит Тургенев, никак иначе не определишь.

Внутренняя борьба писателя не ускользнула от взгляда современников. Еще до всех объяснений

---

* *К. Маркс и Ф. Энгельс,* Соч., т. XXVIII, стр. 28.

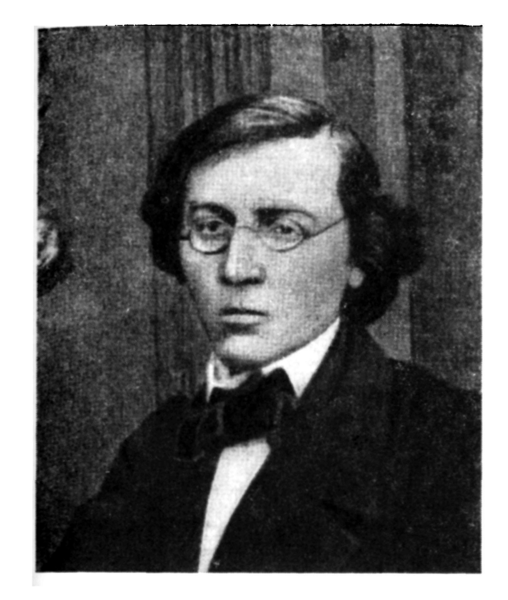
Тургенева Писарев в своей статье, написанной вскоре по выходе романа, говорил: «Честная, чистая натура художника берет свое, ломает теоретические загородки, торжествует над заблуждениями ума и своими инстинктами выкупает все... Вглядываясь в своего Базарова, Тургенев, как человек и как художник, растет на наших глазах и дорастает до правильного понимания, до справедливой оценки созданного типа».

Автор «Отцов и детей» считал, что из всех критиков, разбиравших это произведение, Писарев оценил его наиболее верно и тонко, а из писателей глубже всех задачу его понял Достоевский.

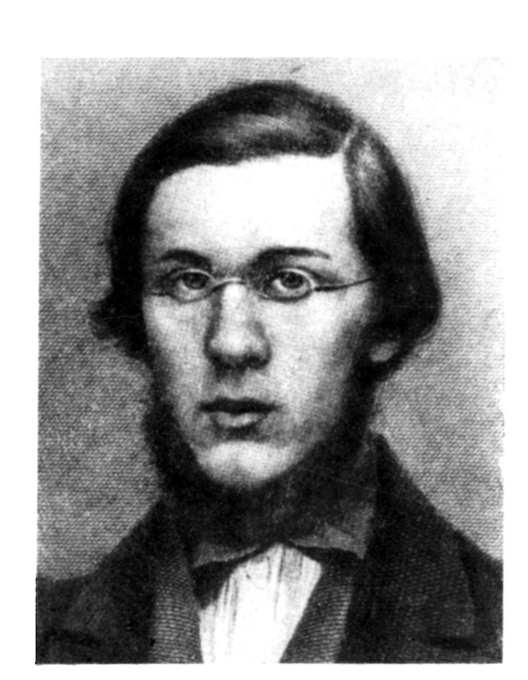
В марте 1862 года Тургенев обратился к Достоевскому с просьбой высказать свое мнение об «Отцах и детях» и вскоре получил от него письмо. Оно неизвестно исследователям, но из ответного письма Тургенева видно, что Достоевский поставил «Отцов и детей» на первое место среди всех произведений Ивана Сергеевича, приравнивая этот роман по значению к «Мертвым душам» Гоголя.

Анализируя в письме образ главного героя романа, Достоевский нашел, что Тургенев превосходно справился со своей задачей.

«Это было тем более важно для меня, — писал Тургенев Достоевскому, — что люди, которым я очень верю... серьезно советовали мне бросить мою работу в огонь — и еще на днях Писемский... писал мне, что лицо Базарова совершенно не удалось. Как тут прикажете не усомниться и не сбиться с толку? Автору трудно почувствовать *тотчас,* насколько его мысль воплотилась — и верна ли она, и овладел ли он ею — и т. д. Он как в лесу — в своем собственном произведении. Вы наверное сами это испытали не раз. И потому еще раз спасибо. Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумленья — и удовольствия. Точно Вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не счел нужным вымолвить. Дай бог, чтобы в этом сказалось не одно чуткое проникновение мастера, но и простое понимание чи-



Н. Г. Чернышевский.



Н. А. Добролюбов.

Портрет
И. С. Тургенева.

*Акварель. Художник
А. Сухов, 1860 г.*





И. А. Гончаров.

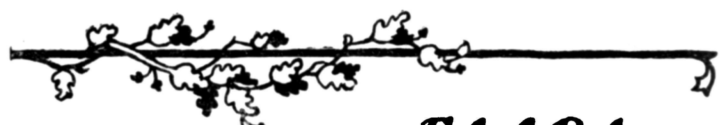
тателя — то есть, дай бог, чтобы все увидали хоть часть того, что Вы увидали! Теперь я спокоен, насчет участи моей повести: она сделала свое дело — и мне раскаиваться нечего».

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский, говоря о нападках критики на Тургенева по поводу его романа, писал: «Ну и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм».

Из более поздних писательских отзывов об «Отцах и детях» особенно интересен отзыв Чехова, где своеобразно, выразительно и, как всегда, кратко сказано о мастерстве, с каким написан этот роман.

Чехов также ставил его на первое место среди всех произведений Тургенева: «Боже мой! — восклицает он в одном из писем, — что за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, что я заразился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? Это черт знает как сделано. Просто гениально!»

Чехов, конечно, не раз перечитывал все сочинения Тургенева, в частности роман «Отцы и дети», XXVII глава которого производила на него особенное впечатление. Возможно, что некоторые подробности в описании болезни и смерти Дымова в «Попрыгунье» (конец 1891 года) были навеяны финальной главой «Отцов и детей», поразившей Чехова необыкновенным реализмом.



ГЛАВА XXV

«ПРОЦЕСС 32-х». БАДЕН-БАДЕН. «ДЫМ». СМЕРТЬ ГЕРЦЕНА



В ноябре 1861 года Герцен и Огарев получили в Лондоне письмо из Сан-Франциско, начинавшееся словами: «Друзья! Мне удалось бежать из Сибири, и после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию сегодня (15 октября. — *Н. Б.*) я прибыл в Сан-Франциско».

Письмо это было отправлено Михаилом Бакуниным, который просил Герцена и Огарева выслать ему в Нью-Йорк пятьсот долларов, а также найти способ известить его братьев о том, что он благополучно достиг берегов Калифорнии, направляется в Нью-Йорк и рассчитывает в половине декабря быть в Лондоне.

История его была вкратце рассказана в том же письме:

«Просидев три года в Петропавловской крепости, я при начале войны в 1854 году был перевезен

в Шлиссельбург, где просидел еще три года. У меня открылась цинготная и повыпали все зубы.

Страшная вещь пожизненное заключение: влачить жизнь без цели, без надежды, без интереса... Однако я не упал духом... Я одного только желал: не примиряться... сохранить до конца в целости святое чувство бунта...»

Выпущенный весной 1857 года из Шлиссельбургской крепости, Бакунин был отправлен в Сибирь. Первоначально местом поселения для него была указана Нелюбинская волость Томской губернии с обязательным соблюдением всех условий, «какие существуют для политических преступников, состоящих на поселении в Сибири».

Однако Бакунин, ссылаясь на плохое здоровье, просил разрешить ему поселиться в Томске, и просьба его была удовлетворена.

В Томске Бакунин прожил около двух лет. Здесь он познакомился с семьей поляка Квятковского, служившего чиновником по золотопромышленному делу. Двум дочерям его Бакунин взялся преподавать французский язык. Квятковские жили в версте от города, в маленьком домике на заимке.

Бывая у них почти каждодневно, Бакунин особенно сдружился с младшей дочерью Квятковского — Антонией. Он полюбил ее и сделал ей предложение, которое было принято, хотя отец ее долго не хотел дать согласия на этот брак.

Весной 1859 года при содействии своего влиятельного родственника, генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского, Бакунин был переведен из Томска в Иркутск. Там он поступил на службу к одному золотопромышленнику, благодаря чему получил свободу передвижения по краю, а это дало ему возможность впоследствии осуществить задуманный побег.

Летом 1861 года, воспользовавшись коммерческим поручением купца Сабашникова, Бакунин оставил Иркутск и, спустившись вниз по Амуру до Николаевска, пересел инкогнито с корабля «Стрелок» на американский клипер, плавал некоторое время на нем по

Татарскому проливу и вдоль японских берегов, пока не встретилось ему в Иокогаме другое американское судно, направлявшееся в Сан-Франциско.

Жена Бакунина была посвящена в его планы. Он рекомендовал ей не задерживаться долго в Сибири после его побега, перебраться к его родным в Премухино и ждать там известий о нем.

22 ноября Герцен напечатал в «Колоколе» первое краткое сообщение о том, что Бакунину удалось вырваться из сибирского плена и что он собирается теперь выехать из Америки в Англию. «Извещаем с восторгом об этом всех друзей Бакунина».

Тургеневу, который в это время жил в Париже, Герцен отправил письмо о предстоящем приезде их общего друга и просил его подумать о возможности сбора средств среди приятелей и знакомых в помощь Бакунину.

Тургенев обещал заняться этим и, со своей стороны, «с величайшей готовностью» взял на себя «обязанность давать Бакунину ежегодную сумму 1 500 франков».

Вскоре Бакунин прибыл в столицу Англии.

Через несколько дней в «Колоколе» появилась статья Герцена: «Бакунин в Лондоне! Бакунин, погребенный в казематах, потерянный в Восточной Сибири, является бодрый и свежий среди нас... Бакунин приходит к нам с удвоенной любовью к народу русскому, с несокрушимой энергией надежд и сил.

Видно, скоро весна, если старые знакомые прилетают из-за Тихого океана.

С Бакуниным невольно оживают стаи теней и образов *бурного года...»* — писал Герцен, вспоминая о революционных мечтах 1848 года, развеянных потом шквалом реакции.

Так был встречен друзьями в Лондоне Михаил Бакунин «после 14 лет страданий со знаками от цепей, которые не прошли еще, утомленный путем вокруг света...».

Ведь он проделал тридцать тысяч верст за полгода пути от Иркутска до берегов Темзы.

В юности Тургенев, вероятно, тотчас же поспешил бы навстречу другу, приплывшему из-за океана.

Но теперь иное было время...

В конце января 1862 года он сообщил Герцену, что болен и не решается даже выходить на улицу. «Это опять отложило время моей поездки в Лондон, которая решительно начинает принимать какой-то мифический оттенок, но я не теряю надежды».

Надежда эта исполнилась все-таки, но чуть ли не через полгода, когда Герцен совсем уже разуверился в возможности скорого свидания с Тургеневым и шутя называл Бакунина и Огарева «романтиками» за то, что они еще продолжали верить обещанию Ивана Сергеевича.

Дело дошло до того, что Бакунин поручил известному армянскому революционному демократу, сподвижнику и ученику Чернышевского Михаилу Налбандову (правильнее: Микаэлю Налбандяну), приехавшему в это время из Лондона в Париж, убедить Тургенева поспешить с приездом. «Да вытолкайте его скорее из Парижа, — настаивал Бакунин, — нам смерть хочется повидаться, и я надеюсь, что он пробудет с нами никак не менее недели».

Кроме желания повидаться с другом молодости, была у Бакунина и другая причина торопить Тургенева. Прощаясь с женой в Иркутске, он условился с нею о встрече в Лондоне и теперь решил поручить Михаилу Налбандову и Тургеневу подготовку ее переезда, осуществить который ей предстояло в два приема: сначала из Сибири в Премухино, а затем из России за границу.

Друзья не сочувствовали этому плану Бакунина, считая, что ему следовало еще осмотреться, хоть несколько упрочить свое материальное положение, не обрекать жену на неопределенность, но Бакунин и слышать ничего не хотел.

Когда Тургенев приехал, наконец, в мае 1862 года в Лондон на несколько дней, прежде чем отправиться в Россию, Бакунин со свойственной ему фанатической настойчивостью сумел убедить Тургенева взять на себя вместе с Налбандовым необычную миссию.

1.) Узнать о местопребывании и времени возвращения жены Михаила Александровича Бакунина. — Она была в Сибири, а теперь должна приехать к Бакуниным в деревню — Тверской губернии, в Торжковском уезде в село Прямухино. — Писать о ней под именем Е-ы Менар.

2.) Узнать о двух братьях эмигранта, арестованных по тверскому делу; один называется Николай, другой Алексей или Павел. — Писать о них под именем братьев Николаевских.

Конспиративное письмо И. С. Тургенева. Автограф.

А это значило, что им надлежало позаботиться о сборе средств, об установлении связи с Антонией Квятковской, о всяческой помощи ей в ее хлопотах

По приезде в Петербург Тургенев должен был безотлагательно повидать братьев Бакунина — Николая и Алексея — и, употребив все свое влияние на них, добиться, чтобы они посильно помогли своей невестке.

Бакунин снабдил Налбандова и Тургенева письмами к братьям, написал тому и другому особые «Инструкции», по которым они должны были действовать, разработал шифр и установил разные конспиративные обозначения для переписки по этому делу. Так, например, себя он предложил именовать в письмах Леонтием Брыкаловым, всех членов своей семьи — Бабарыкиными, Тургенева — Ларионом Андреевичем, свою жену — Марьей Осиповной, Налбандова — Цуриковым, Герцена — бароном Тизенгаузеном, Огарева — Костеровым и т. д.

Налбандову он поручил всячески «тормошить» и подталкивать Тургенева — «на него я надеюсь крепко, а на вас еще крепче»; «он — человек созерцательный, усладительный. Вы — деятельный».

Только три-четыре дня пробыли старые друзья — Герцен, Огарев, Бакунин и Тургенев — все вместе. И все это время провели они главным образом в нескончаемых спорах о путях будущего развития России и Западной Европы, о социализме, об искусстве, о буржуазии и мещанстве, а более всего о самых злободневных и острых вопросах, волновавших тогда почти всех без исключения, — об освобождении крестьян, которое лондонские изгнанники считали мнимым, о необходимости Земского собора и, наконец, о Польше, где назревало восстание и все чаще происходили патриотические манифестации.

Тургенев в конце мая покинул друзей, направляясь в Россию, но многое так и осталось нерешенным между ними. Да и не могло быть иначе, потому что все явственнее становилось различие их политических убеждений. Тургенев отвергал революционный путь развития России, считая, что прогресса и свобо-

ды можно достигнуть в результате постепенного распространения знаний и культуры среди народа. Это была точка зрения типичного либерала.

«Эх, старый друг, — писал он Герцену, — поверь: единственная точка опоры для живой революционной пропаганды — то меньшинство образованного класса в России, которое Бакунин называет и гнилыми и оторванными от почвы изменниками».

Обострение политической обстановки все более отдаляло их друг от друга, хотя лондонцы все еще продолжали считать Тургенева в какой-то мере своим если не союзником, то попутчиком, но только не политической фигурой.

«Ты один из противного лагеря, — обращался к нему Бакунин, — остаешься нам другом и с тобою одним мы можем говорить, выворачивая все сердце наружу. А хорошо, что у тебя есть на Западе свои люди, друзья, и что в западном мире ты создал для своего обихода свой собственный мир. В России между твоими теперешними единомышленниками, людьми «средними», тебе, я думаю, приходилось жутко...»

Когда Тургенев, расставшись с друзьями, направился в Россию и добрался до Спасского, в «Колоколе» стали печататься статьи Герцена в форме писем под общим названием «Концы и начала». Адресатом этих писем был Тургенев. Хотя имя его не упоминалось, но по косвенным признакам догадаться об этом было легко.

В этих статьях Герцен вернулся к недоконченным в Лондоне спорам и беседам с Тургеневым. «Концы и начала» принято называть полемикой между ним и Тургеневым, хотя полемики, собственно, тут не было, ибо адресат не имел возможности печатно отвечать на пространные статьи, ограничиваясь лишь отдельными замечаниями в почтовой, а не «литературной» переписке.

В первом же письме Герцен ясно говорит, что расхождение уже наметилось, что Тургенев был только попутчиком, что дороги их неизбежно разойдутся.

«Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь, тебе хочется отдохнуть в тучной осенней жатве и тенистых парках, лениво колеблющих свои листья после долгого знойного лета... Тебя не страшит, что дни уменьшаются, вершины гор белеют, и дует иногда струя воздуха, зловещая и холодная, ты больше боишься нашей весенней распутицы, грязи по колена, дикого разлива рек, голой земли, выступающей из-под снега, да и вообще нашего упования на будущий урожай, от которого мы отделены бурями и градом, ливнями, засухами и всем тяжелым трудом, которого мы еще не сделали... Что же, с богом, расстанемся, как добрые попутчики, в любви и совете... Тебе остается небольшая упряжка. Ты приехал, — вот светлый дом, светлая река и сад, и досуг, и книги в руки. А я, как старая почтовая кляча, затянувшаяся в гоньбе, — из хомута в хомут, пока грохнусь где-нибудь между двумя станциями...»

Прежде чем направиться в Спасское, Тургенев должен был заехать в Петербург. А там, как и повсюду, было неспокойно. Иван Сергеевич оказался в столице в дни начавшихся в городе грандиозных пожаров. Горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта, весь четырехугольник между Кобыльской улицей и Лиговкой, от церкви Иоанна Предтечи до Глазова моста.

Пламя уничтожило множество домов между Троицкой улицей и Апраксиным рынком. Выгорели целые кварталы. Сотни людей, лишенных крова и имущества, бродили с узлами по площадям и улицам, ворота и подъезды домов были на запоре.

Проходя мимо министерства внутренних дел, охваченного пламенем, Тургенев видел в «хламе и пепле обгорелое дело о выдаче ему заграничного паспорта».

По городу распространялись провокационные слухи о поджигателях: агенты полиции обвиняли в поджогах революционную молодежь, тогда как в действительности пожары были делом их рук.

Тургенева поразило, что слово «нигилист», выхваченное из его романа, было теперь уже у многих на устах.

— Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург! — таким восклицанием встретил его первый же знакомый на Невском проспекте.

В письме к писательнице Марко Вовчок Тургенев обещал рассказать когда-нибудь о впечатлениях, вынесенных им из этого своего пребывания в России, как его били руки, которые он бы «хотел пожать, и ласкали руки другие», от которых он готов был бежать за тридевять земель.

Писателю пришлось испытать тогда тягостные впечатления. Холодность близких по духу людей и «приветствия» со стороны реакционеров показали ему, что он, по-видимому, допустил в романе какую-то ошибку или, во всяком случае, неясность, которую пытались использовать реакционеры, силившиеся любыми средствами опорочить идеи освободительного движения.

«Я готов сознаться, — говорил потом Тургенев, — что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину, и потому я признаю справедливыми и отчуждение от меня молодежи и всяческие нарекания».

Долго еще потом мучило Тургенева сознание, что из-за этой ошибки на его имя «легла тень».

Выполняя лондонское поручение, Иван Сергеевич прежде всего должен был узнать, захотят ли братья и сестры Бакунины принять к себе в дом жену опасного беглеца. Для этого надлежало ему повидаться с братьями Бакунина, но оказалось, что оба находятся в Петропавловской крепости. Незадолго до этого они были арестованы в связи с тем, что подписали адрес Александру II от тринадцати мировых посредников дворян Тверской губернии, в котором открыто было заявлено о несостоятельности правительства удовлетворить общественным потребностям при проведении в жизнь реформы.

На свидание с братьями Бакуниными в Петропавловской крепости потребовалось разрешение пе-

тербургского генерал-губернатора Суворова, который взял при этом с Тургенева слово, что разговор с узниками будет касаться лишь семейных дел.

Можно представить себе, как интересна была эта встреча давних знакомых под сводами Петропавловской крепости, где провел немало времени и старший брат Бакуниных.

Тургеневу не пришлось даже уговаривать братьев: они сразу изъявили согласие принять невестку в Премухино, коль скоро сами будут на свободе.

Соединив полученные от Налбандова деньги со своим взносом, Тургенев передал их одной из родственниц Бакунина для пересылки в Иркутск и счел на этом свою миссию пока что законченной.

В эти же дни он дважды приходил в книжный магазин Н. А. Серно-Соловьевича, которому привез пакет с важными бумагами от Герцена и с которым вел переговоры об издании одной детской книжки.

В магазине подписал на листе, выставленном от имени Серно-Соловьевича, какую-то сумму в пользу пострадавших от пожара.

Посетил тогда Тургенев и редакцию нового журнала «Время», издававшегося Ф. М. Достоевским и его старшим братом Михаилом. Тургенев пригласил братьев Достоевских вместе с их другом и сотрудником, критиком Страховым, обедать в гостиницу Клея, где занимал номер.

Вспоминая впоследствии об этой встрече в ресторане гостиницы с автором «Отцов и детей», Н. Н. Страхов отметил, что Тургенев был в тот день в каком-то возбуждении.

«Буря, поднявшаяся против него, очевидно, его тревожила. За обедом он говорил с большою живостью и прелестью, и главною темою были отношения иностранцев к русским, живущим за границею. Он рассказывал с художественною картинностью, какие хитрые и подлые уловки употребляют иностранцы, чтобы обирать русских, присвоить себе их имущество, добиться завещания в свою пользу и т. д.».

Страхов жалел, что об этих своих наблюдениях писатель не рассказал печатно.

Через несколько дней Тургенев отправился в Спасское. По случайному совпадению ему пришлось до Москвы ехать в одном вагоне с Некрасовым.

Годом раньше поэт сделал попытку примириться со старинным другом. Он писал ему тогда: «Любезный Тургенев, желание услышать от тебя слово, писать к тебе у меня, наконец, дошло до тоски. Сначала я не писал потому, что не хотелось, потом потому, что думал, что ты сердишься, потом потому, чтобы ты не принял моего писания за желание навязываться на дружбу и т. д.

Нет, ты этого не бойся — эти времена прошли, но все-таки выяснить дело не худо, чтоб я мог считать его порешенным, а то мне тысячу раз ты приходил в голову, и всякий раз неловкость положения останавливала меня от писания к тебе».

Некрасов напоминал в этом письме, что в апреле 1860 года перед отъездом за границу Тургенев почему-то не нашел времени даже проститься с ним.

«Сначала я приписал это случайности, потом пришло в голову, что ты сердишься. За что? Я никогда ничего не имел против тебя, не имею и не могу иметь, разве припомнить то, что некогда любовь моя к тебе доходила до того, что я злился и был с тобою груб.

Это было очень давно, и ты, кажется, понял это. Не могу думать, чтоб ты сердился *на меня* за то, что в «Современнике» появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться. То есть не то, что относится там лично к тебе, — уверен, что тебя не развели бы с «Современником» и вещи более резкие *о тебе собственно.* Но ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип — и это чувство, скажу откровенно, могло быть несколько поддержано и усилено иными из друзей, — что ж, ты, может быть, и прав. Но я тут не виноват; поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались), сам бы так же действовал, то есть давал бы им свободу высказываться на их собственный страх.

Итак, мне думается, что и не за это ты отвернулся от меня. Прошу тебя думать, что я сию минуту хлопочу не о «Современнике» и не из желания достать для него твою повесть — это как ты хочешь, — я хочу некоторого света относительно самого себя и повторяю, что это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне в последнее время несколько ночей снился во сне. Чтобы не ставить тебя в неловкое положение, я предлагаю вот что: если я через месяц от этого письма не получу от тебя ответа, то буду знать, что думать. Будь здоров. Твой Некрасов».

Ответ последовал. Правда, он никому не известен. Но Тургенев потом писал, что он отказался в этом письме к Некрасову сотрудничать в «Современнике». И после этого было еще одно небольшое, уже последнее письмо Некрасова, в котором он, цитируя Тургенева, писал: «Не нужно придавать ничему большой важности», — ты прав. Я на этом останавливаюсь, оставаясь по-прежнему любящим тебя человеком, благодарным тебе за многое».

И вот теперь они ехали вместе в Москву. Разговаривали, шутили, смеялись, но, по меткому слову Тургенева, «бездна» так и осталась между ними.

В Спасском Иван Сергеевич прожил недолго. Охота в Жиздринском уезде, куда он выезжал вместе с Фетом в июне, оказалась крайне неудачной.

На этот раз, против обыкновения, он ровным счетом ничего не писал здесь и занимался только изучением работы Щапова «Земство и раскол»; книга эта заинтересовала Тургенева потому, что в Лондоне Огарев и Герцен много говорили с ним о значении земства в России.

В середине июля 1862 года в Спасском до него дошло известие об аресте Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича и Писарева. Об этом Боткин написал Фету в Новоселки.

Поводом к аресту Чернышевского и Серно-Соловьевича послужило письмо Герцена, в котором говорилось о возможности перенесения издания «Современника» за границу.

Письмо это было отобрано во время обыска у П. А. Ветошникова, задержанного на границе при въезде в Россию. Ветошников возвращался из Лондона. Познакомившись там с Герценом, Огаревым и Бакуниным, он взялся доставить большое количество их писем в Россию к разным лицам.

Тургенев, разумеется, и не подозревал, что имя его часто упоминалось среди других имен в отобранных у Ветошникова бумагах. Подозрения такого рода могли появиться у него после того, как он узнал об аресте Михаила Налбандова, оказавшегося в Нахичевани. Это случилось через неделю после ареста Чернышевского и Серно-Соловьевича. Налбандов был доставлен из Нахичевани в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, где его продержали три года.

При обыске у Налбандова была отобрана бакунинская «Инструкция», шифр и другие бумаги, из которых следственной комиссии по делу лиц, обвиненных в сношениях с Герценом и Огаревым, стало известно, что Тургенев — это *Ларион Андреевич,* организатор фонда денежной помощи Михаилу Бакунину, взявшийся способствовать переезду за границу жены бежавшего из Сибири революционера.

Стало известно также, что он доверенное лицо Герцена и Огарева, лицо, которому при поездках в Россию давались ими различные поручения.

Все это и дало повод в скором времени привлечь Тургенева «по делу 32-х», обвиненных в связях с лондонскими пропагандистами.

Тургенев недолго пробыл на родине в этот свой приезд — уже в августе он снова был за границей, и там в конце года до него дошел слух, что в ближайшем будущем его вызовут в Петербург для дачи показаний в сенате.

Слух этот первоначально показался Тургеневу неправдоподобным, однако вскорости он подтвердился. Оказалось, что действительно председатель следственной комиссии князь А. Ф. Голицын доложил Александру II о необходимости вызвать из-за границы для допроса А. А. Серно-Соловьевича, В. И. Кель-

сиева, И. С. Тургенева и ряд других лиц. Царь утвердил это предложение.

Акция, предпринятая правительством, взволновала Тургенева. Он вызвал брата, Николая Сергеевича, в Париж, чтобы договориться с ним о продаже имений, коль скоро они окажутся под угрозой конфискации.

«Вызывать меня теперь, — писал Тургенев Анненкову в начале января 1863 года, — после «Отцов и детей», после бранчливых статей молодого поколения, именно теперь, когда я окончательно, чуть не публично разошелся с лондонскими изгнанниками, то есть с их образом мыслей, — это совершенно непонятный факт...»

Получив через русского посланника в Париже официальный вызов, Тургенев в январе 1863 года писал тому же Анненкову: «Я не в состоянии себе представить, в чем собственно меня обвиняют. Не могу же я думать, что на меня сердятся за сношения с товарищами молодости, которые находятся в изгнании и с которыми мы давно и окончательно разошлись в политических убеждениях. Да и какой я политический человек? Я — писатель, независимый, но добросовестный и умеренный писатель — и больше ничего».

По совету посланника Тургенев обратился с письмом к Александру II, заверяя его в «умеренности» своих убеждений, «вполне независимых, но добросовестных».

Из писем к друзьям Тургенева видно, что он опасался преследований за встречи с гейдельбергскими студентами, учредившими русскую студенческую читальню и занимавшимися политической пропагандой, а также за участие в подготовке проекта «адреса» на имя Александра II с требованием созыва Земского собора, в котором авторы его видели единственное средство спасти страну.

Желая теперь выиграть время и получить ясное представление о существе возникшего «дела», Тургенев возбудил ходатайство о высылке «допросных пунктов» в Париж, мотивируя свою просьбу невоз-

можностью незамедлительно приехать в Россию из-за болезни.

Просьба Тургенева была уважена. Из присланных ему допросных пунктов он увидел, что речь идет главным образом об его отношениях с Герценом, Огаревым и Бакуниным и попутно затронут вопрос о знакомстве с Налбандовым и Серно-Соловьевичем.

Письменные ответы Тургенева не удовлетворили следственную комиссию, отметившую в них некоторые расхождения с показаниями других обвиняемых.

Осенью 1863 года последовал повторный вызов, однако Тургенев и на этот раз под разными предлогами дважды откладывал свой приезд в Россию.

«Может, было бы лучше ехать, — писал в эти дни Тургеневу Герцен, — преследование тебя нанесло бы страшный удар правительству дураков, трусов и, в силу этого, злодеев».

Только по прошествии года со времени получения первого вызова Тургенев, уже твердо уверенный в том, что «дело» для него должно закончиться благополучно, приехал в январе 1864 года из-за границы для дачи показаний в сенате.

7 января он явился туда и выслушал «высочайшее» повеление о предании его суду. Затем ему были зачитаны прежние его показания, которые он во всем подтвердил.

Перед началом допросов у него отобрали подписку о невыезде из Петербурга. Внешне поначалу все это выглядело внушительно.

Но уже после второго допроса обвиняемому стало ясно, что и «повеление» и подписка были только данью формальности.

«Мои шестеро судей, — писал он Полине Виардо 13 января, — предпочли поболтать со мной о том, о сем... Завтра опять пойду в Сенат — думаю, в последний раз».

Когда Герцену стало известно о том, что Тургенев обратился к Александру II с письмом, он резко осудил этот его шаг. В январе 1864 года в «Колоколе»

появилась ядовитая заметка Герцена о раскаянии Тургенева. В ней говорилось, между прочим, об одной «седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она «прервала все связи с друзьями юности». Заметка эта и послужила одной из причин разрыва их отношений, продолжавшегося несколько лет.

21 января Тургенев присутствовал на похоронах Дружинина на Смоленском кладбище, где собрались Некрасов, Фет, Гончаров, Анненков, Боткин и многие другие литераторы.

Здесь произошло примирение его с Гончаровым. По просьбе Ивана Сергеевича Анненков подошел к Гончарову и сказал, что Тургенев хочет подать ему руку. Иван Александрович был явно обрадован тем, что встреча эта кладет конец их размолвке.

В первом же письме к Гончарову из Парижа весною того же года Тургенев писал, что он радуется возобновлению дружеских отношений с ним «в силу общего прошедшего, однородности стремлений и многих других причин».

И тут, должно быть, вспомнились Тургеневу слова Лежнева, обращенные к Рудину:

«Ведь уж мало нас остается, брат; ведь мы с тобой последние могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди, но теперь, когда толпа редеет вокруг нас... нам надобно крепко держаться друг за друга».

В письме к Гончарову Тургенев писал: «Мы ведь тоже немножко с вами последние могикане. Повторяю, душевно рад тому, что чувствую снова вашу руку в моей».

Задолго до окончания «процесса 32-х» особым постановлением сената, вынесенным 28 января, Тургеневу был разрешен выезд за границу, а летом, когда он уже находился в Бадене, его вообще освободили от всякой ответственности по этому делу.

Разрыв с «Современником», расхождение с Герценом, Огаревым и Бакуниным, привлечение к «процессу 32-х», резкие нападки печати на роман «Отцы и дети» — все это болезненно отозвалось в душе писателя.

Наступило трудное время, о котором Герцен писал: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный... «День» запрещен. «Современник» и «Русское слово» запрещены, воскресные школы заперты, деньги, назначенные для бедных студентов, отобраны, типографии отданы под двойной надзор, два министерства и III Отделение должны разрешать чтение публичных лекций, беспрестанные аресты, офицеры, флигель-адъютанты в казематах... видно, николаевщина была схоронена заживо и теперь встает из-под сырой земли в форменном саване, застегнутом на все пуговицы».

В письмах Тургенева этого времени заметно чувство усталости, разочарование, порою звучат даже ноты глубокого пессимизма, безнадежности.

Особенно огорчало писателя охлаждение к нему молодежи, не простившей ему бесстрастно-холодного, как ей казалось, изображения фигуры разночинца Базарова.

Временами у него являлось желание вообще отойти от литературы или, уж во всяком случае, не касаться в будущих произведениях общественно важных тем и животрепещущих вопросов.

Писатель, с таким обостренным чувством современности, всегда живо откликавшийся на новые идеи, которые только-только зарождались в общественном сознании, теперь особенно ясно ощущал усиливавшиеся с каждым днем веяния реакции, — она гнетуще действовала на него.

«Едва ли мне опять скоро придется предстать на суд критики и публики, с меня довольно треска и грохота, возбужденного «Отцами и детьми», — делился Иван Сергеевич своими сомнениями с писательницей Марко Вовчок.

Действительно, его продуктивность, если можно так выразиться, резко упала. Прежде за короткий пе-

риод — 1855—1861 годы — были созданы четыре его лучших романа: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», не говоря уже о большом количестве повестей и рассказов, а теперь с 1862 по 1867 год включительно — лишь несколько рассказов и роман «Дым».

Проникнутые глубоким пессимизмом, они ясно свидетельствовали об идейном кризисе, который переживал Тургенев в тот период.

Писатель и сам чувствовал резкую разницу между своими прежними лучшими произведениями и новыми рассказами, такими, как «Призраки» и «Довольно». Он пренебрежительно называл их вздором, сказками, задуманными в тяжелое для него время, и не сразу решился на их опубликование.

Сколько раз пришлось Достоевскому, нуждавшемуся в материале для своего журнала, просить Тургенева отдать «Призраки» в редакцию «Времени», и как долго автор их размышлял, взвешивал, целесообразно ли будет выступить ему с такой незначительной вещью перед читателями, привыкшими к его выступлениям с капитальными общезначимыми произведениями.

Лучшая пора его жизненного и творческого пути была уже позади.

Дружба с Грановским и Станкевичем... Близость с Белинским... «Записки охотника»... Небывалый успех его романов... Работа в «Современнике» Некрасова... «Колокол» Герцена...

А теперь уже нет такой близкой среды, нет журнала, интересы которого были бы ему так же дороги, как интересы «Современника» в прежние годы. Ведь направление «Русского вестника», в котором появились его последние два романа, было ему, в сущности, совершенно чуждо и безразлично. Он был в этой редакции лишь случайным гостем..

Круг литераторов, с которыми у него еще сохранились приятельские отношения, теперь заметно поредел, и на первом плане оказались Анненков, Боткин, Фет, общественно-политические позиции которых далеко не во всем его удовлетворяли. Иногда его

даже коробила узость консервативных взглядов Фета или Боткина, и он внутренне отдалялся от них.

Присматриваясь издалека к событиям в России послереформенной эпохи, он видел лишь хаос и неурядицу переходного периода, крутую ломку общественных отношений, разгул реакции. Характеризуя позднее этот период, Тургенев писал: «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло... Весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная».

Оторванность от России не позволила в это время писателю, как правильно говорил революционный народник Лавров, «заметить сохранившиеся и укрепившиеся живые силы общества и новые пробивающиеся его ростки».

Отойдя от демократического лагеря, порвав связи с передовыми деятелями, Тургенев хотел замкнуться, уйти в себя, забыть о политической жизни, довольствоваться малым...

«А меня Вы, душа моя, — писал он одному из своих земляков, — напрасно шевелите. Моя песенка спета. Так спокойно катится жизнь, так мало сожалений, тревог, что только думаешь об одном: матушка Середа, будь похожа на Вторник, как сам батюшка Вторник был похож на Понедельник. Не поднимайтесь со дна, вы — всякие черные тараканы, болезнь, слепота, глухота, увечье — а больше не надо, не надо ничего. Куда нам бороться и ломать деревья! Благо, чувство к красоте не иссякло...»

Весною 1864 года Полина Виардо выступила в последний раз на сцене парижского театра в роли Орфея в опере Глюка. Она уже утратила прежнюю силу голоса и, сознавая это, намеревалась, оставив сцену, посвятить себя педагогической деятельности.

Относясь с крайней неприязнью к режиму Наполеона III, супруги Виардо приняли решение расстаться с Куртавнелем и Парижем и переселиться в Германию, с тем чтобы открыть в Баден-Бадене

школу пения. Они купили себе виллу в предместье этого живописного городка.

С этого времени поселился там и Тургенев. Он тоже приобрел участок земли рядом с виллой Виардо и начал строить собственный дом.

В эти дни Боткин, гостивший у Фета, заехал в Спасское. Оттуда он писал Тургеневу в Баден: «Когда я встал с постели и вошел в твой кабинет, то на меня грустно смотрел твой ягдташ, повешенный на этажерке. Вокруг все чисто, в порядке и в мертвой тишине. Утром ходил по саду и в Петровское. Аллеи покрыты желтыми листьями, дорожки заросли травой, на всем печать тихого, медленного запустения... Но я смотрю на эти места с удовольствием, хотя и с грустным удовольствием. Все напоминает тебя. Страница жизни твоей, долго колеблясь между противоположными ветрами, наконец перевернулась — и в перспективах ее уже не видно ничего общего между тобою и этими юношескими местами».

Тургенев благодарил Боткина за это письмо, несмотря на его грустный колорит: «Оно живо представило мне ту отдаленную деревню, где я провел многие годы моей жизни и куда я едва ли возвращусь...»

Для дочери и ее пожилой гувернантки Тургенев снял в Париже небольшую квартиру, где он и сам останавливался, когда приезжал повидаться с ней.

Скоро в судьбе ее произошла перемена. В феврале 1865 года состоялась свадьба Полины Тургеневой с Гастоном Брюэром, молодым владельцем небольшой стеклянной фабрики в ста двадцати километрах от Парижа.

По отзыву Тургенева, это был человек хороший, добрый и дельный; и ему казалось, что дочь его будет счастлива: «Он образован, хорошей фамилии, а главное, очень понравился моей дочери».

Но жизнь жестоко обманула отца и дочь. Тяжелейшие испытания выпали на их долю. Прошло несколько лет, и, когда у Тургенева появились уже вну-

ки, благополучие семьи Брюэр оказалось разрушенным до основания.

В сентябре 1872 года у Тургенева родилась внучка (Жанна). Вскоре он получил письмо из Москвы от Авдотьи Ермолаевны: «Милостивому моему благодетелю Ивану Сергеевичу. Пожелав Вам доброго здоровья, целую Ваши ручки. Желала бы я знать об Вашем здоровьи и дочери моей Полиньки с мужем. Сделайте милость, не оставьте меня своею милостью; я в продолжение нескольких лет получала от вас пенсию 25 рублей в треть, а теперь четыре месяца, как не получаю, а писала к Вашему управителю Никите Алексеевичу и не получила ответа, и это меня заставило сомневаться в вашем здоровьи. Когда я Вас видела, то просила Вас поместить меня в селе (Спасском), за что бы я была Вами очень, очень благодарна. Еще раз пожелав Вам всего хорошего, прошу Вас уведомить меня о своем здоровье. Остаюсь уважающая Вас Авдотья Калугина».

Неизвестно, как ответил на это письмо Тургенев, но ничего утешительного о дочери сообщить ей он не мог. Дела Брюэра после войны все ухудшались и пришли, наконец, в полный упадок.

В конце 70-х годов Тургенев писал брату Николаю: «Зять мой до последнего сантима просадил приданое моей дочери и, вероятно, в скором времени принужден будет объявить себя банкротом, так что дочь моя и все ее семейство очутятся на моих руках».

За год до смерти Ивана Сергеевича дочь его покинула мужа и на время переселилась к отцу вместе со своими детьми. Возникла необходимость развода. «Пошла возня с адвокатами, стряпчими и т. д., — сообщал Тургенев друзьям. — Процесс может длиться год и слишком; она с детьми должна скрываться; все, что она имела, пропало безвозвратно — может быть, ей даже придется навсегда убежать из Франции...»

Боясь преследований со стороны мужа, Полина Брюэр действительно уехала из Франции и поселилась с детьми в Швейцарии.

Обстоятельства сложились для нее так неблагоприятно, что в дни предсмертной болезни отца она не смогла даже приехать проститься с ним.

Долго бездействовать Тургенев не мог. Не мог удовлетвориться он и писанием «сказок», да еще таких глубоко субъективных и отвлеченно-философских, как «Призраки» и «Довольно».

Стремление продолжать труд добросовестного летописца общественного развития России и на этот раз взяло верх в писателе. Недаром, характеризуя Тургенева как художника, проникнутого общественными интересами, Салтыков-Щедрин говорил, что он никогда не покидал «почвы общечеловеческих идеалов».

В 1865 году Тургенев приступил к работе над новым романом — «Дым», названным первоначально «Две жизни».

Смысл возможности такого названия подчеркнут в сцене поспешного отъезда Литвинова из Баден-Бадена, где произошла после десятилетнего перерыва его встреча с Ириной и второе рождение его любви к ней.

Ирина пришла на станцию, и были минуты, когда она мучительно колебалась, не бежать ли ей вместе с Литвиновым. «Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение — и умчались бы в неведомую даль *две* навсегда соединенные *жизни*».

Но этого не произошло.

Ирина не нашла в себе силы и решимости порвать с великосветским кругом, в жертву которому были принесены ею молодость, красота и гордость.

Она сознавала, что ей придется жить среди мертвых кукол, что от нее ускользает, может быть, последняя возможность начать новую жизнь. Но обстоятельства оказались сильнее ее мимолетного порыва: «...я сама надеялась все изгладить, сжечь все, как в огне... Но, видно, мне нет спасения, видно, яд слишком глубоко проник в меня; видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом».

В процессе работы Тургенев переменил название романа, потому что новое — «Дым» — имело более широкий символический смысл.

В описании душевного состояния Литвинова в ту минуту, когда поезд уносил его из Баден-Бадена, *«где осталось столько его собственной жизни»*, особенно явственно проступает печать тогдашних настроений самого автора.

Ведь даже фраза, выделенная здесь курсивом, взятая из романа, почти дословно повторяет интимное признание Тургенева в одном из его писем 1860 года из Куртавнеля: «...теперь я нахожусь в том доме, куда я приехал пятнадцать лет тому назад и где осталось много-много моей жизни...»

Глядя из окна вагона, как встречный ветер крутил темные клубы дыма по сторонам бегущего поезда, Литвинов увидел вдруг за этой однообразной торопливой и скучной игрой совсем иное.

«Дым, дым», — повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом: все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское. Всё дым и пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то — и всё исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул — и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра...»

Каким безверием и горечью проникнуты эти мысли Литвинова!

Материал для этого романа накапливался постепенно со времени приезда Тургенева в Баден еще летом 1862 года. Он поспешил тогда уехать за границу, пробыв на родине гораздо меньше, чем предполагал, потому что был растерян и сбит с толку быстрой сменой событий, тревожными слухами, арестами, повсеместным переходом реакции в наступление.

«Общество наше, — писал он в одном из писем, — легкое, немногочисленное, оторванное от почвы, закружилось, как перо, как пена; теперь оно готово

хлынуть или отлететь за тридевять земель от той точки, где недавно еще вертелось; а совершается ли при этом, хотя неловко, хотя косвенно, действительное развитие народа, этого никто сказать не может. Будем ждать и прислушиваться».

Но прислушиваться к тому, что происходило в России, не находясь в самой гуще ее жизни, Тургеневу было очень трудно.

Поэтому действие нового романа было перенесено в обстановку, которую автор имел возможность наблюдать непосредственно в самом процессе творческой работы.

«Дым» открывается фразой, указывающей на время и место действия романа: «10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене перед известным «Conversation» толпилось множество народа...»

Этот «народ» был той накипью модного курорта, где смешалось все: правые и левые, аристократические дамы и парижские лоретки, титулованные шулера и откупщики-миллионеры, дипломаты и степные помещики средней руки, светские львы и игроки в рулетку, молодые генералы (будущие государственные мужи) и эмигранты, считавшие себя революционерами без всяких на то оснований.

Разноликая и пестрая толпа эта послужила как бы фоном, на котором разыгрывалась личная драма Литвинова и Ирины.

Первоначально писатель уклонялся от общения в Бадене со знатными соотечественниками. «Здесь хорошо, — делился он своими впечатлениями с автором народных рассказов Марко Вовчок, — зелено, солнечно, свежо и красиво. Русских много, но все высшего полета — и потому низшего сорта, — и я их избегаю...»

Но когда замысел «Дыма» более или менее определился, Иван Сергеевич стал внимательно присматриваться к заграничной жизни русских аристократов и военно-бюрократической верхушки.

Наблюдения эти, длившиеся по меньшей мере года три, дали ему богатейшую пищу для зарисовок в чисто щедринском духе.

В отличие от всех прежних романов Тургенева «Дым» — произведение в значительной мере сатирическое. Местами это даже памфлет, стрелы которого направлены не только в российский реакционный лагерь, но и в среду политических эмигрантов.

По мысли писателя, оторванность от России, от ее народа, незнание его нужд и интересов были характерны как для реакционного кружка дворянских гвардейцев, которых он иронически назвал в романе «воинами», так и для губаревского кружка эмигрантов.

И те и другие были в глазах Тургенева мутной пеной, отлетевшей за тридевять земель от средоточия русской народной жизни в трудное время больших исторических переломов и сдвигов.

Неверие Тургенева в возможность революционного преобразования России, усилившееся под влиянием развернутого наступления реакции, по-своему отразилось в романе «Дым».

Противоречия, свойственные мировоззрению писателя, обусловили односторонность его подхода к изображению общественно-политической борьбы в ту эпоху. Ярко показав в романе моральное и интеллектуальное убожество закоренелых крепостников из великосветской среды, Тургенев не удержался, однако, от карикатурного изображения деятельности русских революционных эмигрантов.

Он не увидел среди них ни одной достойной и сильной личности, подобной главному герою его предыдущего романа.

О прототипах, послуживших Тургеневу при создании действующих лиц в «Дыме», было немало догадок, — впрочем, далеко не все они были правильны.

Создавая образ Ирины Ратмировой, писатель имел в виду княжну А. С. Долгорукую (в замужестве Альбединскую), фаворитку Александра II, а в образе мужа Ирины — Валерьяна Ратмирова — дал портрет генерал-адъютанта Альбединского, отличавшегося крайней жестокостью и известного расправой с крестьянами в Белоруссии.

По-разному решается вопрос о том, в какой мере был Огарев прототипом Губарева. Безусловно, правы те, кто считает, что вряд ли Тургенев стал бы рисовать грубую карикатуру на человека, о глубоком уважении к которому он прямо заявлял Герцену, не скрывая, однако, от него своего несогласия с политическими теориями Огарева. Рисуя внешний облик Губарева, Тургенев, может быть, внес в него две-три действительные черты наружности и манер Огарева и ограничился этим.

Закончив работу над романом, Тургенев в начале 1867 года повез рукопись в Москву, редактору «Русского вестника» Каткову. Но прежде чем сдать ее в печать, он, по обыкновению, прочитал роман в Петербурге в узком дружеском кругу.

В этот приезд Тургенев познакомился с Д. И. Писаревым, дважды посетившим его в квартире Боткина, у которого Иван Сергеевич остановился.

Молодой выдающийся критик, незадолго до этого выпущенный на свободу из Петропавловской крепости, где его продержали более четырех лет, произвел чрезвычайно благоприятное впечатление на Тургенева своим прямодушием, умом и необыкновенной честностью мысли.

Тургенев всегда с интересом читал статьи Писарева, хотя со многим в них согласиться не мог. В частности, вызывало его протест тогдашнее отрицательное отношение критика к поэзии, особенно резко проявившееся в его статьях об «Евгении Онегине» и о лирике Пушкина. Тургенев решил прямо высказать это Писареву, видя, что с ним не только можно, но и должно говорить с полной откровенностью.

— Вы втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений* Пушкина, — сказал он ему. — Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали *нарочно*, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю

* «19 октября».

преувеличение, я допускаю карикатуру, — но преувеличение истины, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно!

А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов: стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, *обязанный* прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, *должны* обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!

Молча выслушав всю эту тираду, Писарев не возразил ни слова, но у Тургенева осталось впечатление, что критик не согласился с ним.

Во время второй встречи Тургенева с Писаревым присутствовал Боткин. Последний бесцеремонно вмешался в разговор, осыпая «нигилиста» и «циника» Писарева всевозможными нелестными эпитетами.

А «нигилист», напротив, держался во время этого спора чрезвычайно сдержанно и учтиво, как «истый джентльмен», чем еще больше возвысил себя в глазах Тургенева.

После этого свидания Иван Сергеевич уехал в Москву и больше уже не видался с Писаревым.

По возвращении в Баден-Баден он обратился к нему с письмом, выразив сожаление, что не встретился с ним еще раз на обратном пути из Москвы. Он снова свидетельствовал, что очень ценит его талант и уважает его характер.

Хорошо помня интересные, содержательные статьи Писарева об «Отцах и детях», Тургенев просил его высказать свое мнение и о «Дыме».

Писателя особенно интересовало, как отнесется

Писарев к изображению эмигрантского кружка Губарева.

«Рассердились ли Вы по поводу сцен у Губарева и эти сцены не заслонили ли для Вас смысл всей повести?» — спрашивал он критика.

Писарев в ответном письме признался, что он не может сейчас выступить в печати со статьей о «Дыме», во-первых, потому, что на его журнале «Дело» лежит печать предварительной цензуры, а для такой статьи необходим некоторый простор, чтобы высказать те мысли, на которые наводит роман. Во-вторых, Писарев считал, что о Тургеневе «надо писать хорошо и увлекательно, или совсем не писать. А я, — продолжал он, — все это время, уже около полугода, чувствую себя неспособным работать так, как работалось прежде, в запертой клетке. Вся моя нервная система потрясена переходом к свободе, я до сих пор не могу оправиться от этого потрясения. Вы видите сами, как нескладно написано это письмо и как дрожит моя рука. Я подожду писать о «Дыме», пока не буду чувствовать себя спокойнее и крепче. Но я передам Вам теперь, насколько сумею, основные черты моего взгляда на Вашу повесть. Из этого очерка Вы увидите сами, почему мне действительно необходим простор».

И далее Писарев набрасывает в письме как бы сжатый конспект статьи о романе Тургенева, оценивая это произведение с присущей ему прямотой и твердостью.

«Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Есть русская пословица: дураков и в алтаре бьют. Вы действуете по этой пословице, и я с своей стороны ничего не могу возразить против такого образа действий. Я сам глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками. Далее, я вижу и понимаю, что сцены у Губарева составляют эпизод, пришитый к повести на живую нитку, вероятно, для того, чтобы автор, направивший всю силу своего удара направо, не потерял окончательно равновесия и не очутился в несвойственном ему обществе красных

демократов. Чго удар действительно падает направо, а не налево, на Ратмирова, а не на Губарева, — это поняли даже и сами Ратмировы.

При всем том «Дым» меня решительно не удовлетворяет. Он представляется мне странным и зловещим комментарием к «Отцам и детям». У меня шевелится вопрос, вроде знаменитого вопроса: Каин, где брат твой Авель? Мне хочется спросить у Вас: Иван Сергеевич, куда Вы девали Базарова?

Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова. Вы подводите итоги с его точки зрения, Вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов — это тот самый друг Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво.

Чтобы осмотреться и ориентироваться, Вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем, как в Вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую Вы же сами открыли и описали. Что же сделалось с этой каланчой? Куда она девалась?.. Неужели же Вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца?

Или неужели же он, с 1859 года, успел переродиться в Биндасова? Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что Вы его не заметили? Ведь это значит не заметить слона... А если Вы его заметили и умышленно устранили его при подведении итогов, то, разумеется, Вы сами отняли у этих итогов всякое серьезное значение...»

Этим отзывом Писарев дал понять автору «Отцов и детей», что передовые читатели ждали от него углубленного развития образа разночинца, демократа и революционера.

«Вы напоминаете мне о Базарове, — отвечал Тургенев, — и взываете ко мне: «Каин, где брат твой Авель?» Но Вы не сообразили того, что если Базаров и жив — в чем я не сомневаюсь, — то в литературном произведении упоминать о нем нельзя: отнес-

тись к нему с критической точки — не следует, с другой — неудобно; да и, наконец, ему теперь только можно *заявлять* себя — на то он Базаров; пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами — было бы совершенною прихотью — даже фальшиво...»

Как только роман был напечатан в третьей книге «Русского вестника», Тургенев послал его Герцену, который жил теперь уже не в Лондоне, а в Женеве.

Узнать мнение Герцена о «Дыме» Тургеневу было особенно важно и интересно, потому что в романе нашли отражение их частые споры по общеполитическим вопросам. Ведь Потугин, устами которого Тургенев высказал свои заветные мысли о России и Западе, об общине и народническом социализме и т. п., оспаривал, в сущности, взгляды Герцена.

Вот где, собственно, вернулся Тургенев к полемике, открытой издателем «Колокола» в цикле статей «Концы и начала».

Посылка романа явилась подходящим поводом к возобновлению прежних дружеских отношений между Тургеневым и Герценом.

Примирение могло бы состояться и раньше, потому что ни один из них не держал камня за пазухой и каждый продолжал с большим интересом следить за деятельностью другого.

Вместе с романом Тургенев отправил Герцену письмо, в котором первый протянул ему снова руку дружбы. «Посылаю тебе свое новое произведение, — писал он. — Сколько мне известно, оно восстановило против меня в России — людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов».

Герцену роман был уже известен. Еще до получения этого письма он напечатал в «Колоколе» одну за другой три заметки о «Дыме». В первых двух о самом произведении, по существу, ничего не говорилось, но содержались полемические выпады против редактора «Русского вестника».

В третьей заметке Герцен слегка «ужалил» и самого автора «Дыма». Она называлась «Отцы сделались дедами». Герцен писал в ней: «Экий этот Иван

Сергеевич — лучший, сказал бы я, из всех Иванов Сергеичей в мире, если б не боялся обидеть Аксакова (Ивана Сергеевича. — *Н. Б.*). И нужно ему эдакие *дымы* кольцами пускать.

Ведь наделила же его природа всякими талантами: умеет об охоте писать, умеет пером стрелять по всем глухим тетеревам и куропаткам, живущим в «дворянских гнездах» да «затишьях». Нет, хочу, говорит, быть публицистом — едким, злым, желчным, а сам — добрейшая душа, ни желчи, ни злобы; ничего такого».

Политическая сатира во вкусе Щедрина — жанр для Тургенева новый, необычный — не вызывала сочувствия у Герцена. Он и прежде не одобрял политических «экскурсов» Тургенева в художественных произведениях, считая, что сила его дарования была в другом. «Оставь политику... будь снова независимым писателем», — убеждал он Тургенева в 1864 году в момент их расхождения.

Пространные потугинские тирады в «Дыме» показались Герцену утомительными, ненужными, скучными.

О примирительном шаге Тургенева он сообщил своим близким как о «великой новости», а самому Ивану Сергеевичу отвечал: «Я только что немного тебя ужалил за «Дым», а ты мне его посылаешь».

Герцену тоже не хотелось вспоминать старое, и он с искренним дружелюбием протягивал руку Тургеневу, предлагая подвести баланс — кредит и дебет и по взаимному согласию перечеркнуть его и забыть о нем.

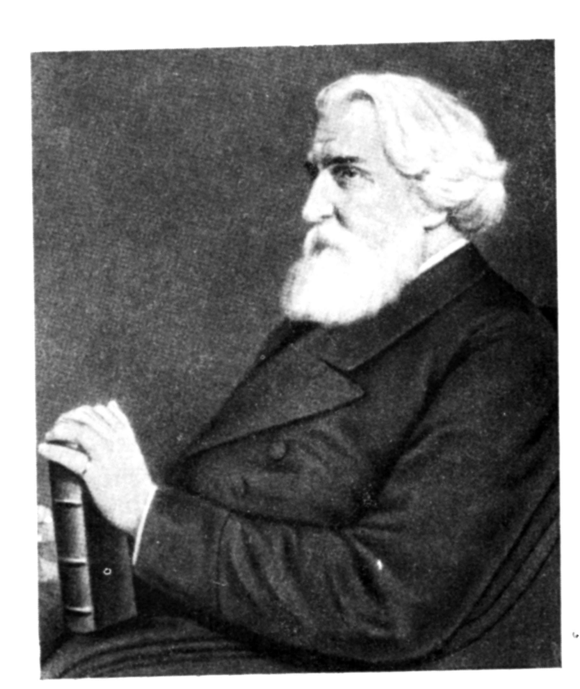
«Шуточная заметка моя идет не от злобы, — я никогда не сержусь больше одной недели и даю слово, что мои зубы против тебя давно выпали. Но что ты поддерживаешь Каткова, это больно видеть; будто ты не нашел бы издателя без гнусного доносчика, о котором ты сам отзывался... с омерзением...

Итак, сделаем счет и, если ты не очень осерчал, а сам захохотал над моей заметкой, напиши. Я искренно признаюсь, что твой Потугин мне надоел...»

В ответном письме Ивана Сергеевича говорилось,



Д. И. Писарев.



И. С. Тургенев.

Портрет работы В. Г. Перова.

И. С. Тургенев.

Карандашный рисунок Полины Виардо. 22 сентября 1879 г.



И. С. Тургенев.

Рисунок тушью работы И. Е. Репина, 1884 г.

что «Дым» был послан им после прочтения заметки в «Колоколе» и что, следовательно, он и не думал сердиться за нее.

Тургенев действительно не придал всему этому большого значения, отчасти, может быть, потому, что и в самом деле сознавал, что *отцы сделались дедами:* «Тебе минуло 55 лет, мне в будущем году стукнет 50. Это лета *смирные* — да и что там ни говори, мы, благодаря нашему прошедшему, времени нашего появления в свет и т. д., все-таки ближе стоим друг к другу, легче понимаем друг друга, чем *разногодники.*

А счеты свести мне очень легко. Единственная вещь, которая меня самого грызет, это мои отношения с Катковым, как они ни поверхностны».

Тургенев объяснял, что он сотрудничает не в реакционной газете Каткова «Московские ведомости», а в журнале «Русский вестник», который, как ему кажется, в сущности, сборник, не имеющий никакого политического колорита.

Не соглашаясь с герценовской оценкой рассуждений Потугина, Тургенев подчеркивал, что за «Дым» его «ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку, особенно сбоку», что «еще никогда и никого так дружно не ругали, как его за «Дым».

Он нисколько не преувеличивал. Камни и впрямь летели со всех сторон.

К осуждающим голосам критиков присоединились и голоса писателей, также встретивших новый роман Тургенева почти единодушным осуждением.

Оно выражалось по-разному. Поэт Тютчев, чрезвычайно высоко ценивший талант Тургенева, прочтя «Дым», остался им очень недоволен, хотя и признавал мастерство, с каким изображена Ирина Ратмирова. Он тотчас же откликнулся на выход романа стихотворением «Дым», напечатанным в майской книжке «Отечественных записок». В этом стихотворении Тютчев «оплакивал» ложную дорогу, избранную Тургеневым:

Здесь некогда могучий и прекрасный
Шумел и зеленел волшебный лес,

Не лес, а целый мир разнообразный,
Исполненный видений и чудес.

Так образно определял поэт тургеневское творчество прежней поры.

Какая жизнь, какое обаянье,
Какой для чувств роскошный, светлый пир!
Нам чудились нездешние созданья,
Но близок был нам этот дивный мир.

И вот опять к таинственному лесу
Мы с прежнею любовью подошли.
Но где же он? Кто опустил завесу,
Спустил ее от неба до земли?

Что это? Призрак, чары ли какие?
Где мы? и верить ли глазам своим?
Здесь дым один, как пятая стихия,
Дым — безотрадный, бесконечный дым!

. . . .

Нет, это сон! Нет, ветерок повеет
И дымный призрак унесет с собой,
И вот опять наш лес зазеленеет,
Все тот же лес, волшебный и родной.

Гончаров, лечившийся в то время в Бадене, встретившись с Тургеневым, отозвался о «Дыме» весьма отрицательно.

— Начал было читать, — сказал он, — но скучно показалось. Эти генералы — точно не живые, а деланные, как фигуры восковые. Да и кучка нигилистов по трафарету написана. Изменило вам на этот раз перо, изменило оно вам и искусству...

А с Достоевским вышло и того хуже.

Федор Михайлович, совершавший в то лето заграничное путешествие с женой, тоже оказался в Бадене. Он заехал в этот город с тайной надеждой поправить свои скверные денежные дела игрой в рулетку. Ведь удалось же ему четыре года назад в Висбадене выиграть в один час двенадцать тысяч франков!

Может быть, и здесь ждет его удача. Ему явилась соблазнительная мысль пожертвовать десятью луидорами и выиграть, скажем, тысячи две франков. Ведь это на целых четыре месяца житья хватило бы...

А то ведь и на родину вернуться невозможно — там ждала его долговая яма.

Поначалу все пошло хорошо. С необыкновенной легкостью в три дня он выиграл четыре тысячи франков. Тут бы и остановиться. Анна Григорьевна умоляла его довольствоваться этим, уехать скорее. Но он рискнул еще раз — и проиграл все до последнего франка.

Даже из одежды кое-что пришлось закладывать и переселиться в захудалую квартиру над кузницей, где с утра до вечера раздавались удары молота.

Состояние тревоги и какая-то нервная лихорадка мучили Достоевского, когда он явился к Тургеневу, которому, кстати сказать, уже в течение нескольких лет никак не мог возвратить свой небольшой долг — пятьдесят талеров, занятых вот так же в трудную минуту после страшного проигрыша.

Тургенева он нашел раздраженным тем, что со всех сторон ему приходилось слышать осуждение его последнего романа.

Он просидел у него часа полтора, и, когда разговор коснулся вдруг вопросов, выдвинутых в «Дыме», главным образом о России и Западе, Достоевский принялся горячо доказывать Тургеневу порочность его концепции.

В пылу спора, увидев на столе экземпляр романа «Дым», он порывисто схватил его и воскликнул, размахивая томом:

— Эту книгу надо сжечь рукою палача!

После этого столкновения писатели надолго разошлись, и переписка между ними оборвалась.

Только через десять лет Тургенев обратился к Достоевскому с письмом, в котором рекомендовал ему французского литератора Дюрана, занимавшегося подготовкой критических монографий о русских писателях и отправлявшегося с этой целью в Россию.

«Вы, конечно, стоите в этом случае на первом плане, — писал Тургенев Достоевскому. — Я решился написать Вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен,

не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе».

Это писалось Тургеневым после того, как Достоевский в романе «Бесы» «вывел» его в шаржированной фигуре Кармазинова.

Уже давно-давно не видали друг друга Тургенев и Герцен. Весной 1869 года Иван Сергеевич прислал ему свою фотографию, при первом же взгляде на которую Герцен заметил, что Тургенев состарился, стал совсем седой, но сохранил прежнее благородство черт.

Их снова связывали настоящие дружеские чувства. И когда с любимой дочерью Герцена, Натальей, осенью случилось несчастье (она нервно заболела из-за тяжелых личных переживаний), Герцен поспешил поделиться этим горем с Тургеневым.

«Я сегодня еду из Флоренции, где был вследствие такого удара судьбы, который, несмотря на мою каменную силу, потряс и меня... Судьба бьет меня со всего размаха... Ну, брат, жизнь-то посложней и помрачнее тебя творит свои повести...»

Когда здоровье дочери несколько восстановилось и окрепло, Герцен с семьей поселился в декабре в Париже.

Сюда в середине января 1870 года приехал по делам из Бадена Тургенев и сразу же явился к Герцену, но не застал его дома. Увиделись они на следующий день. Сообщая об этом свидании Огареву, Герцен писал, что Тургенев был весел и здоров, шутил, рассказывал смешные истории.

Герцен и сам был в этот день как-то особенно оживлен, много смеялся, шумно разговаривал, был преисполнен бодрости.

Уходя, Тургенев спросил его:

— Ты бываешь дома по вечерам?

— Всегда, — отвечал Герцен.

— Ну, так завтра вечером я приду к тебе.

Но когда Тургенев явился на следующий день — 15 января, — ему сказали, что Герцен занемог воспалением легких. Он прошел к нему и увидел его в постели в сильнейшем жару. Самые недобрые предчувствия кольнули ему сердце — и не обманули его.

В этот день Тургенев видел Герцена в последний раз, потому что в дальнейшем врач не допускал к тяжелобольному никого, кроме родных.

Через неделю Герцен скончался. Тургенев узнал об этом из газет, уже в Баден-Бадене, куда внезапно должен был уехать 19 января, получив телеграмму.

Под впечатлением этого известия Тургенев писал Анненкову, что он не мог удержаться от слез. «Какие бы ни были разноречия в наших мнениях, какие бы ни происходили между нами столкновения, все-таки старый товарищ, старый друг исчез: редеют наши ряды!..»

Тургеневу иногда представлялось делом самой судьбы его короткое свидание с Герценом после семилетней разлуки, в тот самый день, когда его другу предстояло занемочь предсмертной болезнью.

Перечитывая сочинения Герцена, он всегда говорил потом, что остроумнее и умнее его у нас писателя не было и что в характеристике людей, с которыми он сталкивался, Герцен соперников не знает.

В шестую годовщину со дня смерти великого революционера Тургенев писал М. Е. Салтыкову-Щедрину: «Все эти дни я находился под впечатлением той (рукописной) части «Былого и дум» Герцена, в которой он рассказывает историю своей жены, ее смерть и т. д. Все это написано *слезами, кровью;* это горит и жжет... Так писать он умел один из русских».

Эти строки Тургенева удивительно созвучны тому, что говорит и сам Герцен в письме к М. К. Рейхель от 23 декабря 1857 года: «Да, писать «Записки», как я их пишу, — дело страшное... Сто раз переписывая главу о размолвке, я смотрел на каждое слово, — каждое просочилось сквозь *кровь и слезы».*

ГЛАВА XXVI

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ. «НОВЬ»



Летом 1870 года Тургенев ненадолго приезжал в Россию. Назревала война между Францией и Германией. С каждым днем неизбежность ее становилась очевидней. Это заставило Тургенева ускорить возвращение в Баден-Баден.

Об объявлении войны он узнал, находясь в пути.

Сначала в Баден-Бадене все было тихо, будто ничего не произошло. 18 июня там даже открылся международный шахматный турнир с участием прославленного Андерсена и будущего первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

Тургенев был избран вице-президентом этого турнира. Шахматный мир хорошо знал его не только как писателя, но и как страстного любителя шахмат, постоянного посетителя кафе Режанс в Париже, где бывали известнейшие мастера и где Тургеневу доводилось состязаться с иными из них.

Он был одним из организаторов интересных матчей в этом своеобразном шахматном клубе.

Тишина в Баден-Бадене продолжалась недолго, недели через две она сменилась смятением. Железнодорожное сообщение было прервано. Ожидая вторжения французов из-за Рейна, жители спешили покинуть город.

Тургенев и семейство Виардо решили остаться на некоторое время в Баден-Бадене, хотя Виардо сохраняли французское подданство.

Режим Наполеона III был до такой степени ненавистен им, что на первом этапе войны они решительно желали успехов немцам и радовались каждому поражению Франции, ибо считали, что только в результате военного краха может последовать бесповоротное падение наполеоновской империи. А существование ее они находили несовместимым с развитием свободы в Европе.

Они жили теперь в напряженном ожидании — все у них было упаковано, чтобы в случае необходимости тотчас уехать в каретах в Вильбад.

Вторжение из-за Рейна, однако, не последовало. Инициатива сразу оказалась в руках у немцев. Сосредоточив большие силы, они начали крупные операции и очень быстро добились решительных успехов. Военные действия происходили в такой близости от Баден-Бадена, что отдаленный гул канонады был слышен в самом городе.

В первые два месяца войны в газете «Петербургские ведомости» время от времени печатались корреспонденции Тургенева из Баден-Бадена, в которых он по горячим следам начавшейся кампании освещал ход военных операций. Но позднее, в октябре, писатель прекратил посылки корреспонденций ввиду того, что редакция не согласилась с ним в оценке событий.

В день первого крупного сражения (под Виссамбуром) в Баден-Бадене закончился блестящей победой Андерсена шахматный турнир.

На следующее утро садовник Иоганн явился сказать Тургеневу, что спозаранку доносится гул силь-

ной канонады. Выйдя на крыльцо, Тургенев услышал глухие удары, пальбу и раскаты...

Через час, взяв карету, он ехал по направлению к Рейну, в замок Ибург, расположенный на одной из вершин Шварцвальда, откуда можно было обозреть всю долину Эльзаса до самого Страсбурга.

Канонада затихла, но прямо против вершины, по ту сторону Рейна, из-за темной полосы леса поднимались клубы дыма: это горел эльзасский городок. Артиллерийские залпы доносились все слабее и слабее. Стало ясно, что французы разбиты и отступают.

«Страшно и горестно было видеть в этой тихой, прекрасной равнине, под кротким сиянием полузакрытого солнца, этот безобразный след войны, и нельзя было не проклясть ее и безумно-преступных ее виновников», — писал по возвращении в Баден-Баден Тургенев.

Победы немцев следовали одна за другой, и с каждым разом становилась все яснее степень разложения бонапартистской системы, обессиливавшей Францию в течение почти двух десятилетий.

Однажды в Баден-Бадене зазвонили все колокола — это пришло известие о поражении французов при Розанвиле.

В одной из баденских корреспонденций Тургенев рассказал, как ему довелось услышать из уст рабочего меткое сравнение Франции Наполеона III с самым старым, громадным дубом в Лихтенталевской аллее в Баден-Бадене. Пришел час, и дуб этот однажды ночью свалился. Оказалось, что вся сердцевина дерева сгнила — его держала только кора.

Когда Тургенев поутру пошел посмотреть на него, он увидел около распростертого на земле дерева двух немецких рабочих.

— Вот, — сказал один из них, смеясь, другому, — вот оно, французское государство.

«И действительно, судя по тому, что доходит до нас из Парижа и из Франции, можно подумать, что колосс этот держался одной наружностью и готов завалиться.

Плоды двадцатилетнего царствования сказались наконец», — заключал Тургенев.

Правительство Наполеона III поставило страну в безвыходное положение. Исправить что-либо уже было невозможно, несмотря на отчаянный героизм французских солдат и на бесчисленные жертвы, принесенные народом во имя спасения родины.

С каким беспримерным мужеством и самоотверженностью обороняли жители Страсбурга свой город, осыпаемый днем и ночью сотнями тысяч ядер и гранат, охваченный со всех сторон пламенем пожаров!

В августе 1870 года Тургенев писал из Баден-Бадена своему другу Борисову: «По ночам здесь ясно слышно бомбардирование Страсбурга, который до половины выжжен. Даже лежа в постели, при закрытых окнах, все еще ухо улавливает глухие рокотания и сотрясенья. Поневоле предаешься философско-историческо-социальным размышлениям весьма невеселого свойства. Железный век все еще не прошел — и мы все еще варвары!..»

После капитуляции французской армии во главе с Наполеоном III, осажденной в Седане, с империей было покончено. Отношение Тургенева к этому лучше всего выражено в письме к художнику Людвигу Пичу: «Это уже не события, а удары грома, следующие один за другим... Император и 100 000 французов взяты в плен, — республика! Истинное счастье, что привелось быть свидетелем тому, как низвергнулся в клоаку этот жалкий негодяй со своей кликой».

Но теперь торжество пруссачества, принимавшее все более вызывающий характер, пробудило тревогу в душе Тургенева. «Завоевательная алчность, овладевшая всей Германией, не представляет особенно утешительного зрелища», — писал он.

Насилия, чинимые прусскими милитаристами над побежденной страной, унижавшие ее национальное достоинство, вызывали протест со стороны русского писателя-гуманиста, который искренне любил и уважал французский народ, признавал его великую и славную роль в прошедшем и не сомневался в его будущем значении.

Заспорив однажды на эту тему с поэтом Алексеем Толстым, Тургенев очень сочувственно говорил о том могучем общественном движении, которое «толкало Францию на путь демократизации».

Испытания, выпавшие на долю французского народа после поражения, вызывали теперь все большее сочувствие у Тургенева, желавшего, чтобы сила сопротивления милитаризму росла и укреплялась.

Война лишила Полину Виардо возможности продолжать педагогическую работу в Баден-Бадене. Большое семейство ее оказалось в весьма затруднительном положении: по словам Тургенева, оно было даже чуть ли не на грани разорения.

Глубокой осенью 1870 года Виардо переехали в Лондон. Туда же последовал с ними и Тургенев. Теперь он думал о том, что надо вместе «спуститься с горы»... Двадцатисемилетнее прошлое казалось ему драгоценным кладом, который он должен сохранить до конца...

Оставаться в Англии на длительное время не входило в планы семейства Виардо. Лондон был для них временным прибежищем, в котором они пережидали окончания войны, чтобы потом поселиться, наконец, снова в Париже.

Живя в Англии, Тургенев исподволь начал работу над большой повестью «Вешние воды» и писал ее медленно, с большими паузами.

В феврале 1871 года, как и в предыдущем году, он отправился на родину. Каждая такая поездка придавала новую силу его творческой мысли.

В этот свой приезд в Россию Тургенев встречался в Петербурге и в Москве со многими молодыми деятелями русского искусства, такими, как скульптор Антокольский, композитор Балакирев, художники Маковский, Ге, Репин. Он бывал на концертах Рубинштейна, Чайковского.

Посетив на другой день после своего приезда в Петербург мастерскую Антокольского, Тургенев написал о нем статью в газете «Петербургские ведо-

мости», особо остановившись на законченной незадолго до этого Антокольским статуе Ивана Грозного, которая произвела на Ивана Сергеевича огромное впечатление.

Писатель считал эту полную драматизма и страстности скульптуру новым и замечательным явлением в русском искусстве.

Описывая впечатление, которое осталось у него от фигуры Ивана Грозного, Тургенев говорит, что «в каждой черте типически верного, изможденного и все-таки величавого лица... читаешь все ощущения, все чувства, мысли, которые смутно, и сильно, и горестно задвигались в этой усталой душе. Тут и страх смерти, и раздражение больного человека, избалованного беззаветной властью, и раскаяние, и сознание греха, и застарелая злоба, и желчь, и подозрительность, и жестокость, и вечное искание измены... Впечатление так глубоко, что отделаться от него невозможно; невозможно представить себе Грозного иначе, чем каким его подстерегла фантазия Антокольского...»

Вспоминая впоследствии об этом неожиданном посещении его мастерской Тургеневым, Антокольский писал, что он тотчас же узнал Ивана Сергеевича по фотографической карточке, хранившейся у него в альбоме.

Величественная фигура Тургенева, его мягкое лицо, добрый взгляд и густая серебристая шевелюра напомнили скульптору изваяние дремлющего льва...

И в Петербурге и в Москве Тургенев выступил на литературных утренниках с чтением рассказов из «Записок охотника». В петербургском клубе художников утренник с его участием был устроен в пользу гарибальдийцев. Иван Сергеевич читал на нем свой рассказ «Бурмистр».

Чтение этого рассказа он повторил затем и в Москве.

В то время как Тургенев находился в России, произошло событие всемирно-исторического значения: восставший парижский пролетариат создал революционное правительство рабочего класса, получившее

название Парижской коммуны, которое просуществовало с 18 марта по 28 мая 1871 года.

Вполне вероятно, что именно желание получать подробные и точные сведения о происшедшем перевороте и дальнейшем ходе событий заставило Тургенева и на этот раз ускорить отъезд за границу.

Во Франции оставалась дочь Тургенева. Кроме нее, в Париже у него были друзья, близкие знакомые; семья его дальнего родственника, известного декабриста-эмигранта Н. И. Тургенева, с которой у Ивана Сергеевича давно уже установились тесные дружеские отношения, также жила под Парижем. Судьба всех этих лиц волновала Тургенева, а события в любую минуту могли принять самый неожиданный оборот.

22 марта (2 апреля) Иван Сергеевич выехал в Лондон, где с удвоенной энергией продолжил работу над «Вешними водами».

В двадцать восьмой главе этой повести есть одно неожиданное и смелое сравнение, несомненно навеянное мыслями о тогдашних событиях во Франции: «Первая любовь — та же революция: однообразно правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье. Молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, — и что бы там впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь — всему она шлет свой восторженный привет!»

«Вешние воды» были окончательно доработаны и переписывались Тургеневым набело уже в Париже, куда он переехал вместе с семейством Виардо в конце 1871 года.

В январе следующего года повесть появилась на страницах «Вестника Европы», и успех ее у читателей был так велик, что издатель Стасюлевич известил в конце месяца Тургенева о том, что первый номер журнала пришлось печатать вторым изданием.

Однако сам автор не чувствовал полного удовлетворения от этого произведения — ведь в нем, по его словам, не было «никакого ни социального, ни политического, ни современного намека».

«Ты все хочешь, чтобы я обратил внимание (в моих произведениях) на современность, — писал Тургенев поэту Полонскому в 1872 году, — во-первых, живя за границей, это трудно, а, во-вторых, я кое-что задумал в этом роде».

Еще ранее повести «Вешние воды» воображение Тургенева занял замысел романа «Новь», первый краткий конспект которого он набросал сразу же после поездки в Россию в 1870 году, где в то время начинался новый подъем демократического движения народнической интеллигенции.

Тема и фабула романа вынашивались на протяжении нескольких лет. Читатели и друзья нетерпеливо ждали от него большого полотна, социально-значимого, в котором ставились бы жизненно важные вопросы.

«Я и сам понимаю и чувствую, что мне следует произвести нечто более крупное и современное», — писал Тургенев С. К. Брюлловой вскоре после появления рассказа «Конец Чертопханова», в котором он вернулся к тематике «Записок охотника». И добавлял: «У меня готов сюжет и план романа — ибо я вовсе не думаю, что в нашу эпоху перевелись типы и описывать нечего — но из двенадцати лиц, составляющих мой персонал, два лица не довольно изучены на месте — не взяты живьем, а сочинять в известном смысле я не хочу...»

Какой же важный современный вопрос решил поставить писатель в своем новом произведении? Он намеревался отразить в романе так называемое «хождение в народ», начавшееся еще в шестидесятых годах, но особенно усилившееся в 1873—1874 годах.

Это движение, глубоко захватившее передовых представителей русской интеллигенции, главным образом разночинной, приняло очень широкий размах. Молодые революционеры шли в народ, веря, что крестьянство сразу же отзовется на пропаганду социалистических идей и поднимется на борьбу с самодержавием и помещиками.

Они были движимы благородным порывом принести пользу народу, понять его нужды и запросы,

разделить с ним все его тяготы. Их мучила мысль, что блага цивилизации покупаются ценою народных страданий, и они, не задумываясь, отрекались от этих благ, ломали привычный уклад своей жизни, расставались с семьями, оставляли учебные заведения, сознательно обрекали себя не только на всевозможные лишения, но и на тюрьмы и ссылку.

Трагедия этих людей заключалась в том, что они ошибочно видели в крестьянстве главную и единственную революционную силу, считая, что Россия через общину придет к социализму. Исторические условия обрекли это движение на неудачу.

Об этом новом этапе русской общественной жизни и хотел рассказать в своем последнем романе Тургенев.

Лишь изредка приезжая в Россию, он не мог глубоко и всесторонне изучить особенности описываемых явлений, среду революционеров, их типы и характеры. Но все же Тургенев надеялся, что благодаря близкому общению и дружбе с народниками-эмигрантами он сумеет получить довольно полное представление о самом движении, о его деятелях и правдиво отобразить это общественное явление.

Париж в ту пору снова стал прибежищем для эмигрантов. Тургенев возобновил здесь знакомство с видным идеологом революционного народничества П. Л. Лавровым, с которым встречался еще в конце пятидесятых годов в Петербурге. Через него он сблизился с Германом Лопатиным, П. А. Кропоткиным и другими тогдашними революционными деятелями, скрывавшимися за границей от преследований царского правительства.

Общаясь с ними, Тургенев успел полюбить некоторых из них. Особенным расположением его пользовался Герман Лопатин, необыкновенно смелый, энергичный и решительный человек, обладавший несгибаемой волей.

«Умница и молодец», «несокрушимый юноша», «светлая голова», — называл его Тургенев. Он проникся глубоким уважением к этому юному другу

Маркса, успевшему пройти трудный и опасный путь революционера-подпольщика, и говорил, что перед такими людьми он, старик, шапку снимает, ибо чувствует в них действительное присутствие силы, таланта и ума.

Эмигранты знакомили его с революционной литературой, сообщали много интересных фактов, которые могли служить ему материалом при создании романа «Новь».

Писатель с большим интересом расспрашивал Лаврова о жизни русской студенческой колонии в Цюрихе, о ее содействии изданию журнала «Вперед!», он хотел знать все подробности ее быта, ее внутренней жизни. «Я видел, — пишет Лавров, — как он был взволнован рассказом о группе молодых девушек, живших отшельницами и самоотверженно отдававших свое время, свой труд, свои небольшие средства на дело, в котором они участвовали только как наборщицы. Ни он, ни я, мы не знали тогда, что говорили о будущих героинях «процесса 50-ти», которые впишут навсегда свои имена в историю русского революционного движения».

Тургенев охотно оказывал всяческую помощь эмигрантам, содействовал устройству их литературных произведений в различные журналы и газеты, снабжал деньгами, хлопотал за них перед французскими властями, организовывал литературно-музыкальные утренники для сбора средств. На одном из таких утренников, происходившем в доме Виардо, артистка выступила сама с пением романсов Чайковского на слова Фета. Лопатин, бывший на этом утреннике, вспоминал, что Полина Виардо, которой было уже за пятьдесят лет, исполнила романсы с сильным, страстным чувством.

Тургенев прочитал рассказ Глеба Успенского «Ходоки». Он много раз репетировал чтение в присутствии самого автора (жившего в то время в Париже), стремясь как можно живее и ярче передать интонации диалога в рассказе. «Я из сил выбился слушать его, но зато вышло отлично», — писал Н. К. Михайловскому Г. Успенский.

При участии Ивана Сергеевича была создана в Париже библиотека для русских эмигрантов.

— Я хотел, чтобы у них было место, где бы они могли проводить несколько часов в теплой комнате и где бы они могли собираться, чтобы не быть совершенно потерянными в большом городе, — говорил он.

Когда Лавров познакомил Ивана Сергеевича с планом издания журнала «Вперед!», тот выразил готовность вносить ежегодно пятьсот франков на расходы по изданию.

— Это бьет по правительству, — заметил он, — и я готов помочь всем, чем могу.

Репрессии русских властей против революционной молодежи, к которой Тургенев относился с живым сочувствием. ценя ее готовность к самопожертвованию, вызывали негодование у писателя.

«Иван Сергеевич, — вспоминает Лавров, — рассказывал о положении дел в России, об отсутствии всякой надежды на правительство, растущей реакции, о бессилии и трусости его либеральных друзей. Он не высказывал надежды на то, чтобы наша попытка расшевелить русское общество удалась; напротив, тогда как и после, он считал невозможным для нас сблизиться с народом, внести в него пропаганду социалистических идей. Но во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и сочувствие всякой попытке бороться против него».

Здесь Лавровым отмечены настроения писателя в пору создания «Нови». Подготовительный процесс работы над нею — живые наблюдения, накапливание и отбор материала, составление подробных характеристик героев, конспекты глав и отдельных сцен — продолжался очень долго. Вот почему Тургенев говорил, что «Новь» далась ему особенно трудно. Зато само написание романа прошло в удивительно короткий срок. Весной 1876 года Тургенев вплотную приступил к работе над «Новью» и в течение трех месяцев успел довести ее до конца. А ведь это был самый большой по размерам роман Тургенева. Правда, он писал «Новь», уже не отрываясь ни для каких других дел, работал «как вол», «не разгибая спины»

с утра до ночи. Три четверти романа были написаны в Спасском, которое писатель шутливо назвал в одном письме своим «лукоморьем».

Тургенев возлагал большие надежды на этот роман, считая, что «Новь» будет последним крупным его произведением, в которое он вложит всю душу. «Мне остается сказать еще раз: подождите моего романа, — обращался он к Салтыкову-Щедрину в январе 1876 года, — а пока не серчайте на меня, что я, чтобы не отвыкнуть от пера, пишу легкие и незначительные вещи... Кто знает, мне, быть может, еще суждено зажечь сердца людей...»

В это время у Тургенева установились близкие отношения с гениальным сатириком. Если в молодые годы Иван Сергеевич не сумел достойным образом оценить его творчество, то теперь он заявлял безоговорочно, что Щедрин в области сатиры не имеет себе равных.

В 1871 году Тургенев поместил в английском журнале статью об «Истории одного города». В ней он дал очень высокую характеристику творчества Щедрина, назвав его книгу замечательным явлением не только в русской, но и в мировой литературе. Самому автору Тургенев писал в 1873 году: «Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек».

Беседуя однажды с публицистом-народником С. Н. Кривенко о Щедрине, Иван Сергеевич сказал:

— Знаете, мне иногда кажется, что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он.

Этими словами Тургенев подчеркивал большое общественно-политическое значение художественных и публицистических произведений Щедрина, остро бичующих самодержавие.

Внимательное изучение Тургеневым творческих приемов Салтыкова-Щедрина чувствовалось еще в период создания «Дыма». А в «Нови» влияние щедринской сатиры сказалось с еще большей силой. Оно

особенно заметно в яркой обрисовке «светил» петербургского чиновничьего мира — камергера Сипягина и камер-юнкера Калломейцева.

Эти фигуры олицетворяют в романе ненавистную Тургеневу правящую верхушку, которая довела страну до нищеты и разорения.

— Пол-России с голоду помирает... везде шпионство, притеснения, доносы, ложь и фальшь — шагу ступить некуда!.. — гневно восклицает Нежданов в разговоре с товарищами по революционному кружку.

По странной случайности Нежданов попадает в качестве учителя как раз в семью Сипягина, этого «свободомыслящего» государственного мужа и «джентльмена», будущего министра. Либеральничающий Сипягин, по сути дела, — достойный партнер ярого реакционера Калломейцева — поклонника кнута и крутых мер, ненавистника народа и демократически настроенной интеллигенции.

Нежданов — натура очень сложная, трагическая и противоречивая. Поставленный с детства в ложное положение как незаконнорожденный сын важного сановника, он становится болезненно самолюбивым, нервным и неустойчивым юношей.

Втайне любя поэзию, он занимался одними политическими и социальными вопросами, состоял в революционном кружке и готовился «пойти в народ».

В доме Сипягина Нежданов встретил его племянницу, Марианну, и сразу угадал в ней родственную душу; она страдала, она чувствовала себя одинокой в этой пошлой и лицемерной среде. Ее считали здесь нигилисткой и безбожницей. Марианна «рвалась на волю всеми силами неподатливой души».

Нежданов и Марианна подружились, полюбили друг друга. Эта мужественная и в то же время нежная, чистая и смелая девушка стала для Нежданова моральной опорой, «воплощением родины, счастья, борьбы, свободы».

— Ты будешь моей путеводной звездой, моей поддержкой, моим мужеством, — говорил он Марианне, видя в ней верного товарища.

Марианна проникается его идеями и хочет идти с ним рука об руку к общей цели.

— Наша жизнь не пропадет даром, мы пойдем в народ... мы будем работать, — говорит она.

Но когда наступает решительная минута, когда надо действовать, Нежданова охватывает сомнение. Он глубоко любит народ, но чувствует, что не сумеет слиться с ним, потому что не знает его. В душе Нежданова все «разрушается»: и вера в начатое дело и в возможность счастья с Марианной. Он гибнет...

Этому честному юноше, чем-то напоминавшему прежних героев Тургенева — «лишних людей», — противостоит в романе человек совершенно иного склада. Соломин — выходец из народа, демократ, он сочувствует революционерам, но твердо убежден, что преобразование общественного строя не должно совершаться насильственно, что единственно верный путь — это путь постепенных реформ. Его политические взгляды во многом совпадают со взглядами самого Тургенева, с тою разницей, что Соломин — постепеновец снизу.

Соломин представлялся Тургеневу положительным типом, то есть таким деятелем, какой нужен был, по его мнению, в данное время России. Соломин по характеристике автора «так же спокойно делает свое дело, как мужик пашет и сеет».

Еще за два года до написания романа «Новь» Тургенев в одном из писем к Философовой очерчивает новый тип положительного, по его представлению, героя современности, ничем не напоминающего Базарова.

«Времена переменились, теперь Базаровы не нужны. Для предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума — ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального, нужно трудолюбие, терпение, нужно уметь жертвовать собой без всякого блеску и треску, нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной, даже низменной работы — я беру слово: «низменно» в смысле простоты, бесхитростности, «terre

à terre'a» *. Что может быть, например, «низменнее» учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д. На что тут таланты и даже ученость? Нужно одно сердце, способное жертвовать своим эгоизмом... Чувство долга, славное чувство патриотизма в истинном смысле этого слова — вот все, что нужно».

В этих словах Тургенева была заключена вся программа действий главного героя романа «Новь» — Соломина. Его целеустремленность, воля и уверенность в том, что он делает нужное дело, покоряют Марианну, и она соединяет с ним свою судьбу.

Осенью 1876 года Тургенев переписал роман набело и отправил в редакцию «Вестника Европы», в котором «Новь» и появилась на следующий год в январском и февральском номерах.

При печатании второй части романа возникли серьезные цензурные затруднения. Цензор писал в рапорте, что он не может «отрешиться от мысли, что разрушительные начала движения в народ не изглаживаются самоубийством Нежданова и карою, поразившею Маркелова, — эти начала коренятся в упорстве Соломина, устроившего на артельных началах завод в Перми, в неограниченной преданности этому делу Марианны... Даже после появления в свет начала романа едва ли можно допустить в печать его окончание, так как в нем указывается только на раннее, несвоевременное движение в народ, а не на отсутствие горючих материалов».

В одном из писем Тургенева прямо говорится: «Особенно тяжело было то, что при писании романа приходилось о многом умалчивать и многое обходить; и в теперешнем своем виде «Новь» едва не погибла в огне цензурного комитета... Я не был свободен в своей работе, и это единственное, что в корне подрывает радость творчества».

* Будничности.

Но, разумеется, не одни цензурные рогатки были причиной того, что Тургенев не сумел дать полную картину народнического движения, а показал лишь «угол картины». Тут сыграли главную роль другие факторы — оторванность Тургенева от родины, а также узость его политических взглядов, помешавшая ему правильно оценить народничество и понять перспективы дальнейшего развития революционного движения в России.

Корректурные листы романа Тургенев посылал Лаврову, Лопатину и Кропоткину, желая знать их мнение и прося их указаний относительно некоторых деталей. Когда Лавров прочитал в Лондоне «Новь» Кропоткину и другим членам прежней наборни «Вперед!», она очень понравилась им, хотя Кропоткин отметил известную ограниченность знания Тургеневым народнического движения. Тем не менее он считал, что в романе Тургенев с присущим ему удивительным чутьем подметил «две характерные черты самой ранней фазы этого движения, а именно: непонимание агитаторами крестьянства... и, с другой стороны, их гамлетизм, отсутствие решительности...».

Менее удовлетворило это произведение Лопатина, полагавшего, что среда революционеров не была достаточно хорошо изучена писателем. Лавров в своей статье о Тургеневе подчеркнул, что огромное значение этого романа заключалось в том, что «перед целой литературой грязных ругателей молодежи он выставил ее, эту революционную молодежь, как единственную представительницу высокого нравственного начала».

И сам писатель, объясняя задачу, поставленную в романе, говорит: «Во всяком случае, молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне — если не к их целям — то к их личностям».

Как и предвидел Тургенев, вокруг его романа закипела битва. На него посыпались упреки как из реакционного лагеря, недовольного осмеянием высшего чиновничьего круга, так и со стороны демократи-

ческой критики, считавшей, что в романе обеднен облик революционной молодежи.

Писателя смущали, конечно, не отзывы реакционеров, их мнением он мог спокойно пренебречь, — его огорчали отзывы тех, кому он сочувствовал. «Нет, нельзя пытаться вытащить самую суть России наружу, живя почти постоянно вдали от нее», — писал он Стасюлевичу в 1877 году.

Однако в дальнейшем демократическая критика дала иное, более трезвое и справедливое истолкование образов романа, имевшего немалое значение в истории развития русского общества.

Интересно в этом плане свидетельство профессионального революционера, большевика-подпольщика С. И. Мицкевича, который писал в своих воспоминаниях об огромном впечатлении, произведенном на него «Новью».

По словам Мицкевича, роман Тургенева помог ему понять, что «революционеры — это и есть лучшие люди, которые хотят просветить крестьян и рабочих и поднять их на революцию против их угнетателей».

О необходимости пересмотреть установившуюся с самого начала оценку «Нови» как произведения неправдивого писал А. В. Луначарский. Героиню «Нови» Марианну он назвал «самой светлой звездой на всем небосклоне русской литературы», считал «Новь» высокохудожественным, захватывающим романом и горячо рекомендовал его советской молодежи, напомнив, что Тургенев первый описал жизнь революционеров семидесятых годов.

ГЛАВА XXVII

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ С ФРАНЦУЗСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ



За время своей жизни за границей Тургенев нередко встречался со многими представителями главнейших европейских литератур.

Но наиболее тесные творческие и дружеские связи возникли у него с французскими писателями-реалистами — Гюставом Флобером, Эдмондом Гонкуром, Альфонсом Доде, Эмилем Золя и Ги де Мопассаном, составившими тесное литературное содружество.

Особенно часто бывал в их кругу Тургенев в семидесятые годы, когда переехал из Баден-Бадена в Париж.

Еще до сближения с этой группой писателей Тургенев познакомился в 1857 году с Проспером Мериме, который, как мы помним, во время Крымской войны с большим сочувствием встретил выход во Франции отдельного издания «Записок охотника». С тех пор

Мериме не переставал внимательно следить за развитием таланта Тургенева.

Внутренний мир французского писателя не сразу раскрылся Ивану Сергеевичу. Сначала Мериме показался ему чрезмерно сдержанным, замкнутым и сухим человеком. И лишь со временем он понял, что у Мериме под наружным равнодушием кроется «самое любящее сердце».

Особенно дорого было Тургеневу то, что Мериме проявлял большой интерес к русскому народу, к его истории, к быту, искренне любил русскую литературу и русский язык. По словам Тургенева, Мериме «положительно благоговел перед Пушкиным и глубоко и верно понимал и ценил красоты его поэзии». В одной из своих статей он поставил Пушкина на первое место во всей европейской поэзии XIX века.

Именно любовь к Пушкину и заставила Мериме изучить русский язык, необычайное богатство которого поразило его.

Проспер Мериме явился одним из первых переводчиков произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя во Франции, и в ряде случаев работа над этими переводами была осуществлена им в сотрудничестве с Тургеневым.

В нем Мериме проницательно увидел продолжателя пушкинских и гоголевских традиций. Он считал его крупнейшим современным прозаиком и настойчиво рекомендовал своим друзьям знакомиться с его произведениями. Перу его принадлежат переводы некоторых повестей и рассказов Тургенева.

Прочитав по-русски роман «Отцы и дети», Мериме взялся редактировать французский перевод романа и написал к нему предисловие, где отметил, что это произведение вызвало бурю и на родине автора. Шум, поднятый вокруг романа, противоречивые отзывы критики, «неистовство публики» — все это Мериме расценивал как своеобразный успех романа. «Не было недостатка ни в пристрастной критике, ни в клевете, ни в брани печати, не хватало, быть может, только церковного отлучения, — с иронией отмечал он в предисловии. — В России, как и везде, нельзя

безнаказанно высказывать правду тем, кто о ней не спрашивает».

Живя в Баден-Бадене, Тургенев постоянно переписывался с Мериме. Они делились в письмах своими творческими замыслами и планами и проявляли активный интерес к работе друг друга.

Когда «Дым» был напечатан в «Русском вестнике», Тургенев послал Мериме журнальный оттиск этого романа. В ответном письме Проспер Мериме дал подробный отзыв об этом произведении, отнеся его к числу лучших созданий Тургенева. Однако он не ограничился одними похвалами и сделал несколько существенных критических замечаний. Так, например, сцена у Губарева в начале романа показалась ему лишней, отвлекающей внимание читателей от естественного развития сюжета. «Заметьте, — писал он Тургеневу, — что в роман, как в лабиринт, хорошо войти с нитью в руке, а вы начинаете с того, что даете мне целый клубок, в достаточной мере запутанный».

В следующем году Мериме выступил в газете «Монитер» со второй статьей о Тургеневе. Он писал, что имя русского романиста стало настолько популярным во Франции, что каждое его новое произведение ожидается там с таким же нетерпением, как и в России.

Характеризуя творческую манеру Тургенева, уже признанного тогда во Франции одним из вождей реалистической школы, Мериме подчеркнул беспристрастие, свойственное русскому писателю, который «не объявляет себя судьею современного общества, а рисует его таким, каким видел его».

Мериме говорит об острой наблюдательности Тургенева, о его большом искусстве психологического анализа и необыкновенной поэтичности описаний природы.

В последних числах сентября 1870 года Тургенев получил от Мериме из Франции короткое письмо, в котором тот благодарил Ивана Сергеевича за присылку оттиска «Казни Тропмана» и высказывал свое суждение об этом очерке.

Письмо было написано Проспером Мериме за три часа до смерти. Прочитав через несколько дней в бельгийской газете известие о его кончине, Тургенев тотчас же послал в редакцию «Петербургских ведомостей» некролог, в котором дал общую оценку деятельности французского писателя, отметив его обширные и разнообразные знания, его всегдашнее стремление быть правдивым в искусстве, точность и простоту его стиля.

Спустя десять лет Тургенев в своей речи на открытии памятника Пушкину в Москве в 1880 году вспомнил о неизменной любви Мериме к великому русскому поэту и привел слова французского писателя, сказанные ему, Тургеневу, однажды:

«Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу».

Из французских писателей старшего поколения близко знакома с Тургеневым была и Жорж Санд. Впервые он встретился с нею в пору молодости: их познакомил Михаил Бакунин в сороковых годах, когда имя Тургенева во Франции никому еще не было известно.

В дальнейшем они не виделись по крайней мере лет двадцать.

За это время Тургенев завоевал европейскую славу. Некоторые его повести и рассказы, переведенные на французский язык, стали известны Жорж Санд, и она в конце 1868 года писала о Тургеневе своему близкому другу Флоберу: «Я его очень мало знаю, но знаю наизусть. Какой талант и как это оригинально и сочно!»

Французскую писательницу, как и Проспера Мериме, покорила простота, правдивость и глубина содержания произведений Тургенева. Сопоставляя их с произведениями своих соотечественников, она заме-

чает: «Я нахожу, что иностранцы пишут лучше нас. Они не позируют, а мы драпируемся или бесцеремонно распоясываемся. У французов нет более общественной среды и нет более интеллектуальной среды».

Весною следующего года Жорж Санд писала Флоберу, что ей хотелось бы возобновить знакомство с Тургеневым, рассказы которого восхищают ее. Она просила Флобера, как только он закончит работу над романом «Воспитание чувств», привезти Тургенева в ее усадьбу Ноган.

Однако впервые Иван Сергеевич приехал в Ноган лишь осенью 1872 года и не в обществе Флобера, а с Полиной Виардо и двумя ее взрослыми дочерьми Марианной и Клоди. Полину Виардо связывала с Жорж Санд тридцатилетняя дружба.

Гостеприимный дом в Ногане всегда был полон молодежи, время здесь проходило незаметно и весело, в разнообразных развлечениях — музыка, пение, танцы, спектакли оригинального кукольного театра, созданного сыном Санд.

Отправиться в это путешествие Тургеневу было очень трудно — его мучили тогда сильнейшие приступы подагры, из-за которых приходилось иногда даже прибегать к костылям.

«Я сделал, как говорят французы, «des efforts surhumains» *, — писал Тургенев в одном из писем, — и поехал в замок мадам Жорж Санд, но мог пробыть там только один день, время достаточное, чтобы оценить радушие, приветливость и доброе расположение этой замечательной женщины... Она живет в старом французском доме, в лесистой местности, вместе с сыном, невесткой и двумя очаровательными внучками; все так покойно, просто и естественно вокруг нее...»

Вскоре после этого свидания в газете «Тан» появился жанровый очерк Жорж Санд «Пьер Бонен»; очерку было предпослано обращение писательницы к Тургеневу:

«Найдя в своих ящиках этот слабый набросок портрета с никому неведомого человека. умершего

---

* Нечеловеческие усилия.

много лет назад, я спросила себя, достоин ли он того, чтобы появиться в свет? Я была под обаянием той обширной галереи портретов с натуры, которую Вы напечатали под заглавием «Воспоминания русского барина». Какая мастерская живопись! Как их всех видишь, и слышишь, и знаешь, всех этих северных крестьян, еще крепостных в то время, когда Вы их описывали, и всех этих деревенских помещиков, минутная встреча с которыми, несколько сказанных слов были достаточны, чтобы нарисовать образ, животрепещущий и яркий. Никто не мог бы делать это лучше Вас...»

Растроганный Тургенев отвечал ей: «Вы легко можете себе представить, что я перечувствовал, читая вчерашний «Тан».

Ознакомившись с переводом рассказа Тургенева «Живые мощи», Жорж Санд назвала автора мастером, у которого должны учиться современные писатели.

Впоследствии Тургенев еще несколько раз приезжал в Ноган к Жорж Санд и с Полиной Виардо и с Флобером.

Весною 1876 года он получил по почте томик ее сказок «Говорящий дуб», и тут ему вспомнилось, как в первый свой приезд в Ноган он целый вечер рассказывал сказки маленьким внучкам Жорж Санд.

Прошло два месяца, и по дороге в Спасское Тургенев прочитал в газете «Новое время» известие о смерти французской писательницы. А потом пришло письмо от Полины Виардо, из которого он узнал, что когда хоронили Жорж Санд, один из крестьян сказал, кладя венок на могилу:

— Это от имени крестьян Ногана, не от имени бедных, по *ее* милости здесь бедных не было.

«А ведь сама Жорж Санд, — добавляла Полина Виардо, — совсем не была богата и едва сводила концы с концами, трудясь до последнего дня».

В небольшой статье, посвященной памяти Жорж Санд, Тургенев напомнил о том восторженном удивлении, которое вызвали ее первые романы в России.

В эти дни он писал Флоберу: «Смерть госпожи Санд причинила мне большое горе. Я знаю, что Вы были в Ногане на похоронах, я хотел дать телеграмму от русской публики с выражением сожаления, но воздержался из-за смешной скромности, из-за боязни «Фигаро», рекламы — всяческих глупостей, наконец!

Русская публика была одна из тех, на которую госпожа Санд имела наибольшее влияние, и это надо было сказать. Бедная, дорогая госпожа Санд, она нас обоих любила, Вас в особенности, это понятно; какое у нее было золотое сердце! Полное отсутствие мелких, ничтожных, фальшивых чувств! Какой прекрасный человек и какая добрая женщина!»

«Вы правы, что горюете о нашем друге, — отвечал ему Флобер, — она очень Вас любила и называла не иначе, как «милый Тургенев»!».

Относясь с глубокой симпатией к Санд, как к человеку и писательнице, ценя и уважая Проспера Мериме, Тургенев испытывал совершенно особенное чувство к Гюставу Флоберу. Он относил его к числу немногих бесконечно дорогих ему людей.

Флобер отвечал ему тем же, говоря, что не знает другого человека, с которым он так охотно мог бы делиться своими сокровенными мыслями.

Они познакомились в начале 1863 года и сразу почувствовали взаимное расположение. Тургенев, считавший «Госпожу Бовари» «самым замечательным произведением новейшей французской школы», послал тогда же Флоберу книгу своих избранных повестей и рассказов, изданных на французском языке под названием «Картины из русской жизни».

Некоторые произведения Тургенева были, по-видимому, хорошо известны Флоберу и до личного знакомства с ним. В своем первом письме к нему он писал:

«Дорогой господин Тургенев! Как я Вам признателен за Ваш подарок... Давно уже Вы являетесь для меня мэтром. Но чем больше я Вас изучаю, тем более изумляет меня Ваш талант. Меня восхищает страстность и в то же время сдержанность Вашей манеры

письма, симпатия, с какой Вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает мыслью пейзаж... Точно так же, как чтение «Дон Кихота» вызывает у меня желание ехать верхом на коне по белой от пыли дороге и есть в тени утеса оливки и сырой лук, так, читая Ваши «Картины из русской жизни», мне хочется трястись в телеге по снежным просторам и слушать волчий вой. От Ваших произведений исходит терпкий и нежный аромат, чарующая грусть, которая проникает до глубины души. Каким Вы обладаете искусством! Какое сочетание умиления, иронии, наблюдательности и красок! И как все это согласовано! Как Вы умеете вызывать все эти впечатления! Какая уверенная рука!

Оставаясь самобытным, Вы не выходите из рамок обычного. Сколько я нашел в Вас перечувствованного, пережитого мною!.. В «Трех встречах», в «Якове Пасынкове», в «Дневнике лишнего человека»... всюду... Я был очень счастлив познакомиться с Вами две недели тому назад и пожать Вам руку».

Между ними завязалась переписка. Они стали встречаться, но в шестидесятые годы они и писали друг другу и встречались не так часто, как в семидесятые, когда Тургенев переселился снова в Париж.

Иван Сергеевич не раз гостил у Флобера в его усадьбе Круассе под Руаном и, в свою очередь, настойчиво звал его провести вместе лето в Спасском. Но «неистового» в работе Флобера невозможно было оторвать от письменного стола. Он даже и на путешествие в Ноган к Жорж Санд соглашался с большим трудом, хотя искренне скучал без ее общества.

«Почему нельзя жить вместе?

Почему так плохо устроена жизнь! — писал Флобер Ж. Санд весной 1873 года после возвращения из Ногана вместе с Тургеневым. — Оба Ваших друга... философствовали на эту тему по дороге из Ногана в Готору, приятно покачиваясь в Вашей карете, запряженной парой быстро мчавшихся добрых коней».

В их взглядах на литературу и искусство было немало общего. Они внимательно прислушивались к критическим суждениям и советам друг друга, счи-

тая, что никто лучше собрата по перу не разберется в плане, в композиции, в стиле, в деталях произведения, что одобрение настоящего художника есть лучшая награда за труд.

«Какой слушатель! И какой критик! Он ослепил меня глубиной и ясностью своих суждений... Ничто от него не ускользает», — так передавал Флобер свое впечатление от разговора с Тургеневым по поводу драмы «Искушение святого Антония».

Флобер восторженно отзывался о «Вешних водах», о «Несчастной», о «Первой любви», о «Накануне» и других произведениях Тургенева: «Вы хорошо знаете жизнь, мой друг, и умеете рассказать то, что знаете, а это более редкий случай. Я хотел бы быть учителем словесности, чтобы разъяснять Ваши книги...»

В ответ на один из таких отзывов Тургенев писал: «Я чувствую, что мастер стоял перед моей картиной, смотрел на нее и одобрительно кивнул головой...»

В Круассе, где Флобер жил постоянно, Тургенев приехал в первый раз в ноябре 1868 года, когда тот работал над романом «Воспитание чувств». Он пробыл там недолго — всего лишь день. Желая услышать мнение знатока, посвященного в тайны писательского мастерства, Флобер познакомил своего гостя с отдельными главами «Воспитания чувств». Они произвели на Тургенева большое впечатление.

Уезжая, он просил Флобера прислать ему и другие главы романа. Просьбу его Флобер исполнил, и 24 ноября Тургенев писал своему другу: «Если весь Ваш роман так же сильно написан, как те отрывки, которые Вы мне прислали, то Вы создали шедевр!»

Флобера и Тургенева сближали не только общность литературных вкусов, любовь к искусству и широкая эрудиция, но отчасти и сходство характеров.

Они любили бывать вместе, и им казалось, что они никогда не наговорятся вдоволь. Постепенно обоюдная симпатия перешла в неразрывную интимную дружбу.

После франко-прусской войны 1870 года вокруг Флобера объединились наиболее талантливые молодые французские писатели, «внуки Бальзака» —

Эмиль Золя, Альфонс Доде и Ги де Мопассан. Через Флобера Тургенев познакомился с ними и примкнул к «кружку пяти». Входившие в этот кружок писатели время от времени встречались на артистических обедах, носивших название то «обедов Флобера», то «обедов освистанных авторов», то есть писателей, подвергавшихся когда-либо резким нападкам со стороны критики или публики.

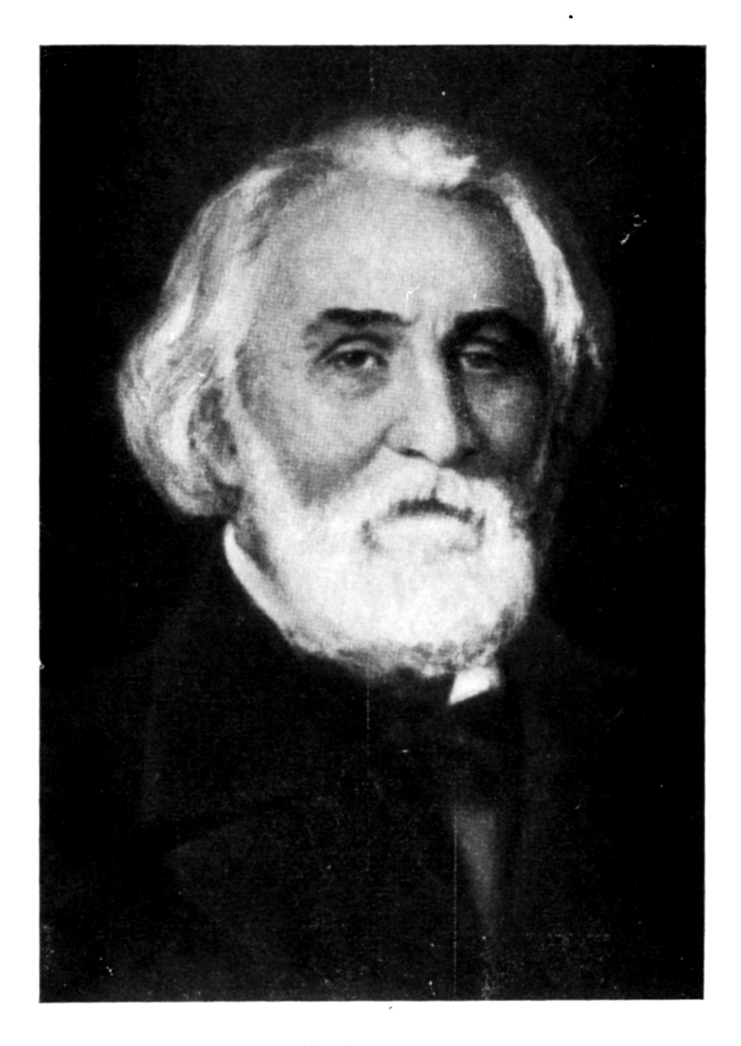
Альфонс Доде в своей книге «Тридцать лет парижской жизни» так рисует обстановку этих дружеских встреч: «Мы садились за обед в семь часов вечера, а в два ночи еще не вставали с мест. Мы отсылали лакеев (напрасная предосторожность, так как могучий голос Флобера разносился по всему дому) и принимались говорить о литературе. У кого-нибудь из нас всегда была только что вышедшая книга, то «Искушение святого Антония» и «Три повести» Флобера, то «Девица Элиза» Эдмонда Гонкура, то «Аббат Мурэ» Золя. Тургенев принес «Живые мощи» и «Новь», я — «Фромона», «Джека», «Набоба». Мы толковали друг с другом по душе, открыто, без лести, без взаимных восхищений».

Когда Флобер покидал Круассе и приезжал на время в Париж, Тургенев каждое воскресенье посещал его квартиру, где в этот день собирался цвет столичной интеллигенции: писатели, художники, ученые, журналисты, издатели.

Тургенев, по словам Мопассана, обычно приходил первый, и хозяин, радостно встречая его, целовал, как брата. Случалось, что Иван Сергеевич приносил с собою книги Пушкина, Гёте, Шекспира и, усевшись в глубокое кресло, свободно переводил своим французским друзьям произведения великих писателей.

Одна из таких встреч запечатлена в дневнике Эдмонда Гонкура — он рассказывает о чтении Тургеневым «Прометея» Гёте: «Слушая этот перевод, в котором Тургенев старался передать нам молодую жизнь рождающегося мира, трепет которого слышится в словах Гёте, я был поражен непринужденностью и в то же время смелостью его выражений».

В семидесятые годы и в начале восьмидесятых



И. С. Тургенев.
Портрет маслом работы И. Е. Репина. (Фрагмент.) 1883 г.



Памятник на могиле И. С. Тургеневу на Волковом кладбище в Ленинграде.

Тургенев особенно деятельно способствовал сближению русской и западноевропейских литератур и прежде всего французской. Благодаря его содействию появлялись переводы на французский, английский, немецкий языки сочинений Пушкина, Гоголя, Крылова, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Писемского. К некоторым изданиям он давал предисловия, популяризируя за рубежом лучшие произведения русской литературы.

С другой стороны, он стремился продвинуть в русские журналы произведения Флобера, Золя, Мопассана, Гейне и других писателей. Не надеясь на то, что новеллы Флобера «Иродиада» и «Легенда о Юлиане Страннолриимце», написанные «мраморным слогом», смогут быть достойным образом переведены для русских читателей, Тургенев сам взялся за их перевод и отнесся к этой задаче с исключительным усердием. Это был, как он говорил, «труд любви».

Золя всегда вспоминал с благодарностью, что именно Тургенев представил его русской публике в самый тяжелый момент его литературной карьеры. В то время молодой французский писатель подвергался гонениям за свою публицистическую статью «На следующий день после кризиса».

«Ни один журнал, — говорил он, —меня не печатал, я умирал с голода, меня отовсюду гнали, и вот тогда он ввел меня в эту великую Россию, где меня с тех пор очень полюбили».

При содействии Тургенева романы Золя «Проступок аббата Мурэ» и «Его превосходительство Эжен Ругон» были опубликованы на русском языке прежде, чем на французском.

В 1875 году Золя становится по инициативе Тургенева постоянным сотрудником журнала «Вестник Европы», где он напечатал более шестидесяти статей и очерков, касавшихся главным образом вопросов литературы и искусства. Золя утверждал, что Россия возвратила ему веру и силу, предоставив трибуну и живую, отзывчивую аудиторию. В дальнейшем, получив широкое признание в России, Эмиль Золя на все предложения русских издателей неизменно отвечал:

— Позвольте мне прежде переговорить с моим другом Тургеневым: он так много для меня сделал, что я привык ему верить и никакого дела не начинать без его совета во всем, что касается русской литературы и прессы.

Не только Золя, но и Эдмонд Гонкур, Доде, Мопассан единодушно свидетельствовали о сильном и благотворном влиянии на них Тургенева. В беседах с ними русский писатель часто говорил о необходимости изучать прежде всего живую действительность, которая должна быть основой настоящего искусства.

Близость к народу, «тщательное и добросовестное воспроизведение народного быта» — вот что особенно ценил Тургенев в произведениях литературы и искусства.

«Его литературные взгляды, — говорит Мопассан, — имели тем большую ценность и весомость, что он не просто выражал суждение с той ограниченной и специальной точки зрения, которой все мы придерживаемся, но проводил нечто вроде сравнения между всеми литературами всех народов мира, которые он основательно знал, расширяя таким образом поле своих наблюдений и сопоставляя две книги, появившиеся на двух концах земного шара и написанные на разных языках».

Мопассан, как и другие французские писатели того времени, признает, что Тургенев в большой мере способствовал распространению реализма во Франции. Его прогрессивные взгляды на задачи литературы явились для этих авторов своего рода откровением. Старые формы романа, построенного на искусственной интриге, не удовлетворяли Тургенева. Он часто внушал своим французским друзьям, что в основе романа должна лежать действительность, а не надуманные приключения.

Называя себя учеником Тургенева, Мопассан восхищался гениальным романистом, изъездившим весь свет, знавшим всех великих людей своего времени, прочитавшим все, что только в силах прочитать человек, и говорившим на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном.

Он ставил Тургенева в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и говорил, что Россия должна быть обязана Тургеневу глубокой и вечной признательностью, «ибо он оставил ее народу нечто бессмертное и неоценимое — свое искусство... Люди, подобные ему, стяжают любовь всех благородных умов мира».

ГЛАВА XXVIII

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ



Зимы Тургенев проводил в Париже, живя на улице Дуэ, в верхнем этаже дома, приобретенного им и Виардо. В рабочем кабинете Ивана Сергеевича, просто обставленном, стоял большой письменный стол, заваленный книгами и газетами. В особой комнате размещалась библиотека, где на полках находились его любимые книги: сочинения Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Гоголя, Шекспира, Шиллера, Гёте, Гейне...

А летом он обычно переезжал в Буживаль, под Парижем, где находилась усадьба Виардо — «Ясени», рядом с которой в живописном парке у него была уютная, небольшая дача, вся в цветах и в зелени.

Один из посетителей парижского дома Полины Виардо познакомился у нее в 1872 году с Тургеневым.

Он оставил воспоминания о встречах здесь с русским писателем. Рисуя обстановку, в которой проходила жизнь в салоне артистки, мемуарист, не пожелавший назвать свое имя, замечает, что Полина Виардо была окружена блестящим музыкальным обществом. «Пожалуй, не было в Европе ни одного замечательного артиста, который не знал бы госпожу Виардо и не посетил бы ее, приезжая в Париж. Все музыкальные знаменитости мира, — говорит он, — вереницей прошли передо мной».

Наклонность молодого человека к музыке и его страсть к изучению языков пришлись по душе Тургеневу.

— Вы обязательно должны изучить русский язык, — сказал ему однажды Иван Сергеевич. — Наш язык мало известен, но он очень богат, поверьте мне, вы получите большую радость, познав его. Не забывайте, — добавил он, — что изучить новый язык — это все равно, что обрести новую душу.

Молодой человек не пренебрег советом Тургенева и вскоре поступил в школу восточных живых языков. Через четыре года он получил аттестат переводчика. Тургенев подарил ему тогда многие из своих сочинений, которые тот мог уже прочитать и оценить в оригиналах.

Впоследствии автору воспоминаний довелось побывать и в Буживале в усадьбе «Ясени». Приглядываясь здесь к Тургеневу, он отметил, что Иван Сергеевич чувствовал себя легко в близкой ему семье и был, насколько то возможно, счастлив, хотя не скрывал ни от кого постоянной тоски по родине.

Вскоре после появления романа «Новь» в журнале Тургенев приехал в Петербург и через несколько дней посетил тяжело больного Некрасова.

Еще прежде, узнав о болезни поэта, он порывался написать ему примирительное письмо, но боялся, что оно произведет на Некрасова тягостное впечатление и покажется ему предсмертным вестником.

Но Некрасов сам сознавал, что дни его сочтены.

«Скоро стану добычею тленья...» — писал он в эти дни в «Последних песнях».

Он просил передать Тургеневу, что не хочет умереть, не повидавшись с ним. «Ведь я его всегда так любил и люблю до сих пор», — говорил Некрасов.

Этой встрече Тургенев посвятил стихотворение в прозе «Последнее свидание»:

«Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились. Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!..

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли — кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку. Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою. Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы... Никуда не смотрят ее глубокие, бледные глаза; ничего не говорят ее бледные, строгие губы... Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... смерть нас примирила...»

Через полгода, получив известие о смерти поэта, Тургенев заметил: «С Некрасовым умерла большая часть нашего прошедшего и нашей молодости...»

Прошло еще несколько месяцев, и Тургенев неожиданно получил после многолетнего молчания пись-

мо от Льва Николаевича Толстого, в котором тот писал, что ему хотелось бы возобновить их прежние отношения, забыть о давней ссоре.

Они стали снова переписываться, и в августе 1878 года Тургенев написал Толстому из Москвы в Ясную Поляну: «Мне самому хочется вас видеть... Приедете ли в Тулу, или я заеду к вам в Ясную Поляну?..»

О последовавшей затем встрече писателей рассказывает в «Очерках былого» сын Льва Толстого — Сергей Львович: «Отец сам поехал в Тулу его встречать... И вот Тургенев в Ясной Поляне... Все мы, конечно, с величайшим интересом ждали Ивана Сергеевича. Я знал, что Тургенев большого роста. Но он превзошел мои ожидания. Он показался мне великаном... Сравнительно с ним отец мне казался маленьким (хотя он был роста выше среднего) и моложе, чем он был. Правда, Тургеневу было шестьдесят лет, а отцу пятьдесят. Но Тургенев был совсем седой, а у отца были темные волосы без проседи. В их отношениях чувствовалось, что Иван Сергеевич старший. Мне тогда казалось, что отец к нему относился сдержанно, любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно...

Иван Сергеевич много разговаривал с отцом наедине, в кабинете и на прогулках. Вероятно, главной темой их разговоров была литература...

Несмотря на свои шестьдесят лет, Тургенев был бодр и подвижен. Он ходил гулять с моим отцом и с нашей компанией молодежи, обращая внимание на хозяйство, на лесные и яблочные посадки и на красивые места в саду и в лесу...»

По возвращении в Спасское Иван Сергеевич 14 августа написал Льву Николаевичу: «Не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное, хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла и для нас неда-

ром — и что и Вы и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад, и мне было приятно это почувствовать».

Конец семидесятых годов в жизни Тургенева был отмечен особенно широким признанием его литературных заслуг со стороны передовых общественных кругов как в России, так и на Западе.

В июне 1878 года представители всех европейских литератур, съехавшиеся во время всемирной выставки в Париж на международный литературный конгресс, единогласно избрали Тургенева своим вице-президентом.

Один из членов русской делегации на этом конгрессе, М. Ковалевский, рассказывал, что торжественное заседание, на котором выступил Тургенев, было для него триумфальным.

В своей речи Тургенев дал краткий и выразительный обзор развития русской словесности от Фонвизина до Льва Толстого включительно и указал, что́ было внесено ею нового в литературный капитал человечества.

Простая, безыскусственная речь русского писателя, пользовавшегося мировой славой, была покрыта дружными аплодисментами.

Восторженно был встречен Тургенев в следующем году в Москве на заседании Общества любителей российской словесности, происходившем в аудитории Московского университета.

Когда гром аплодисментов затих, прямо с хоров раздался голос студента, приветствовавшего от имени учащейся молодежи автора «Записок охотника» как защитника прав народа.

В мемуарах современников сохранились описания бурных оваций, которыми встречала молодежь в Москве и Петербурге появление писателя на вечерах, в театрах и в других общественных местах.

«Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал, но и взволновал порядочно», — писал Тургенев в те дни.

В Петербурге, на чтениях, организованных Литературным фондом, он с огромным успехом выступал со своими рассказами из «Записок охотника» — «Бурмистром» и «Бирюком».

Шумные овации, сопровождавшие каждый шаг писателя в столицах, пришлись не по душе властям. Тургенев сам рассказывал Герману Лопатину, с которым встречался тогда в Петербурге, что ему ясно дано было понять о нежелательности дальнейшего его пребывания в России.

Летом 1880 года в Москве проходили пушкинские торжества в связи с открытием памятника поэту на Тверском бульваре.

В сознании современников этот праздник остался как одно из незабываемых событий русской общественной жизни конца прошлого столетия.

Первоначально открытие памятника было намечено на 26 мая — в день рождения Пушкина, но затем перенесено на 6 июня.

Избранный вместе с Григоровичем и другими литераторами депутатом от Литературного фонда на пушкинские торжества, Тургенев принимал живейшее участие в подготовке праздника, разработке его программы, в переговорах и переписке с писателями, учеными, артистами. Эта непривычная организационная работа изрядно утомила его.

24 апреля (6 мая) Тургенев отправил из Москвы короткое письмо Флоберу, начинавшееся шутливым сообщением, что он «еще жив и здоров. Я верчусь и скачу, как белка в колесе; нахожусь здесь уже неделю. В будущий понедельник уеду в деревню, пробуду там десять дней, вдыхая запах берез и слушая, как *орут* соловьи».

Тургенев стремился скорее уехать в Спасское, чтобы приготовить там в тишине и уединении речь о Пушкине, которую должен был прочитать в публичном заседании Общества любителей российской словесности в дни торжества.

«В Москву вернусь к открытию памятника нашему великому поэту Пушкину, — сообщал он в том же письме Флоберу. — NB: Комитет пришлет Вам

приглашение! Вы, разумеется, не приедете, но если Вы пришлете телеграмму, то она будет прочитана на банкете под восторженные аплодисменты присутствующих». Заканчивая письмо, Тургенев выражал надежду обнять в июне своего друга в Париже.

По дороге в Спасское он заезжал в Ясную Поляну — ему хотелось склонить Л. Н. Толстого к участию в пушкинских торжествах. Он пробыл там два дня. «Была весна, — вспоминает С. Л. Толстой, — разные певчие птицы свистели и пели в саду. Иван Сергеевич хорошо знал птиц и отличал их по пению. «Это поет овсянка, — говорил он, — это коноплянка, это скворец» и т. д. Отец признавался, что он так хорошо птиц не знает. Пролет вальдшнепов был в самом разгаре».

Вместе с Толстым, его женой и сыновьями Тургенев ездил на тягу в казенный лес за рекой Воронкой.

Софья Андреевна Толстая рассказывает об этой поездке в своих воспоминаниях: «Весенний вечер был прелестен, но тяга была неудачна: кто-то раз выстрелил в пролетавшего вальдшнепа, но птицу не нашли. Тургенев стоял со мной у большого, еще не одетого листвой дуба и что-то делал с ружьем, когда я его спросила:

— Отчего Вы так давно ничего не писали, Иван Сергеевич?

Тургенев оглянулся кругом себя, сделал виноватую улыбку, которая имела особую прелесть в этом крупном человеке, и сказал:

— Никто нас не слышит? Ну, я Вам скажу, что всякий раз, как я задумывал писать что-нибудь, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло: я стар; я не могу больше ни любить, ни писать...»

Во время долгих разговоров наедине с Толстым Тургенев рассказал ему, между прочим, о том сильном впечатлении, какое произвел во Франции роман «Война и мир». Отчасти это было уже известно Толстому, потому что в начале года Тургенев переслал ему из Парижа восторженный отзыв Флобера. Выражая благодарность Тургеневу за то, что тот дал ему возможность прочитать роман Толстого, Флобер

писал: «Это первоклассная вещь! Какой художник и какой психолог! Два первые тома изумительны, но третий страшно катится вниз. Он повторяется! и философствует! Одним словом, здесь виден он сам, автор и русский, тогда как до тех пор были только природа и человечество. Мне кажется, что кое-где есть места шекспировские! Я вскрикивал от восторга во время чтения... а оно продолжается долго! Да, это сильно, очень сильно!»

Но Льва Толстого уже не волновали отзывы о его романах. Он переживал в ту пору глубокий нравственный кризис, приведший его к полному отказу от художественного творчества.

Свою главную задачу Лев Толстой видел теперь в том, чтобы воздействовать на умы людей не художественными произведениями, а моралистическими сочинениями, в которых он призывал к нравственному самоусовершенствованию.

Просьбу Тургенева приехать в Москву к открытию памятника Пушкину он решительно отклонил, потому что всегда относился отрицательно к торжественным и официальным празднествам. Хотя Тургенев был очень огорчен этим отказом, они расстались тепло и дружелюбно.

На другой день после приезда в Спасское Тургенев прочитал в газете известие о внезапной смерти Флобера, сломленного непомерно напряженным литературным трудом. Иван Сергеевич был до глубины души потрясен утратой близкого друга и долго не мог прийти в себя.

«Все эти дни я в печальном настроении, — писал он Стасюлевичу, — смерть моего друга Флобера меня глубоко поразила. Золотой был человек и великий талант!»

К открытию памятника Пушкину он вернулся в Москву. К этому времени сюда приехали многие писатели: Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский, Д. В. Григорович и другие.

В поезде, вышедшем из Петербурга в Москву 4 июня в четыре часа дня, бо́льшую часть пассажиров составляли писатели, артисты, художники, пред-

ставители всевозможных обществ и организаций, отправлявшиеся на торжества. В вагонах этого поезда с наступлением сумерек до самого рассвета декламировали стихи и поэмы Пушкина. Потом поэты Я. Полонский и А. Плещеев прочитали публике свои стихотворения, посвященные великому учителю.

«Три дня продолжались торжества, — писал один из участников их — известный общественный деятель и литератор А. Ф. Кони, — причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев».

Видевшие Ивана Сергеевича в самый день открытия памятника единодушно отмечали какое-то особенно приподнятое его настроение. Он признавался потом, что был несказанно рад присутствовать на этом празднике.

Еще недавно был жив советский писатель Н. Д. Телешов, которому посчастливилось в отроческом возрасте быть свидетелем открытия памятника Пушкину.

«Помню хорошо, — писал в своих воспоминаниях Телешов, — красивую голову маститого писателя Тургенева, с пышными седыми волосами, стоявшего у подножия монумента, с которого торжественно только что сдернули серое покрывало. Помню восторг всей громадной толпы народа, в гуще которой находился и я, тринадцатилетний юнец, восторженный поклонник поэта. Помню бывших тут же на празднике писателей — Майкова, Полонского, Писемского, Островского, Достоевского...

Тургенев на этом торжестве говорил:

— Будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком».

В своем выступлении в Обществе любителей российской словесности Тургенев особо остановился на вопросе о том, что́ было сделано Пушкиным для создания русского литературного языка.

Упомянув о народной войне 1812 года, о скитаниях Пушкина по России, о его «погружении в народную речь» как о фактах, в сильной степени способствовавших развитию творческой независимости и самобытности поэта, Тургенев сказал:

— Нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Мы находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке, и сам Пушкин был великолепный русский художник.

Среди рассказов, написанных Тургеневым после романа «Новь», наиболее значительными были «Песнь торжествующей любви» и «После смерти» («Клара Милич»).

Первый из них посвящен памяти Гюстава Флобера. По красоте языка, поэтичности сюжета и тонкости психологического рисунка этот рассказ, написанный в духе итальянских средневековых легенд, занимает особое место в творчестве Тургенева. П. В. Анненков по прочтении корректуры «Песни торжествующей любви» заметил, что «по форме... это маленький шедевр. Такого мастерства в изложении немного и у него самого».

В основе сюжета рассказа «После смерти» («Клара Милич»), несмотря на некоторый фантастический элемент, заключенный в нем, лежат реальные события, связанные с самоубийством артистки Е. П. Кадминой в 1881 году, принявшей яд во время представления пьесы А. Островского «Василиса Мелентьева», в котором она участвовала.

Жена поэта Я. Полонского и некоторые другие знакомые Тургенева знали довольно подробно историю «посмертной» влюбленности молодого ученого В. Д. Аленицына в Кадмину. Тургенев встречал Аленицына у Полонских, а актрису видел прежде на сцене. Трагическая история ее навела Ивана Серге-

евича на мысль написать рассказ в развитие темы — любовь сильнее смерти.

Начиная с 1877 года Тургенев стал создавать «Стихотворения в прозе», которым суждено было остаться в русской литературе непревзойденными образцами этого трудного и своеобразного жанра.

Самый выбор формы был подсказан Тургеневу желанием максимально сблизить прозаическую речь со стихотворной, создать особый жанр лирического дневника, в котором мелькали бы зарисовки виденного, воспоминания о прошедшем, мимолетные впечатления, размышления о будущем.

В этих эскизах на самые разнообразные темы — философские, социальные, психологические — говорилось о жизни вселенной, о природе, о любви, о смерти, о родине, о красоте, о подвиге, о дружбе...

Тургенев долгое время не помышлял вовсе о печатании их и не придавал им большого значения, рассматривая их лишь как предварительные наброски для будущих произведений.

Дав им общее заглавие «Senilia» («Старческое»), он говорил, что пишет их, собственно, не для печати, и только изредка читал то или иное стихотворение друзьям — Я. П. Полонскому, П. Л. Лаврову, артистке М. Г. Савиной.

Однажды, уже незадолго до смерти, он познакомил с ними навестившего его в Буживале М. М. Стасюлевича, и тот уговорил Ивана Сергеевича отдать их ему для напечатания в журнале «Вестник Европы». Тургенев согласился, и пятьдесят одно стихотворение из этого цикла было опубликовано в декабрьской книжке журнала за 1882 год.

Вообще стихотворений в прозе Тургеневым было написано значительно больше, но в остальных слишком явственно звучали автобиографические мотивы, и поэтому он воздержался от публикации их. (Эта часть стихотворений — числом тридцать одно — была издана только в 1930—1931 годах.)

Тургенев никак не ожидал, что появление его миниатюрных новелл будет встречено читателями с живейшим интересом и сочувствием. Вскоре они

Маша

Проживая, — много лѣтъ тому назадъ — въ Петербургѣ, я, всякiй разъ какъ мнѣ случалось нанимать извощика, вступалъ съ нимъ въ бесѣду.

Особенно любилъ я бесѣдовать съ ночными извощиками, бѣдными подгородными крестьянами, прибывшими въ столицу съ окрашенными вохрой санишками и плохой клячонкой — въ надеждѣ и самимъ прокормиться и собрать на оброкъ господамъ.

Факсимиле И. С. Тургенева.
Начало стихотворения в прозе «Маша».

были переведены Полиной Виардо на французский язык, а затем были опубликованы переводы и на другие европейские языки.

Лучшие тургеневские стихотворения в прозе стали хрестоматийными, а многие выражения из них крылатыми.

Некоторые стихотворения проникнуты грустным, порою даже трагическим настроением, потому что писались в тот период, когда безнадежно больной и исстрадавшийся писатель, задумываясь о близости неотвратимой развязки, мысленно подводил итоги своего трудного и сложного жизненного пути. В этом плане они родственны «Последним песням» Некрасова, о которых так замечательно сказал Чернышевский: «Взять хотя бы «Последние песни». Он ведь только о себе, о своих страданиях поет, но какая сила, какой огонь! Ему больно, вместе с ним и нам тоже».

Сопоставив «Стихотворения в прозе» с «Последними песнями», мы увидим, как явно перекликаются в них некоторые мотивы и темы.

Далеко не все «Стихотворения в прозе» окрашены в пессимистические тона. Личные мотивы в них часто подчинены широким общечеловеческим темам. Тут немало и жизнеутверждающих произведений, где писатель славит героизм, подвиг, моральное величие простых людей, их духовное превосходство над богачами.

В прославленном стихотворении «Русский язык» с исключительной силой прозвучала проникновенная любовь писателя к родине, к родному языку, к будущему русского народа: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — говорит Тургенев, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Особое место во всем цикле занимает стихотворение «Порог», опубликованное только после смерти Тургенева вместе с прокламацией народовольцев, посвященной памяти писателя.

Стихотворение это было навеяно политическими процессами семидесятых годов, в частности процессом Веры Засулич.

В нем дан замечательный образ русской девушки-революционерки, которая готова к любым испытаниям и мукам. Она знает, что ее ждет «холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть». Ее не страшит «отчуждение, полное одиночество». Идя на смерть, она знает, что ее подвиг останется безыменным, но и это не может остановить ее, потому что ей не нужно ни благодарности, ни сожаления.

В 1881 году Тургенев в последний раз приехал на родину.

Через несколько месяцев он тяжело заболел в Париже, из-за чего задуманный им тогда переезд в Россию стал несбыточной мечтой*.

— Я страдаю так, что по сто раз в день призываю смерть. Я не боюсь расстаться с жизнью,—сказал однажды Тургенев посетившему его художнику В. В. Верещагину. (Вскрытие показало потом, что Иван Сергеевич умер от рака спинного мозга, разрушившего у него три позвонка).

Как ни мучительны были во время долгой болезни физические страдания Тургенева, неизбывная жажда творчества не оставляла его. Даже утратив способность записывать свои произведения, он не сложил оружия. В июне 1883 года Иван Сергеевич продиктовал по-французски Полине Виардо автобиографический очерк «Пожар на море», который был затем, по его просьбе, переведен на русский язык писательницей А. Н. Луканиной.

За две недели до смерти Тургенев снова обратился к Полине Виардо с просьбой.

— Я хотел бы, — сказал он, — записать рассказ, который у меня в голове, но это слишком бы утомило меня, я не смог бы.

---

* «Ни о каком путешествии думать нельзя, — писал он друзьям, — и потому, будьте так добры, не зовите меня в Спасское. Это только больше мучит меня».

— Так диктуйте его мне, — ответила артистка,— я пишу по-русски не быстро, но думаю, что при некотором терпении с вашей стороны это мне удастся.

— Нет, нет! — воскликнул он. — Если я стану диктовать по-русски, я захочу придать своему рассказу литературную форму, буду останавливаться на каждой фразе, на каждом слове, подыскивая, выбирая выражения, а я чувствую себя неспособным к такой напряженной, такой утомительной работе. Нет, я хотел бы диктовать вам на разных известных нам обоим языках и по мере того, как я буду находить подходящие слова и обороты фраз, которые лучше и скорее всего выразят мою мысль, вы станете излагать все это по-французски.

Так они и сделали. Тургенев диктовал рассказ «Конец» по-французски, по-немецки и по-итальянски. После нескольких коротких сеансов Виардо прочитала ему сводную редакцию на французском языке, и он остался доволен и удовлетворен рассказом.

«Бедный Тургенев, — писала Полина Виардо Стасюлевичу, — для него было такое наслаждение диктовать этот рассказ, что он хотел немедленно начать таким же образом со мною большую подготовительную работу к обширному роману, им задуманному. Но, увы, болезнь ухудшилась, и он успел продиктовать только имена действующих лиц...»

Писателя по-прежнему глубоко волновала тема современного революционного движения. В будущем романе он намеревался сопоставить две фигуры — русского социалиста и французского радикала и показать различие их внутреннего мира. О сюжете и общем плане задуманного произведения он рассказывал некоторым друзьям и знакомым.

Мысли о родине, о полустепных просторах Орловщины, о любимом Спасском не оставляли Тургенева.

«Когда вы будете в Спасском, — писал Иван Сергеевич Полонскому, — поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».

Тургенев мог бы воскликнуть вместе с героем сво-

его рассказа «Дневник лишнего человека», Чулкатуриным: «О, мой сад, о, заросшие дорожки возле мелкого пруда! О, песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины...»

Узнав о тяжелой болезни Тургенева, Лев Толстой был чрезвычайно взволнован и огорчен. Он почувствовал, что после всего пережитого старый друг снова стал теперь близок и дорог ему.

Пользуясь каждым случаем — будь то письмо или свидание, Тургенев настойчиво убеждал Льва Толстого вернуться к художественному творчеству.

Незадолго до смерти Тургенев с трудом написал карандашом письмо и, передавая его для отправления, сказал:

— Пожалуйста, пошлите его поскорее, это очень, очень нужно.

То было обращение ко Льву Николаевичу с призывом вспомнить о своем писательском призвании.

«Милый и дорогой Лев Николаевич... Пишу я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, — и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!.. Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!..»

22 августа (3 сентября), в два часа дня, Тургенев скончался в Буживале. Умирая вдали от родины, он просил похоронить его в Петербурге, на Волковом кладбище, рядом с Белинским...

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. С. ТУРГЕНЕВА

1818, 28 октября (9 ноября). В Орле у Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Тургеневой (до замужества Лутовиновой) родился сын Иван.

1827. Тургеневы переезжают в Москву. Ивана Сергеевича помещают в пансион Вейденгаммера, где он пробыл около двух лет.

1829, август — ноябрь. Тургенев и его брат Николай в пансионе Армянского института (позднее Лазаревского института).

1833, сентябрь. Тургенев после испытаний зачислен студентом Московского университета по словесному отделению.

1834. Осенью, с переездом семьи Тургеневых в Петербург, Иван Сергеевич зачисляется в студенты Петербургского университета по филологическому отделению философского факультета. *Октябрь.* Смерть отца Тургенева. *В декабре* Иван Сергеевич закончил драму «Стено».

1835. Знакомство с Т. Н. Грановским.

1836. Окончание Петербургского университета. Работа над переводами «Отелло», «Короля Лира» Шекспира и «Манфреда» Байрона. *Август.* В «Журнале министерства народного просвещения» появляется первый печатный труд Тургенева — рецензия на книгу путевых очерков А. Н. Муравьева.

1837, январь. Тургенев видит Пушкина на утреннем концерте в зале Энгельгардта, а через несколько дней прощается с телом великого поэта. Тургенев выдержал экзамен на степень кандидата.

1838. В журнале «Современник» появилось первое печатное стихотворение Тургенева — «Вечер». *В мае* Тургенев выехал в Германию для поступления в Берлинский университет. Знакомство с Н. В. Станкевичем.

1839. Осенью Тургенев возвратился в Россию. *В конце года* он встречает Лермонтова на вечере у княгини Шаховской и на маскараде в Благородном собрании под Новый год.

1840, середина января. Тургенев выезжает из Петербурга за границу с П. И. Кривцовым. *Весной* в Риме он сближается со Станкевичем. *Июль.* Знакомство и начало дружбы с М. А. Бакуниным.

1841, май. Тургенев уезжает из Берлина, закончив занятия в университете. *Весну и лето* проводит в Спасском. *Осенью* гостит в имении Бакуниных — Премухине.

1842, март. Тургенев допущен к испытаниям на степень магистра философии. *Апрель.* Рождение дочери Тургенева — Полины. *Май.* Окончание магистерских экзаменов. *Июль.* Поездка за границу.

1843. Тургенев знакомится с Белинским. Выход из печати поэмы «Параша». Поездка в Спасское. *В середине года* поступает на службу в канцелярию министерства внутренних дел в чине коллежского секретаря. *Ноябрь.* Знакомство с Полиной Виардо, приехавшей в Петербург на гастроли с итальянской оперой. В «Отечественных записках» печатаются стихотворения, драматические произведения и критические статьи Тургенева.

1844, лето. Частые встречи с Белинским на даче под Петербургом. *В ноябре* в «Отечественных записках» напечатана повесть Тургенева «Андрей Колосов». Сближение с Некрасовым.

1845, весна. Увольняется от службы в министерстве и совершает путешествие за границу. По возвращении в Петербург знакомится с Достоевским.

1846. В начале года выходит изданный Некрасовым альманах «Петербургский сборник», где напечатаны повесть Тургенева «Три портрета», его поэма «Помещик» и ряд стихотворных переводов.

1847, январь. Выходит № 1 реорганизованного журнала «Современник», где напечатаны стихотворения Тургенева, его статья о Кукольнике, фельетон и первый рассказ из «Записок охотника» — «Хорь и Калиныч». В «Отечественных записках» — повесть «Бретёр» и статья о рассказах казака В. Луганского (Владимира Даля). *Во второй половине января* Тургенев выезжает в Берлин. Начиная с этого времени в «Современнике» из номера в номер печатаются рассказы из цикла «Записки охотника». *Июнь.* Тургенев и Белинский в Зальцбрунне.

1848, февраль. Тургенев — очевидец революционных событий в Париже. Сближение с Герценом. Получив известие о смерти Белинского (26 мая 1848 г), Тургенев предлагает Некрасову напечатать в пользу семейства покойного друга «Записки охотника». *В октябре* он совершает длительное путешествие по Франции.

1849. В апреле Тургенев отправляет Щепкину законченную комедию «Холостяк». Первая постановка ее в Петербурге состоялась *в октябре,* в бенефис Щепкина. *В декабре* в Петербурге ставится комедия «Завтрак у предводителя».

1850, июнь. Отъезд из Парижа в Россию. *Лето* Тургенев проводит в родных местах. *Октябрь.* Тургенев отправляет из

Петербурга в Париж, к Полине Виардо, свою дочь. *16 ноября.* Смерть матери Тургенева.

1851, начало года. Сближение с семьей С. Т. Аксакова. *Октябрь.* Вместе с М. С. Щепкиным посещает в Москве Гоголя. *3 ноября* присутствует на чтении Гоголем «Ревизора». *Декабрь.* Первая постановка в Петербурге, в бенефис Н. В. Самойловой, комедии «Где тонко, там и рвется».

1852, январь. Первая постановка в Петербурге комедии «Безденежье». В № 2 «Современника» напечатан рассказ «Три встречи». *Апрель — май.* Арест Тургенева и высылка его из Петербурга на жительство в село Спасское за статью о смерти Гоголя. Здесь он провел в ссылке полтора года. *Летом* в Москве вышло в свет отдельное издание «Записок охотника». По распоряжению Николая I цензор, разрешивший это издание, был отстранен от должности.

1853, март. Приезд в Спасское М. Щепкина. Чтение им Ивану Сергеевичу комедии Островского «Не в свои сани не садись». *В конце месяца* Тургенев тайно выезжает на несколько дней из Спасского в Москву для свидания с Полиной Виардо. *В ноябре* получает извещение о прекращении ссылки. *9 декабря.* Приезд Тургенева в Петербург. *13-го* — редакция «Современника» дает в честь его возвращения обед.

1854, апрель. В № 4 «Современника» напечатана статья Тургенева о стихотворениях Ф. И. Тютчева. *Май.* Тургенев гостит у Аксаковых в Абрамцеве. *Лето* он проводит под Петергофом. *В сентябре* приезжает с Некрасовым в Спасское.

1885, В № 1 «Современника» опубликована комедия «Месяц в деревне». *12—14 января* Тургенев присутствует на юбилейных торжествах Московского университета. В № 4 «Современника» напечатана повесть Тургенева «Яков Пасынков». *Лето.* Работа над романом «Рудин» в Спасском. *7 октября.* Тургенев присутствует на похоронах Грановского в Москве и пишет статью о нем. Чтение Тургеневым романа «Рудин» в кружке «Современника». *Ноябрь.* Приехавший из Севастополя в Петербург Л. Н. Толстой является к Тургеневу, чтобы познакомиться с ним. *5 декабря.* Обед у Тургенева, на котором Н. П. Огарев знакомится с Л. Н. Толстым. *14 декабря.* Огарев на вечере у Тургенева читает поэму «Зимний путь».

1856, В № 1 и 2 «Современника» напечатан роман «Рудин». *В начале года* Тургенев, Л. Толстой, Островский и Григорович заключают с издателями «Современника» (Некрасовым и Панаевым) «обязательное соглашение» об исключительном участии в этом издании. *Конец февраля.* Островский читает у Тургенева «Семейную картину». *Май.* Приезд Тургенева в Спасское. *В июне* его навещает там Л. Н. Толстой. *Июль.* Отъезд Тургенева из Петербурга за границу. *Август.* Свидание с Герценом в Лондоне. *Октябрь.* Начало работы над «Дворянским гнездом». *Ноябрь.* В Пе-

тербурге выходят из печати «Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 по 1856 г. 3 части». *С конца года* Тургенев начал посылать Герцену материалы в его лондонские издания.

1857, конец января. Приезд Некрасова из Рима в Париж к Тургеневу. *Февраль.* Приезд в Париж Л. Н. Толстого. *Март.* Тургенев совершает с ним поездку в Дижон. В № 3 «Современника» опубликована комедия «Нахлебник». *Май.* Поездка в Лондон к Герцену. Во время пребывания в Англии Тургенев знакомится с Карлейлем, Теккереем и Маколеем. *Июнь.* Тургенев в Зинциге приступает к работе над повестью «Ася». *Август.* Встречи в Париже с Фетом, Гончаровым, Боткиным. Гончаров читает им только что законченный роман «Обломов». *Октябрь.* Тургенев в Риме. Знакомство с художником А. Ивановым. *Декабрь.* Возобновление работы над «Дворянским гнездом».

1858. В № 1 «Современника» напечатана повесть «Ася». *Март.* Тургенев уезжает из Рима в Вену. *Апрель.* Поездка в Лондон. *Май.* Сообщает Герцену из Парижа сведения о запрещении там продажи некоторых изданий лондонской вольной типографии. *В начале июня* Иван Сергеевич уезжает в Россию. *Лето и осень.* Усиленная работа в Спасском над «Дворянским гнездом»; *в октябре* роман закончен. *В конце декабря* Анненков на квартире у Тургенева в Петербурге читает по его просьбе «Дворянское гнездо» в присутствии Некрасова, Дружинина, Писемского, Гончарова и других.

1859. В № 1 «Современника» напечатан роман «Дворянское гнездо». *Январь.* Тургенев избирается действительным членом Общества любителей российской словесности. *Февраль.* На квартире у Тургенева обед основателей Литературного фонда. *Начало весны.* Тургенев в Спасском работает над планом «Накануне». *В конце апреля* он уезжает за границу. *Май.* Поездка из Парижа в Лондон. Выход в свет «Украинских народных рассказов» Марко Вовчок в переводе Тургенева и с его предисловием. *Август.* Выход в свет отдельного издания «Дворянского гнезда». *Сентябрь.* Возвращение в Россию. *Осень.* Продолжение работы над «Накануне» в Спасском. *8 ноября.* Тургенев избирается членом комитета Литературного фонда как один из его учредителей.

1860, 10 января. Тургенев в Петербурге произносит речь на тему «Гамлет и Дон-Кихот» на первом публичном чтении в пользу Литературного фонда. В № 1—2 «Русского вестника» напечатан роман «Накануне». *В середине февраля* Тургенев обращается к Некрасову с просьбой не печатать в «Современнике» статьи Добролюбова о «Накануне», как «несправедливой и резкой». *Март.* В № 3 «Библиотеки для чтения» напечатана повесть «Первая любовь». *29 марта.* Третейский суд между Тургеневым и Гончаровым. Разрыв

с Гончаровым. *Апрель.* Тургенев выезжает в Париж. *Июль.* Поездка в Лондон к Герцену. *Сентябрь.* Начало работы над романом «Отцы и дети». *24 ноября* Тургенев единогласно избирается на заседании отделения русского языка и словесности членом-корреспондентом Академии наук.

1861, март. Тургенев просит Герцена написать в «Колоколе» о смерти Тараса Шевченко. *Апрель.* Приезд Тургенева на родину. *26 мая.* Иван Сергеевич с Л. Толстым у Фета в Степановке. *27 мая.* Ссора Тургенева с Толстым, едва не завершившаяся дуэлью. *Июль.* Тургенев заканчивает роман «Отцы и дети». *В конце августа* он уезжает из Спасского в Москву, где отдает роман в редакцию «Русского вестника». Через несколько дней направляется в Петербург, откуда уезжает в сентябре в Париж. *25 сентября* он настойчиво зовет туда Герцена, заявляя, что им «необходимо видеться».

1862, январь. В письме к Герцену Тургенев обязуется выдавать Бакунину ежегодную сумму в 1 500 франков. *В мае* выезжает на три дня в Лондон для свидания с Герценом и Бакуниным. По просьбе Бакунина берет на себя хлопоты о разрешении переселения его жены из Сибири в Тверскую губернию. *В 20-х числах мая* выезжает в Петербург. *Июнь.* Тургенев в Спасском. *Август.* Отъезд за границу. *Сентябрь.* Выход в свет отдельного издания романа «Отцы и дети». *Декабрь.* В «Северной пчеле» напечатано письмо Тургенева по поводу его отказа от сотрудничества в «Современнике».

1863, январь. Тургенев сообщает Герцену о получении вызова в сенат по «делу 32-х». *Март.* Посылает письменные показания по этому делу. *Сентябрь.* Получив вторичный вызов в сенат, Тургенев просит отсрочить явку до ноября. *В ноябре* снова хлопочет об отсрочке.

1864, январь. Приезд Тургенева в Петербург для дачи показаний в сенате. *7 и 13 января* он дает эти показания. В «Колоколе» появляется заметка Герцена, в которой он резко осуждает обращение Тургенева с письмом к Александру II в связи с «процессом 32-х». *21 января.* Примирение Тургенева с Гончаровым. *28 января.* Постановлением сената Тургеневу разрешается выезд за границу. В № 1 журнала «Эпоха» напечатан рассказ Тургенева «Призраки». *Февраль.* Отъезд Тургенева за границу. *1 июня.* Определением сената Тургенев освобождается от ответственности по «делу 32-х».

1865, 13 февраля. Свадьба дочери Тургенева Полины и Гастона Брюэра в Париже. *Май.* Приезд Тургенева в Россию. *Июнь.* Тургенев в Спасском. *29 июня.* Отъезд за границу. *Сентябрь.* Выходит в свет 3-е издание сочинений Тургенева. *Ноябрь.* Начало работы над романом «Дым».

1866, май. Поездка Тургенева к дочери в Ружемон. *Июль.* В Баден-Баден приезжает на несколько дней для свидания с Тургеневым Гончаров.

1867, январь. Тургенев заканчивает роман «Дым». *Февраль.* Приезд в Петербург. Чтение романа в дружеском кружке. *Март.* Знакомство с Д. И. Писаревым. В № 3 «Русского вестника» напечатан «Дым». *Май.* Тургенев посылает Герцену экземпляр романа и предлагает возобновить переписку. Герцен отвечает примирительным письмом. Тургенев обращается к Писареву с просьбой сообщить свое мнение о «Дыме». *Июль.* Ссора Тургенева с Достоевским.

1868. В № 1 «Вестника Европы» напечатан рассказ Тургенева «Бригадир»; в № 1 «Русского вестника» — «История лейтенанта Ергунова». *Февраль.* В письме к П. И. Борисову Тургенев пишет, что он «с великим наслаждением прочел роман Толстого» (Война и мир». — *Н. Б.*). *Ноябрь.* Поездка Тургенева в имение Флобера — Круассе. *Декабрь.* Работа над «Литературными воспоминаниями».

1869. В № 1 «Русского вестника» напечатан рассказ Тургенева «Несчастная». В № 4 «Вестника Европы» — «Воспоминания о Белинском». Работа над повестью «Степной король Лир» и рассказом «Странная история».

1870, 15 января. Последнее свидание Тургенева с Герценом (в Париже). *22 января* Тургенев узнает в Баден-Бадене о смерти Герцена. *Июль — сентябрь.* В «Петербургских ведомостях» печатаются «Корреспонденции о франко-прусской войне» Тургенева.

1871, февраль. Приезд Тургенева в Петербург. Знакомство со скульптором М. Антокольским. *27 февраля.* Выступление Тургенева в клубе художников на литературно-музыкальном утре в пользу гарибальдийцев с чтением рассказа «Бурмистр». *Март.* Выступление в Москве с чтением рассказов из «Записок охотника». Отъезд за границу. *Апрель.* Работа над повестью «Вешние воды». *Август.* Тургенев приезжает в Эдинбург для участия в праздновании столетия со дня рождения Вальтера Скотта.

1872. В № 1 «Вестника Европы» напечатана повесть «Вешние воды». *Январь.* Знакомство Тургенева с Э. Золя и А. Доде. Первая постановка в Москве пьесы «Месяц в деревне». Флобер читает Тургеневу пьесу «Испытание святого Антония». *Сентябрь.* Иван Сергеевич посещает Ж. Санд в Ногане. *Конец года.* Встреча в Париже с эмигрировавшим из России после побега из ссылки П. Л. Лавровым.

1873, январь. Тургенев сообщает друзьям о замысле романа «Новь» («которым... намерен закончить свою литературную карьеру»). *Апрель.* Встречи Тургенева с Ж. Санд и Г. Флобером.

1874, март. В сборнике «Складчина», изданном в пользу пострадавших от голода, напечатан рассказ Тургенева «Живые мощи». *Апрель.* В № 4 «Вестника Европы» напечатан рассказ «Пунин и Бабурин». Начало «обедов пяти» (Тургенев, Э. Гонкур, Флобер, Золя и Доде). В конце месяца Тургенев перед отъездом на родину гостит у дочери.

1875, январь. Тургенева в Париже посещает Глеб Успенский. *Февраль.* Литературно-музыкальное утро в пользу русской читальни в Париже с участием Тургенева, Глеба Успенского, П. Виардо и других. *Май.* Второе литературно-музыкальное утро в пользу русской читальни с участием Тургенева, П. Виардо и А. Писемского. *Июль.* Тургенев и А. К. Толстой читают в Карлсбаде в пользу моршанских погорельцев. *Июль.* Тургенев получает в дар от сына поэта Жуковского перстень Пушкина. *Сентябрь.* М. Салтыков-Щедрин посещает Тургенева в Буживале. *Октябрь.* Тургенев пишет воспоминания о Т. Г. Шевченко.

1876, январь. В № 1 «Вестника Европы» напечатан рассказ Тургенева «Часы». *Февраль.* Начало работы над романом «Новь». *Апрель.* Тургенев знакомит Салтыкова-Щедрина с Э. Золя и Г. Флобером. *Июнь.* Тургенев узнает по приезде в Москву о смерти Ж. Санд и пишет статью о ней. Хлопоты Тургенева о субсидии для Миклухо-Маклая. *15 июля.* Закончен роман «Новь». *Июль.* Отъезд из Спасского в Петербург, а затем за границу. *Декабрь.* Встречи с Мопассаном.

1877. В № 1 «Вестника Европы» напечатан роман Тургенева «Новь». *Начало года.* Частые встречи с П. Л. Лавровым. В № 4 «Вестника Европы» напечатана «Легенда о Юлиане Милостивом», в № 5 того же журнала — «Иродиада» Флобера; обе — в переводе Тургенева. *Май.* Тургенев по приезде в Петербург из-за границы присутствует на процессе Южно-Русского рабочего союза в особом присутствии сената. *Июль.* Последнее свидание Тургенева с Некрасовым и отъезд за границу. *Декабрь.* В Париже организовано Общество вспомоществования русским художникам, в состав которого вошли Антокольский, Боголюбов, Тургенев и другие.

1878, январь. Тургенев получает известие о смерти Н. А. Некрасова. *Май.* Примирительное письмо Л. Н. Толстого к И. С. Тургеневу. В ответ на это Тургенев пишет, что «с величайшей охотой готов возобновить прежнюю дружбу...». *Июнь.* Открытие международного литературного конгресса в Париже, где Тургенев избирается вице-президентом. *Август.* По приезде на родину Тургенев гостит у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. В течение этого года Иван Сергеевич создает значительную часть своих «Стихотворений в прозе».

1879, январь. Смерть старшего брата Тургенева — Николая Сергеевича. *17 января.* Первая постановка в Петербурге, в бенефис М. Г. Савиной, пьесы «Месяц в деревне». *Февраль.* Встреча Тургенева с Германом Лопатиным по приезде в Петербург. Тургенев предупреждает Лопатина о грозящем аресте и убеждает его уехать на юг. *4 марта.* Речь Тургенева перед московскими студентами на концерте в пользу неимущих студентов. *9 марта.* Выступление Тургенева в Петербурге на чтении в пользу Литературного

фонда с рассказом «Бурмистр». *16 марта.* Выступление на чтении в пользу Литературного фонда с рассказом «Бирюк». Читает вместе с М. Г. Савиной сцену из «Провинциалки». *Май.* Тургенев читает в Париже на литературно-музыкальном утре в пользу русской колонии сказку Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и отрывок из «Записок охотника». *Июнь.* Тургенев выезжает в Оксфорд, чтобы присутствовать при присуждении ему степени доктора обычного права.

1880, февраль. Приезд на родину. Встречи Тургенева с кружком молодых беллетристов-народников (Златовратский, Наумов, Глеб Успенский и др.). *Март.* Тургенев посещает выставку художников-передвижников в Петербурге. *30 марта.* Выступление его на чтении в пользу Литературного фонда с рассказом «Малиновая вода». *Апрель.* Тургенев избран депутатом от Литературного фонда на Пушкинские торжества в связи с предстоящим открытием памятника поэту в Москве. *Май.* Тургенев получает известие о смерти Флобера. *6 июня.* Открытие памятника Пушкину в Москве. Тургенев читает на вечере Общества любителей российской словесности стихотворение Пушкина «Опять на родине». *7 июня.* Тургенев читает на заседании Общества любителей российской словесности свою «Речь о Пушкине». *8 июня.* Тургенев присутствует на втором публичном вечере Общества любителей российской словесности, где выступили с речами о Пушкине Достоевский и И. Аксаков.

1881. Тургенев в последний раз приезжает *в июне* в Спасское. *Летом* этого года здесь в разное время гостили у него Григорович, Полонский, Савина, Лев Толстой. *29 августа* Тургенев выехал за границу. *Сентябрь.* Встречи в Париже с Салтыковым-Щедриным. В № 11 «Вестника Европы» напечатан рассказ Тургенева «Песнь торжествующей любви».

1882, март. Начало тяжелого заболевания Тургенева. *Декабрь.* В № 12 «Вестника Европы» напечатаны пятьдесят «Стихотворений в прозе» Тургенева.

1883. В № 1 «Вестника Европы» напечатан рассказ Тургенева «Клара Милич». *12 марта* в письме к Лаврову Тургенев выражает желание видеть Германа Лопатина, приехавшего в Париж после побега из ссылки. *Апрель.* Ухудшение состояния здоровья Тургенева — его перевозят из Парижа в Буживаль. *12 мая* он пишет Ж. Полонской о своем безнадежном состоянии. *5 июня.* Тургенев кончил диктовать Полине Виардо очерк «Пожар на море». *В конце июня* он пишет Льву Толстому последнее письмо, призывая его вернуться к литературной деятельности. *Август.* Тургенев диктует П. Виардо рассказ «Конец». *22 августа (3 сентября).* Тургенев умер в два часа дня. *19 сентября (1 октября).* Проводы тела Тургенева на Северном вокзале в Париже. *27 сентября (9 октября)* похороны Тургенева в Петербурге на Волковом кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Тургенева

Сочинения (В 12 томах.) Ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. М.—Л., Госиздат, 1928—1934.

Собрание сочинений. (В 11 томах.) Под ред. Н. Л. Бродского и др. М., «Правда», 1949 (Б-ка «Огонек»).

Собрание сочинений. (В 12 томах.) М., Гослитиздат, 1953—1958.

Полное Собрание сочинений и писем. (В 28 томах.) М.—Л., Изд-во АН СССР, т. I, 1960.

В. И. Ленин о Тургеневе

Ленин В. И., Памяти графа Гейдена. (Чему учат народ наши беспартийные «демократы»?) — Соч., т. 13, стр. 35—42.

Ленин В. И., Памяти Герцена. — Соч., т. 18, стр. 13.

Ленин В. И., Нужен ли обязательный государственный язык? — Соч., т. 20, стр. 55.

Ленин В. И., Очередные задачи Советской власти. — Соч., т. 27, стр. 244.

«В. И. Ленин о литературе и искусстве». Гослитиздат, М., 1957 (по указателю имен).

Воспоминания о Тургеневе

Бродский Н. Л., И. С. Тургенев в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924, ч. I, 188 стр.; ч. 2, 192, VI стр.

Островский А., Тургенев в записях современников. Вступит. статья Б. М. Эйхенбаума. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1929, 447 стр.

И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. Собр. и коммент. М. К. Клеман. Ред. и введ. Н. К. Пиксанова. М.—Л., «Academia», 1930, XXXIV, 338 стр.

Анненков П. В., Литературные воспоминания. Предисл. Н. К. Пиксанова. Вступит. статья, ред. и примеч. Б. М. Эйхенбаума. Л., «Academia», 1928, стр. 159—601, 603—649.

Григорович Д. В., Литературные воспоминания. С приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского. Ввод. статья, ред. и примеч. В. Л. Комаровича. Л., «Academia», 1928, 515 стр.

Панаев И. И., Литературные воспоминания. Ред. текста, вступит. статья и примеч. И. Ямпольского. М., Гослитиздат, 1950, VI, 471 стр. (по именному указателю).

Панаева (Головачева) А. Я., Воспоминания. Вступит. статья, ред. текста и коммент. К. Чуковского. М., Гослитиздат, 1956, 447 стр. (по именному указателю).

Фет А. А., Мои воспоминания. 1848—1889. М., 1890, ч. I, 452 стр.; ч. II, 402 стр.

Чернышевский Н. Г., Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым. (Ответ на вопрос.) В кн.: Чернышевский Н. Г., Полн. собр. соч., т. I, М., 1939, стр. 723—741.

О жизни и творчестве

Бродский Н. Л., И. С. Тургенев. М., 1950, 70 стр.

Гутьяр Н. М., Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, 400 стр.

Клеман М. К., Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. Ред. Н. К. Пиксанова. М.—Л., «Academia», 1934, 373 стр.

Клеман М. К., Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества. Л., Гослитиздат, 1936, 224 стр.

Мазон А., Парижские рукописи И. С. Тургенева. Изд-во «Academia», 1931 г.

Новиков И. А., Тургенев художник слова. Изд-во «Советский писатель», 1934 г.

Петров С., И. С. Тургенев. М., Учпедгиз, 1957, 201 стр.

Пустовойт П. Г., Иван Сергеевич Тургенев. Из курса лекций по истории русской литературы XIX века. Под ред. А. Н. Соколова. М., Изд-во Моск. университета, 1957, 139 стр.

* * *

Тургенев в русской критике. Сборник статей. Вступит. статья и примеч. К. И. Бонецкого. М., Гослитиздат, 1953, 579 стр.

Более подробную библиографию можно найти в книгах:

Ефимова Е. М., И. С. Тургенев. Семинарий. Л., Учпедгиз, 1958, 204 стр.

Русские писатели второй половины XIX — начала XX в. Рекомендательный указатель литературы. Часть I., М., 1958, стр. 83—165.

ОБ АВТОРЕ

Николай Вениаминович Богословский, литературовед и критик, автор многих работ о русских писателях XIX века, родился в 1904 году в городе Калуге в семье врача. В 1925 году он окончил филологический факультет Московского государственного университета.

Литературной деятельностью начал заниматься, еще будучи студентом, печатая свои статьи и очерки в журналах «Новый мир», «Печать и революция», «Красная новь» и другие.

Начиная с 1932 года, Н. В. Богословский приступает к изучению творчества Н. Г. Чернышевского. Кроме того, работает над составлением большого сборника «Пушкин-критик», вышедшего в издательстве «Academia» в 1934 году. Этот же сборник вышел вторым изданием в 1950 году. В 1942 году в журнале «Красная новь» была напечатана первая часть биографической повести Н. Богословского «Молодость Чернышевского», которая вышла затем отдельной книгой в издательстве «Советский писатель».

Николаю Вениаминовичу принадлежит составление сборников «Гоголь о литературе», «Чехов о литературе», «Чернышевский об искусстве».

В 1955 году издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» выпустило книгу Богословского «Н. Г. Чернышевский». Через два года эта книга вышла вторым изданием.

В 1958 году Государственное издательство детской литературы опубликовало книгу Н. В. Богословского «Жизнь Чернышевского».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Богословский Николай Вениаминович

ТУРГЕНЕВ

М., «Молодая гвардия», 1961. 416 с., 8 вкл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий.)

Редактор *Г. Померанцева* Художник *А. Зайцев*

Худож. редактор *А. Степанова* Техн. редактор *Л. Кириллина*

Подписано к печати 2/II 1961 г. Бумага 84×108$^1/_{32}$. Печ. л. 13(21.32)+ +8 вкл. Уч.-изд. л. 20,1. Тираж 80 000 экз. Заказ 2085. Цена 79 коп.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-55, Сущевская, 21.